



МАГОЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АЛЬМАНАХ

№ 7

Издано при поддержке группы компаний
«ГСП-Трейд» (Москва)
2016



www.glagol.jimdo.fr

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Наталья Богдановская

Алла Сергеева

Владимир Сергеев

Главный редактор — Елена Кондратьева-Сальгеро

Фото на обложке:

Антуан Моннье (Antoine Monnier) — 1 стр.

Александра Отважная — 4 стр.

Стихи на обложке — Алёна Асенчик

Художники — Елена Любович, Андрей Карапетян

Дизайн макета — Татьяна Громова

Корректурa — ООО «Группа МИД»

ВСЁ ЧТО БЫЛО —
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
(послесловие к продолжению)



На самом деле не так важно начать с идеально чистого листа. Гораздо важнее это сделать с нужного слова.

Из слова, которое было в начале, как известно, получился целый мир — далеко не совершенный, вечно меняющийся и бесконечно изменчивый, сам себя разрушающий и вновь создающий. Не ахти какой, чего скрывать, но ах, какой родной и необходимый...

Кому по вкусу, кому не в цвет. На всех ведь не угодишь. Поэтому на создание целого мира, равно как и на тяп-ляпцию «толстого журнала», требуется всего понемножку. Чтоб каждому по способностям, а всем вместе — по труду.

Со словом нам повезло с самого начала: «Глаголь» слово ёмкое. С того слова, тому назад уже семь лет, до слова сегодняшнего, от чувствительных авторов и придирчивых редакторов — до внимательных читателей, страшно подумать, сколько всего написалось и пропечаталось, забраковалось и оценилось, какой километраж на незримом счётчике набежал! Если вспомнить, что прочитывая десять печатных листов, вы пробегаете (или проползаете) глазами по бумаге маршрут длиною больше километра...

С того самого первого слова до вот этой бегущей строки — целый мир, кому по вкусу, кому не в цвет. На всех не угодишь, да и не стоит, конечно. Толстый журнал для того и толстый, чтобы вместить как можно более ингредиентов на всякий случай и всякий вкус.

Одна — но пламенная страсть настоящего издания, заявленная и оговорённая в предыдущем номере, остаётся неизменной: «В политике — вне партий. В литературе — вне кружков. В искусстве — вне направлений».

А это значит, говорить, спорить и рассказывать можно и о политике, и о литературных кружках, и о направлениях в искусстве, но *так*, чтобы прочесть можно было и через десять лет, и через пятьдесят, чтоб не сморщился лоб и не напряглась без надобности жилка у виска от недоуменного вопроса: кто все эти люди, что это было, что осталось?..

Остаётся неизменным и принцип единственного критерия отбора текстов — русская словесность высокого качества, вне табелей и рангов авторов, независимо от их места прописки, их литературных призваний и их литературных признаний. Заслуженно известные — бок о бок с незаслуженно неизвестными.

Не совсем традиционные параметры мы берём на себя. Как то: свободная рубрикация (например, рубрика «Отражения» представляет наиболее объёмное расширение смысла заглавного термина и может включать переводы, иллюстрации, фотографии... того и гляди, ещё что-нибудь напишем туда же!), или разношёрстная презентация авторов, коим предоставлена полная свобода: кому охота порассказать о себе так, кому эдак, кому в своём лице и в трёх строках, кому — в тре-

тьем лице, отвлечённом виде, в нескольких абзацах. Не суть. Каждый отвечает за себя.

Вкусы у нас разные, запросы скромные, но аппетит неуёмный, и если занимательная география нашего издания успешно продолжит расширяться по параллелям и меридианам, нам скоро глобус будет жать: в настоящем номере задействованы представители такой кучи-малы разных стран, что при лёгкой пробежке по оглавлению уже захватывает дух!

Россия, Франция, Латвия, Украина, Эстония, Киргизия, Армения, Израиль, Беларусь, Грузия, США, Германия, Норвегия... Накручивая виток за витком, мы упорно прочёсываем планету в поисках талантов.

Один особый вопрос из зала заслуживает отдельного пояснения: какие постоянные авторы представляют ваш альманах?

Ответ не уклончивый, хоть и звучит простовато: самые интересные авторы. Проверьте, пожалуйста, и убедитесь.

А постоянство не обязанность, но и не порок: авторы, как мысли или как читатели, приходят и уходят, возвращаются и остаются, снова уходят и опять возвращаются. Так что те, которые сегодня здесь, завтра — там, и никто не знает, кого, когда и какие обстоятельства приведут на наши страницы в следующих номерах. Живём сегодняшним днём и настоящим изданием, так как никто не скажет точно, что год грядущий нам готовит...

Ведь всё, что было — только начинается!

Уже то замечательно, что, как и в предыдущем номере, нам снова удалось собрать за одной литературной трапезой примечательно щедрый букет талантливых людей, частично или абсолютно не совпадающих взглядами на то, на сё, на всё подряд. И если бы «трапеза» была не эфирно-литературной, а самой настоящей, практически осязаемой, все эти люди вряд ли отведали бы с миром приятного общества друг друга в одном большом и важном разговоре...

Наверное, в этом и есть наше предназначение: взгляды разделяют людей и властвуют над умами. Объединяют язык и любовь.

И к литературе тоже.

**Елена Кондратьева-Сальгеро,
главный редактор литературного альманаха «Глаголь»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Всё, что было, только начинается (послесловие к продолжению)

Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция).....3

Наш взгляд

Александр Дубровский (Россия)..... Сказ об утерянном времени.....10

Владимир Мамонтов (Россия)..... О пользе болезней.....15

Оправдание Шарикова.....17

Алла Сергеева (Франция)..... Русский язык как зеркало морали.....20

О важном в прозе и в стихах

Елена Копытова (Латвия)..... Провинциальное.....36

о. Андрей Ткачёв (Россия)..... Несколько слов о человеке.....41

Письмо марсианину.....44

Марина Викторова (Эстония)..... Слепцы и смотрящие.....48

Юлиан Панич (Франция)..... Нострадамус XX века.....54

Племянничек Нестор.....61

Алексей Славич-Приступа (Россия)..... Душа? Как будто бы была.....75

Кира Сапгир (Франция)..... Дропы.....79

Дурацкая история.....81

Валерий Байдин (Франция)..... На ступенях русского храма.....88

Юлия Шоломова (Россия)..... Поцелуй ветра.....123

Михаил Озмитель (Киргизия)..... Археологическое.....131

Елена Кондратьева-Сальгеро (Франция)..... С радугой на плече.....140

Владимир Вереснев (Россия)..... Группа крови.....151

Григорий Марговский (США)..... Обратный путь.....159

Татьяна Громова (Россия)..... Без чёртика ни на шаг.....164

Анна Просветова (Россия)..... Дело врачей.....171

Наталья Богдановская (Франция)..... Черубина, или Дневник её подруги (окончание).....179

Нескучно о серьёзном

Фёдор Евдокимов (Россия)..... Соколиная охота.....194

Судьбоносная ёлка.....202

Елена Крюкова (Россия)..... Ветер с Волги.....206

Всё равно.....209

Андрей Попов (Россия)..... Поэты русского севера.....214

Юрий Кувалдин (Россия)..... Радостная весть (о прозе Андрея Илькива).....234

Андрей Илькив (Украина)..... Президент и сон бродячей собаки (отр. из романа).....237

Татьяна Горичева (Франция—Россия)..... О священном безумии.....247

Русские по миру

Владимир Гутковский (Украина)..... А как дела на/в Украине?.....256

Алёна Асенчик (Беларусь)..... Язык как национальный символ.....266

Людмила Орагвелидзе (Грузия)..... Русскоязычная поэзия в Грузии.....269

Лия Аветисян (Армения)..... «В Россию можно только верить».....276

Беседы

Наталья Черных (Россия)..... История одной судьбы.....282

По следам немеркнущих событий

Наталья Богдановская (Франция)..... Король Lire.....292

Серафима Позднякова (Россия)..... Истории давние и недавние.....298

Дина Тарди (Россия)..... Праздник, ссылка и роман: Николай Солодовников.....302

Поэтический невод «Глагола»

Светлана Дильдина (Россия).....	Метаморфозы.....	306
Александр Ланин (Германия).....	Все ушли на Берлин.....	308
Елена Росовская (Украина).....	Однажды.....	310
Олег Сешко (Беларусь).....	Три проблемы.....	312
Александр Рашковский (Норвегия).....	Ближе к солнцу.....	314
Светлана Менделева (Израиль).....	Пасторали давно постарели.....	316
Виктор Владимиров (Россия).....	1+1+1.....	318
Анна Маркина (Россия).....	Три стихотворения.....	320
Сергей Пивовар (Беларусь).....	Будни.....	322
Сергей Ширчков (Россия).....	Магазин игрушек.....	323
Вадим Смоляк (Россия).....	Снилось мне.....	325
Елена Ширимова (Россия).....	Сухарики.....	327

Отражения (переводы)

Нина Игнатенко (Россия).....	Текст без дураков.....	330
Ирина Эстеб (Франция).....	Звёздный час переводчика, или Прodelки Сергеева.....	334
Владимир Сергеев (Франция).....	Плутни Скапена. Перевод с французского (отрывки).....	336

И конечно — фантастика!

Андрей Балабуха (Россия).....	Летучий француз.....	342
-------------------------------	----------------------	-----



© Художник Елена Любович

Наши фотографы и художники:

Антуан Моннье

Родился в Париже в 1960 г. Дипломированный специалист по международной коммерции, бизнесмен. Любитель природы, путешествий и фотографии. 20 лет жил и работал между двумя Америками, Африкой и Азией, 11 лет — недалеко от г. Фонтенбло, в близлежащих лесах которого была сделана фотография, помещённая на обложке настоящего номера. Сейчас живёт в Лисабоне.

Александра Отважная

Родилась в Москве, живёт в Париже с 1989 года, где получила высшее образование в области рекламы и коммуникации, фотостилист. Увлекается фотографией, рисунком и скульптурой. Участница фотовыставок в Париже.

Елена Любович

Закончила Московскую художественную академию «Памяти 1905 года» (МАХУ). Художник-дизайнер промышленной графики. Более двадцати лет работает в рекламе.

Андрей Карапетян

Художник-график, поэт, прозаик. Живёт в Санкт-Петербурге. По образованию инженер-конструктор.

Борис Гессель

Родился в 1937 г. в Витебске. Окончил Арктическое училище в Ленинграде, затем Институт культуры. Более 20 лет работал на судах дальнего плавания Балтийского морского пароходства. Фотографией увлекался с детства; со времён морских путешествий стал профессиональным фотографом. С 1994 г. живёт в Париже. Работы печатаются в изданиях России и Франции.



© Художник Елена Любович

НАШ ВЗГЛЯД



© Художник Елена Любич

Александр Дубровский
(Россия, Москва)

Родился в 1961 году в Саратовской области. С детства мечтал об авиации, поэтому закончил МАИ, планировал долго и плодотворно трудиться над конструированием новых авиационных двигателей. К сожалению, жизнь распорядилась иначе, и в настоящее время являюсь владельцем и руководителем многопрофильной группы компаний: производство, логистика, перевозки, торговля, сельское хозяйство. Писать начал в начале нулевых, веду свой блог «Иррациональность правит миром», публикуюсь в ведущих интернет-изданиях России.

Сказ об утерянном времени

Время открывает всё сокрытое и скрывает всё ясное.

Софокл

В жизни любое явление, как и медаль, всегда имеет две стороны: плюс — минус, позитив — негатив, богатство — бедность, за — против, война — мир, добро и зло, наконец. Впрочем, во всём бывают исключения, лишь подтверждающие всеобщее правило. Вездесущий дуализм, одним словом. И даже сама жизнь вечно противостоит смерти, за границами которой, поговаривают, вновь два варианта: Ад или Рай. И только на этом дуализм, вроде бы, наконец заканчивается. Однако нам туда рано, поэтому говорить будем о реальной земной жизни, в которой каждому человеку отмерено Время от рождения и до смерти, и не более того.

Часто приходится слышать, что время, дескать, странным образом ускорилося. В этом не было бы ничего странного, если бы не одно «но». Да, с возрастом каждый из нас всё чаще замечает, как быстро растут дети, совсем не так, как мучительно долго тянулось наше собственное детство (и юность с отрочеством, кстати, тоже), отягощённое бесконечными уроками в школе с редкими промежутками мечтаний о недостижимой взрослости. Однако удивительным образом сейчас, в XXI веке, стало выясняться, что и наши собственные дети тоже вдруг ощутили ускорение времени, что в их-то возрасте нам было совсем ой как не свойственно.

Так в чём же дело? Неужто в том, как утверждают учёные мужи, что многократно увеличившийся информационный поток переполняет клетки мозга и мы банально не успеваем всю эту массу переваривать? Но ведь здесь есть явное противоречие: те же (или другие) мужи говорят, что время у детей всегда тянется медленно, ибо их мозг — внимание! — получает слишком много новой информации! В общем, оказалось неубедительно — дети во все времена ежедневно получали избыточные

порции новой информации. Тогда почему же время ускорилося именно у современных детей?

А может, правы те, кто говорит: состарилась, мол, Земля-матушка, пульс участился, и человечество как неотъемлемая составляющая единого природного организма вместе с планетой субъективно ощущает возрастное ускорение времени? Может быть, может быть, только вот свежо предание, да верится с трудом. Метафизика, конечно, вещь занимательная, обойтись без неё иногда совсем никак, но всегда хочется чего-нибудь более наглядного и экспериментально подтверждаемого.

Обратимся к физикам, может они что подскажут.

Ага, подсказали: обычная теория относительности, — с умным видом сказали учёные-физики, — наша родная Солнечная система (вместе с Галактикой) удаляется от центра Вселенной, одновременно вращаясь вокруг одного с одинаковым периодом обращения. О как! Задача для средней школы, обобщённый ответ на которую прост: в данном случае относительная скорость в пространстве происходит с постоянным ускорением. Да, только ускорение, насколько известно из той же СТО, должно приводить не к убыстрению, а к замедлению времени, и никак иначе. Правда, при этом совсем непонятно, относительно чего измерять ускорение или замедление.

В общем, как всегда, приходится искать ответы самому, и боюсь, что без метафизики здесь никак. Физика физикой, но там, по сути, вообще нет ничего нового, лишь то, что и так присуще материальной природе, а учёные всего-навсего пытаются понять и описать существующее изначально. Гораздо интереснее процессы и явления социально-общественные, выходящие за рамки физики и завязанные на бесконечные индивидуальные и групповые психические проявления, природу которых, по всей видимости, Вселенная предусмотреть поленилась, зато не забыла расставить грабли за каждым поворотом. Сдаётся мне, что поляна сия хоть и перепахана изрядно, но вопросы без ответов, как были, так и остаются: кто мы и в чём смысл нашей жизни?

Всё сказанное можно однозначно списать на типичные мировоззренческие умствования, если бы не ещё одно «но»: мир всё-таки наконец встал перед необходимостью смены парадигмы своего развития. Ни много, ни мало. Почему «наконец»? Очень просто: рано или поздно это должно было случиться, а, как известно, в таких вопросах лучше раньше, чем позже.

Чтобы разговаривать более предметно, попробую описать существующую парадигму и её движущие силы, дабы понять, с чем имеем дело и что же на самом деле уходит в прошлое. Сделать это не так уж и сложно, учитывая выпукло обнажившиеся разломы, громко требующие своего решения, и без чего уже невозможно дальнейшее развитие. Сразу скажу — речь пойдёт вовсе не о геополитике и даже не об устройстве

мировой системы со всеми её несправедливостями, от которых, хоть и не отмахнёшься совсем, но в известной степени можно легко абстрагироваться, а ещё легче встать в оппозицию или вообще объявить бойкот, погрузившись в бесконечные бытовые приключения с самим собой. Речь же пойдёт о том, что стоит над геополитикой и бытом и без чего в современном мире не может существовать ни то, ни другое, ни много чего ещё. А также о том, что люди не меняются, но зачем-то постоянно ломают проверенные веками нормы и правила, вместо них придумывают новые императивы и потом, забывая о вездесущем дуализме, возводят их в абсолюты, где задуманное закономерно превращается в свою противоположность. Вряд ли мне в коротком тексте удастся охватить всю широту и глубину человеческой близорукости, но кое-что сказать имею.

Итак, немногим более двухсот лет назад на Земле восторжествовала объективная реальность под названием технический прогресс, отбросившая все существовавшие на тот момент ограничители и объявившая себя единственно верной столбовой дорогой, обеспечивающей прогресс человечества. Эта парадигма до сих пор не только господствует, но и эффективно блокирует все попытки осмысления и, тем более, изменения своих базовых основ, что является вполне естественным и ничуть не парадоксальным процессом, ибо давно известно: любое единожды рождённое социально-общественное явление со временем старается обрести свойство к самовоспроизводству. Данное свойство как раз и является характерной чертой любой объективной реальности, после чего человек практически теряет волю к изменению парадигмы, превращаясь из субъекта мировой истории в объект воздействия. Не буду утомлять читателя анализом всевозможных движущих сил, стоящих на страже технического прогресса, ибо их там немало: рыночная теория, основанная на коммерческой выгоде, конкуренции и финансах, усилиями банков превратившихся из средства платежа в выгодный товар; потребительская психология, постоянно толкающая производство к обновлению модельного ряда; тотальный контроль, превращающий человека в инструмент глобального процесса с целями, не имеющими ничего общего с развитием личности и т.д.

Однако есть одна движущая сила, на которой мне хотелось бы остановиться подробнее: природное любопытство человека, всегда стремящегося познать непознанное. Познание мира человеком базируется на философской триаде, приписываемой то ли Сократу, то ли Демокриту и сформулированной кем-то в конечном виде лишь недавно:

- Я знаю то, что я знаю;
- Я знаю то, чего я не знаю;
- Я не знаю того, чего я не знаю.

В общем и целом любопытство является, пожалуй, главной и настоящему позитивной силой, которая, однако, постоянно нуждается

в неких ограничителях с целью, во-первых, оградить человечество от открытия и применения технологий для физического или психического уничтожения самих себя, во-вторых, направить человека прежде всего на внутреннее развитие. Роль таких ограничителей с незапамятных времён играли религии, которые, как могли, не позволяли подменять внутреннее внешним. Не случайно до сих пор там, где религии сильны не по форме, а по содержанию, технический прогресс обычно пробуксовывает, особенно на так называемом фундаментальном уровне. Впрочем, так было практически повсеместно примерно до XVI века. Но об этом чуть позже.

С точки зрения инструментов познания мира, изначально у человека их также было три: физическая сила, работа ума и временной ресурс. Это разные виды энергий, одновременное наличие которых и взаимообмен между ними были необходимыми и достаточными условиями для удовлетворения природного любопытства и обеспечивало нескаткообразное развитие по всем направлениям. Изобретение колеса, извлечение из руд различных металлов, освоение новых способов строительства зданий и сооружений, открытие и совершенствование навигации в пространстве, попытки оторваться от земли с помощью крыла или воздушного шара — все эти революционные по сути нововведения тем не менее не позволяли надолго вырываться вперёд и постепенно становились достоянием всего человечества, за исключением разве что естественным образом изолированных регионов. Однако всё изменилось, как я уже отмечал, в XVI веке, когда и начали формироваться условия для последующей технической революции.

Существует ошибочное мнение, что означенную революцию подготовила эпоха Возрождения и гений отдельных её представителей типа Микеланджело Буонаротти. Здесь дело в акцентах — эпоха Возрождения, безусловно, имеет отношение к подготовке технологического рывка, так как, во-первых, породила и окончательно оформила внутри христианства Реформацию, сделавшую ставку на индивидуальное благополучие в рамках зарождающегося капитализма, а, во-вторых, в лице своих отдельных ярких представителей, таких как Микеланджело Меризи да Караваджо, подготовила последующее снятие с религии покровов таинства, следствием чего стало постепенное падение тысячелетних ограничителей. В итоге с появлением Реформации религия в европейском христианстве постепенно утратила свою метафизическую функцию, получив, наряду с другими социальными институтами, сугубо утилитарное предназначение, а основной её заботой стало желание иметь привлекательный внешний вид. В результате, за какую-то сотню лет после Реформации в недрах капитализма окончательно сформировалась законченная рыночная теория, поставившая на поток индивидуальное обогащение и победоносно дошедшая до наших дней практически в неизменном виде.

Тысячелетия поступательного развития очень быстро спрессовались сначала в столетия, а затем и в десятилетия скачкообразных рывков. На смену последовательной парадигме внутреннего развития человека окончательно пришла скачкообразная внешняя экспансия, жёстко мотивированная добавленной стоимостью, сметающей на своём пути все оставшиеся преграды и ограничители, в том числе и выработанные веками морально-этические нормы.

Время — невозобновляемый индивидуальный ресурс. Это внешний источник энергии, потребляя который, человек на основе взаимобмена компенсировал затраты своей физической энергии и разума, что в итоге приводило к самореализации творческого потенциала через созидание. Относительность и субъективность восприятия времени — это реальность, с которой люди жили всегда, понимая необходимость бережного к нему отношения. Массированное вмешательство третьей силы в гармоничный процесс обмена энергиями привело к тому, что технологически развитое человечество вдруг массово осознало, как ускользающие мгновения быстро стали превращаться в минуты и часы навсегда потерянного времени — ведь, по свидетельству некоторых достаточно авторитетных учёных, сегодняшние сутки соответствуют то ли восемнадцати, то ли уже шестнадцати часам всего лишь столетней давности! Такова цена стремительной технологической парадигмы, основанной на прибыли любой ценой, в результате чего время быстро потеряло былое значение, превратившись из созидательного союзника в инструмент опережения конкурента.

Не слишком ли большая плата за перспективу окончательной победы над природой с помощью технологий с перспективой окончательного сворачивания Времени, а за ним и Пространства?

Как видите, без метафизики не обошлось, зато практически ни слова о геополитике, конечности капитализма и необходимости слома однополярного мира. Последнее, впрочем, само собой разумеется.

А если после прочитанного вопросов стало больше, а долгожданных ответов так и не появилось, то мне остаётся лишь поздравить читателя, ибо, как сказал кто-то из древних, «истина в вопросе».

Владимир Мамонтов
(Россия, Москва)

Российский журналист. Писал заметки со школьных лет. Работал на всех газетных должностях, отличаясь умеренным, но неотступным желанием продвинуться. Был главредом двух советских монстров — «Комсомольской Правды» и «Известий». С приходом интернета и наступлением пенсионного возраста вернулся к писанине — стал колумнистом и блоггером. В планах — создать свой сайт, на котором до последних минут компостировать публику воспоминаниями и нравоучениями..

О пользе болезней

Организм мой (если кому до этого есть дело) захворал. Смертельный кашель, неизлечимый насморк, умеренно-космическое отвращение к себе, необоримое желание, чтобы пожалели, приготовили утиную ножку и горячее питьё, — словом, всё, как у настоящего мужчины.

Польза от такого ровно одна: есть время на чтение. А страдание добавляется вот какое: ах, если бы ты прочёл (перечёл) эти книги чуть раньше, насколько толковее были бы твои заметки, умнее возражения в спорах! Вообще сегодняшние дебаты ведутся совершенно вне контекста, без исторической перспективы, без минимальной человеческой... Не душевности даже, а её дальней родственницы — логики. Словно заново народившись, пишут и говорят люди твёрдо и безапелляционно такое, как если бы до них не было Пушкина, Аксёнова, Айрис Мёрдок, Скотта Фитцджеральда, — это просто те, кого я, кашляя, перечитывал в этот раз.

И дело не в том, что Пушкин в «Евгении Онегине» гениально предвидел возвращение Крыма или «арабскую весну». По-моему, там про это ни слова, если что — пушкинисты поправят. Но каким-то волшебным образом свивается у меня в сознании медаль Дмитрия Ларина за Очаков, «бритьё лбов» его доброй супругой, летнее бытование этой любовно (но с иронией, свойственной широкому уму) описанной семьи с той удивительной осенней погодой, что стоит у нас теперича в Подмоскovie. Полчищами грибов, которые привезла подруга Маша. И спокойной тональностью, в которой начисто бритый военкор Саша Коц (которого помню совершеннейшим мальцом) и военкор Дима Стешин рассказывают о вылетах русской авиации с базы Хмеймим. Небо меркло. Жук жужжал. Уж расходились хороводы. Техники с ног валились от усталости: летают и летают.

Спорить же с теми, кто полагает что в этом противостоянии Запад вечно и константно прав, я намерен, обогатившись воссозданием в уме давненько не перечитываемой книжки Василия Аксёнова «В поисках

грустного бэби». Эта неровная, отчасти даже проходная книжка внезапно и лучшими местами открывает правду о писательском сознании эмигранта. Бремени его таланта. Он не должен, не может обманываться, мол, освободившись от одной догматической оболочки, на новом месте обретёт свободу. Приязнь друзей, комфорт, благополучие — да. Возможно. Свободу — нет. Никогда.

У меня есть фотография: мы с женой на фоне отеля «Негреско», в Ницце. Мы, судя по виду, счастливы. Просто стоим, а за нами этот символ, обветшавший уже и интересный разве что запоздалым романтикам из бывших соцстран. Недалеко от пляжей, номеров и баров, где так страдали персонажи любимого нашего романа «Ночь нежна» Скотта Фитцджеральда. Как и зачем они могли страдать в этих дивных местах? Боже ж ты мой, какими надо было быть прекрасно-наивными, чтобы так рассуждать.

А дальше вопрос — а как в этом признаться? И надо ли? Среди восторженных поклонников джаза в тоталитарном СССР ты уникум: действительно слушал Колмана Хоукинса на концерте. В Миннесоте ты при всём старании не объяснишь, какова сверхзадача твоего романа «Любовь к электричеству». Смысл «Затоваренной бочкотары». В чем была ценность твоей борьбы и фронды. Однажды, в 1968 году ты увидишь (привидится, не важно) «жёлтенький номерок „Юности“ на броне танка в Праге. И останется признать, что этот парадокс, этот глупый, удивительный, горький и возвышающий случай и есть твой пик, твой взлёт на самую верхушечку жизни, который ты совершил неотделимо от страны. Вот же привязалась, не оторвёшь!

Можно, конечно, бормотать: «Мне стыдно за неё», — но ты же сам понимаешь, что позорно мало этого, узенько это, история шире, она уже пустила корни, разветвилась, обернется новой джазовой импровизацией, всколыхнет, перевернёт и твою страну. Но будешь ли ты тогда у страны? В «Затоваренной бочкотаре» одним из объектов сатиры был уполномоченный по колорадскому жуку, ограниченный человечешко, который ездил и жука «активно выявлял». Ах, смело же это было! Как читали, как зачитывались, какую глубину видели! Кто бы знал, Василий Павлович, какая постукраинская коннотация теперь у таких уполномоченных. У смешных, страшноватых ферапонтов дормидонтычей, которые выявляли «колорадов» в Одессе. И жгли.

Ладно, чего там. Молоко с мёдом. Уж расходились хороводы. Бомба новейшая, наводится ГЛОНАСС. Небо меркло. То-то, диванный стратег. Ужо тебе.

Жук жужжал.

Оправдание Шарикова

Всеобщее обожание «Собачьего сердца» Булгакова всегда вызывало у меня сложное чувство. И вот почему: количество наследников профессора Преображенского (ну, или хоть доктора Борменталья) вокруг превосходит все мыслимые пределы. Пропал дом, калоши, броня, не читайте советских газет... Все за. На всех пенсне.

Никто не узнаёт своего дедушку в Швондере. Его сотоварищах. Кухарке и дворнике. И прочих персонажах этой изумительной повести.

И уж, конечно, Шариков ничей не дедушка. Как можно? Кто же хочет произвести себя от Клим Чугункина?

Но взгляды на обожателей пристальной. Можно ведь и так при желании обернуть: странно, а что они нашли в Преображенском, оставшемся служить кровавой большевистской диктатуре, требующем себе особых условий за то, что он будет искать способы обессмертить её вождей пересадкой яичников? Ну, ладно, я лично знаю нескольких человек, внуков «красной профессуры», которые учились не по желтой советской, а по серой дореволюционной «Детской энциклопедии». Один кирпичом встроен во власть, другой жуткий оппозиционер, но остальные-то?

Я не понимаю, чего они потешаются над Шариковым? Ведь Булгаков жестоко обсмеял, окарикатурил в его лице предков большинства: батрачину, рабфаковцев, голь, синеблужников-профсоюзников, ставших всем из ничего. И если литературный Шариков раненого в сердце Булгакова обратился обратно в собаку, то подлинные прооперированные революцией стали (наряду, увы, с жульём и охвостом всяким) командирами, летчиками, полярниками, красными директорами, стахановцами и солдатами. И когда мы клеим на машину стикер «Спасибо деду за победу», то мало кто понимает: а ведь это Шариков. Только не из повести, из жизни. Не особачившийся обратно. Поумневший. Не исключая, действительно корпевший над Каутским, первый из деревни своей с высшим образованием, неумело, по-платоновски строивший над собою электрическое солнце коммунизма. Отгрохавший страну. Защитивший в великую войну всех Борменталей с Преображенскими, всех кухарок, да и буржуев впридачу. Поклонились они ему? Нет. Сегодня его снова стирают в пыль — и не панфиловец он, и не блокадник, и не освободитель, а сукин сын, ничуть не лучше фашиста.

* * *

Отвлечёмся на минуту. Не все мои читатели знают, что с этим текстом я выступаю не впервые — проверен он был на «Фейсбуке» и получил солидное число комментариев. Люди прокомментировали мною уважае-

мые. И я не могу не привести аргументы, которыми побивали меня, как те, которыми ободряли. «Лемешев в юности тоже был батраком. Так что же, и он — Шариков?», — спросила одна читательница. «Разумеется, — ответил я ей. — Просто он не булгаковская злая карикатура, а подлинный человек, ставший одним из символов той эпохи. Там много „батраков“, которых взметнуло. Этого Михаил Афанасьевич видеть не хотел, не так был устроен, но, справедливости ради, надо признать, что там с лихвой было, кому воспевать, а в перерывах Булгакова изводить».

А вот что написал Анатолий Рафаилович Белкин, профессор, знаток и эрудит: «Пожалуй, не соглашусь. Шариков — не рабочий, не крестьянин, даже не батрак. Он — люмпен, босяк, злобная тварь. И ничего из него не выросло. Ошибся Владимир Константинович в генеалогии».

Наверное, пояснение действительно требуется. Исходя из литературного контекста, возразить нечего, Но в контексте историческом...

«Дело в том, Анатолий Рафаилович, что эту разницу хотите видеть вы, но не хочет Булгаков, когда он несомненно создает карикатуру на народ (Шариков), ревком (Швондер), и только Преображенский и его начальственный покровитель — ровня. Конечно, как персонаж — Шариков — люмпен. И из него ничего не выросло. Но как обобщение... Вы же не станете отрицать, что запрещали Булгакова не за то, что он люмпена высмеял. Это пожалуйста, сколь угодно... Вычитывали совсем другое, и не без оснований.

Конечно, я тоже заточил. Но зато и вы откликнулись. Вы правы — если Шариковы из повести. Но я о тех, кто из жизни, тех, кого Булгаков считал Шариковыми и которые таковыми, мягко говоря, не всегда являлись. Да и я больше про наследников, которые, независимо от подлинной генеалогии, произвели себя из потомственных профессоров».

Политолог Владимир Жарихин написал: «Нужно спорить с философией не только Швондеров (этого хватает), но и Преображенских. Которые сначала сами конструируют Шариковых, а потом удивляются тому, что из этого получилось. Замените Преображенского на образованных марксистов-разночинцев, а Шарикова на революционный пролетариат. И вот вам „Собачье сердце“, продлившееся 70 лет. Теперь сменилась красная ленточка на кожанке Швондера на белую, а разговоры те же». Важное замечание сделал Владимир Корнилов, украинский политолог, историк, журналист: «По-моему, здесь больше речь не о булгаковском „Собачьем сердце“, а о фильме. Книга гораздо более глубока. А вот нынешние „преображенские“ книги читают редко. И потому так и не поняли, что у Булгакова тут героя не было, что он прямо проводит параллели между экспериментами Преображенского и Швондера».

Это верно: кино, не говоря уж о телевидении — важнейшее из искусств, и восторженные почитатели Преображенского, скорее всего, читали повесть давно и по диагонали.

Таких помянула другая читательница: «Моя одноклассница рассказывала. Второй курс истфака МГУ, год 88-й, приблизительно. Профессор в аудитории просит поднять руки тех, кто знает о своих дворянских корнях. Поднялся лес рук. Одноклассница не подняла и оказалась единственной студенткой без голубых кровей, хотя корнями своими дальше бабушки не интересовалась. Профессор вздохнул: „Ну, тогда выходит я один у кого крестьянские корни!“».

Ещё один читатель выразился жестковато: «В перестроечные годы все сразу стали баронами, князьями, графами. Но никто — „шариковыми“, кто победил князей в Гражданской войне, поднял страну, победил в Великую Отечественную. Полетел в Космос. По сути, Гагарин — это потомок „шарикова“: голодного, скулящего от холода, кому князья бросали кусочек „докторской“. Но кто в себе это признает? Все хотят быть баронами».

Шариков тут в кавычках. И это правильно. Потому, что без кавычек шариковых в гагариных не произведешь. Это и автор понимает — и его комментаторы.

* * *

Однако представим себе, что не собаке пересажен гипофиз Чугункина, а волшебной силой науки преображен сам беспутный пьянчуга, ушкуйник и забулдыга Чугункин, ставший по повести донором органов для опытов неуёмного профессора. (Замечу в скобках, что тотальное «неузнавание» родословной есть великое подтверждение успешности революционной хирургии: эвон сколько стало образованных, независимых, свободных, порвавших с генетической и социальной родословной). Почему Михаил Афанасьевич не так сочинил? Да потому, что изощрённый ум писателя искал выражения собственных несчастий, своей перекошенной, изломанной жизни — вот и пал народ (тёмная сила, он же богоносец, он же ревмасса) жертвой этого талантливого, но несправедливого обобщения.

Прочитав «Впрок» Андрея Платонова, Сталин написал резолюцию: «Талантливый писатель, но сволочь». Нам, разумеется, чужда подобная классовая жёсткость. И не только в отношении Платонова. А задумался я обо всём этом, читая, как честят нынешний народ «шариковыми» и быдлом внуки... Кого? Уж точно не внуки Гагарина и Лемешева.

Алла Сергеева
(Франция)

Кандидат филологических наук, профессиональный преподаватель русского языка (МГУ им. Ломоносова, вузы Австрии, Польши, Вьетнама, Финляндии, Франции). Автор многочисленных книг и статей по проблемам современной российской культуры. Публикуется в СМИ Франции и России. Одна из учредителей парижской ассоциации «Глагол».

Русский язык как зеркало морали

Сегодня в мире на русском языке говорят 300 миллионов человек — почти каждый двадцатый житель земли. По численности это вторая диаспора в мире (после китайской). То есть это жители России плюс ещё столько же народу, стремительно разлетевшегося от эпицентра четверть века назад по странам и континентам, как после Большого Взрыва, из единой прежде страны. И совсем не обязательно, что все они этнические русские. «Дети разных народов» — те, кто воспитан на русской культуре, где бы они ни жили, продолжают говорить, видеть сны, вести счёт и творить по-русски. В альманахе «Глагол» мы слышим самые разные голоса, из самых разных уголков не только России, но и всего мира. Однако все они нам понятны, ибо отражают русский взгляд на мир, такой особый, непохожий на других. В нём, как в зеркале, отражаемся мы — с «лица необщим выраженьем».

Мудрый Сократ говорил прямо: «Заговори, и я скажу тебе, кто ты». Ведь по слову, по речи довольно легко можно многое понять в человеке: где родился, а где пригнулся, его характер и прочие мелочи. Ну, это понятно: «В начале было Слово»... В слове, в языке, как в зеркале, видны не только персональные, но и национальные особенности человека, в нём собран опыт наших предков, их идеалы и символы. Как заметил остролов Дм. Быков, «тонка языковая ткань, язык есть зеркало морали...». Более того, язык — такая мистическая вещь, что с помощью слова можно даже программировать жизненные ситуации, влиять на будущее.

Каким же образом наша современная, порой очень суетная жизнь связана с нашим родным русским языком? Жизнь бьёт ключом, преподнося ежедневно ураган сюрпризов, меняясь на глазах — в сторону вестернизации: в экономике, политике, моде, во всём другом. А как это влияет на наше сознание? Оно тоже меняется? Не утратили ли мы с ураганом перемен свою «русскость»? А форма выражения сознания — наш язык, что с ним происходит?

Наблюдения над русским языком проясняют многие чисто «русские странности», непонятные иностранцам. У русских особый ход мысли, своя логика, особый взгляд на жизнь. Не верите? Тогда попробуйте объяснить, почему в русском языке основной связочный глагол — «быть», а не «делать» или «иметь», как в европейских языках. Вот французы — они всё «делают»: и любовь (в смысле «занимаются»), и спорт, и даже

бульвары (в смысле «гуляют по ним»), и карты (в смысле «раздают»), и даже компаньона (в смысле «делают в его присутствии понимающий, заинтересованный вид»). А в основе русской мысли лежит не факт (как у англичан), не идея (как у немцев), тем более не *делание* или *владение*, а — *быт*, *бытие*. Опора на глагол «*быть*» в русском языке повлияла не только на структуру русской фразы, но даже и на направление развития русской философии, о чём не раз говорили сами философы.

А как вам русская заикленность на *правде* (в отличие от рассудочной *истины*)? В других культурах чересчур правдивое поведение, особенно в случае критики кого-то, считается экстремизмом. В малайской культуре, например, человека, который предварительно не задумался, не обидит ли кого своим правдивым словом, считают «сумасшедшим в речи». И у англосаксов излишняя прямота воспринимается как нарушение приличий. А вот у русских желание *говорить правду* — даже себе во вред — перевешивает все доводы разума. Хотя оборот «*резать правду-матку в глаза*» показывает, что русские отдают себе отчёт, что это может быть и не вполне приятно, и даже больно (ведь «резать» же!). Тем не менее русская страсть говорить *правду* перевешивает боязнь сделать человеку больно. Более того, русские, как и Иешуа в известном романе, уверены: «*Правду* говорить легко и приятно», ведь её говоришь «от души», прямо и открыто, как думаешь, что естественно и легко (даже если и не всем приятно). А без *правды* остаётся сдержанность, внешняя воспитанность, чрезмерная вежливость, как и холодное высокомерие — что переносится русскими с трудом, раздражает.

Слово *совесть* (самоконтроль, внутренний стержень человека) как отдельная лексема отсутствует в европейских языках, поскольку русские слова «*совесть*» и «*сознание*» переводятся на европейские языки одним и тем же словом, производным от лат. *consentia* («сознание»), что говорит о размытости смысла и неразличении этих понятий в европейском сознании. А для русского традиционного сознания личная *совесть* (калька с греческого) всегда была предпочтительнее, чем *сознание* (калька с латинского) или *сознательность*, которые навязываются человеку средой.

И ещё о словаре. Русских слов по количеству, может, и не так много, как в английском языке, зато в них отражаются наша трепетная душевность и наша сильная сторона — обратная связь с людьми, внимание к оттенкам человеческих отношений, к психологии. Отсюда и богатейшая лексика в описании оттенков чувств человека, его психологии. Наверное, отсюда же — богатство русской лирической поэзии и психологической прозы. И огромное количество слов, с трудом переводимых на другие языки: *судьба*, *душа*, *тоска*, *совесть*, *уют*, *удаль*, *воля*, *авось*, *неприкаянность*, *хохот* и многие другие, — их днём с огнём не найдёшь в иных языках, а можно только объяснять, размахивая руками.

А как вам нравится, что *пошлость*, на которую русские натасканы, как собака на наркотики, иностранцам непонятна? Несмотря на то, что

этот ярлык можно прилепить очень ко многому в западной жизни. Просто здесь люди не удосужились дать название этому явлению, не осознали его критически. Для этого, наверное, надо иметь особый склад ума!

Лестный портрет русской ментальности (тут тебе и правдолюбие, и совестливость, и вкус, и прочее) несколько туманит одна наша особенность, отражённая в языке: некая уклончивость, лукавство мысли, не любовь к лобовым решениям, прямому выбору и связанной с ним ответственности. А как ещё оценить русские обороты типа *«мне что-то не работается, не сидится, не думается»* и т.п.? То есть русский ход мысли таков: это не «я» сам не желаю, не хочу или не могу и потому не буду работать, а кто-то неведомый делает так, что я не могу... Мистика? Ни в одном языке нет ничего подобного. Сам наш родной язык как бы даёт нам возможность снять с себя ответственность за собственные действия. Многие лукавые русские глаголы подсказывают: то, что случилось с человеком, произошло вроде бы *«само собой»*, и не потому что он так этого хотел, а *«так случилось»*, *«угораздило»*, *«довелось»*, *«так вышло»*, *«так сложилось»* и т.п. Вполне невинное звучание этих слов таит горькую подоплёку, позволяя человеку снимать с себя ответственность за сделанное в прошлом (*«у меня не получилось»* — вместо «я не сумел», «не смог», «не сделал») и не брать на себя лишних обязательств в будущем.

Словом, в русском языке до малейших мелочей отражаются наши национальные особенности. Это и эмоциональная открытость, искренность, внимание к оттенкам человеческих отношений, и особое внимание к *«бытию»* (а не *«деланию»* или *«владению»*), и хороший вкус при любви к простоте, и стремление увильнуть от личной ответственности — и не столько из-за лени, сколько от недостаточной уверенности в себе и склонности к фатализму.

Приняв во внимание только отдельные факты русского языка, мы заново открываем глаза на наши национальные особенности. Не мы живём в языке, как думают многие, а это язык живёт в нас, храня интеллектуально-духовные гены многих поколений.

Так веками складывался и усложнялся русский культурный код, создав нечто совершенно отдельное и своеобразное.

Онако кардинальные изменения, произошедшие за последние 25 лет в российской жизни — в обществе, экономике и политике — неизбежно отразились и в русском сознании и ментальности, соответственно, и в форме их выражения (отражения) — в языке. Последнему для выживания в новых условиях пришлось адаптироваться и меняться. К великому сожалению, он уже никогда не будет таким, как прежде.

Во-первых, во многом изменилась *интегрирующая* функция языка — он в меньшей степени даёт своим носителям возможности прямого доступа к современным технологиям и науке, экономике, технике и культуре. В этой области его всё больше вытесняет английский.

Во-вторых, и это главная опасность для современного русского языка, — затопившая его лавина англицизмов, а точнее, американизмов. Гламур-

ные издания, реклама, политические и неполитические ток-шоу (!) на ТВ так и стараются залепить что-то эдакое — иностранное. Вроде как незнакомые и непонятные слова свидетельствуют о «культурности» говорящего и призваны повысить доверие к спикеру (?) или линии (?) продукта. Речь блоггеров и специалистов изумляет: это они по-каковски говорят? На каком языке? По-русски? Шутите! Среди треска иностранных слов-подкидышей в потоке речи узнаются разве что предлоги.

С другой стороны, если в языке появились неологизмы, значит ему это для чего-то нужно. Нарастает объём информации, появляются новые реалии, для которых в русском языке просто не существовало слов, — всё это закономерно влияет на развитие и изменение языка. В конце концов, язык сам справится, переварит и отбросит ненужное. Подобное нашествие слов-пришельцев происходило и в петровскую эпоху, но от всего массива налетевшей иностранщины в русском языке осталось разве что 30%.

К сожалению, этот поток заимствований втягивает в современный язык и какие-то мутные слова, которые вытесняют традиционные понятия, корёжа русскую ментальность, национальные образы и картины мира, да просто чувство реальности. Эта проблема настолько важна, что многие государства запретили бездумное употребление англицизмов в системе своих национальных языков (например, во Франции). А у нас такие слова множатся, как блохи у шелудивого пса — безо всякого догляду.

Замусоривание русского словаря и его обеднение — это ещё полбеды. Интереснее наблюдать не за шелухой американизмов, и даже не за разгулявшимся матом (это отдельная тема), а за теми словами, которые отражают *сдвиги в нашем сознании*, которые показывают, как *изменились наша ментальность и языковая картина русского мира, жизненные ценности и тип поведения русских*. Тут не без сюрпризов. И сюрпризы эти состоят из трёх слоёв.

Первый слой — слова, связанные с экономическими отношениями. Сомнительная система жизнеустройства, которая установилась в России 25 лет назад, принесла в наш языковой обиход ряд мутных, но ободряющих слов. Без бодрячества не обойдёшься, если с высоких трибун до сих пор не прозвучало ни одного ответа на вопрос: в каком обществе мы живём? Пожалуй, ответ поверг бы всех в смятение. А этого не надо, и жить приходится именно в таком обществе, какое есть, и как-то при этом озвучивать планы и цели, по возможности щадя психику сограждан. А язык — он всегда проговаривается, выдаёт потаённое, как ни притворяйся. Только надо вслушаться внимательно.

Вот главное слово эпохи — *бизнес*. Фраза «У него свой бизнес» не означает практически ничего, кроме информации, что человек не лечит, не учит, не служит, не творит, не пишет... А диапазон смыслов может быть огромный — от миллиардера, «владельца заводов, газет, пароходов» до продавца шаурмы или мелкого мошенника. Как волшебной палочкой, этим лукавым иностранцем затушёвывается реальная жизнь.

Еще более мутно и размыто по смыслу слово *менеджер*, как называют теперь самых разных людей — от продавца колбасы (менеджер по продажам!) до руководителя крупной компании. Оно по своей популярности вытеснило из языка другие привычные слова — руководитель, управляющий, управленец, служащий... В сущности, *менеджер* может означать любую наёмную профессию, в том числе и уборщицу («менеджер по клинингу»). Слово стало настолько употребительным и назойливым, что критически настроенные острословы вместо *менеджер* предпочитают говорить «манагеры», — как бы критически оценивая полезность этого расплодившегося слоя клерков.

Войдя в моду и почуяв свою бесконтрольность, слово *менеджер* теперь не только замахивается на роль названия занятий, но и пытается влезть в политический контекст. Так, оценка И.Сталина политическими резонерами как *эффективного менеджера* смахивает на легковесную болтовню или прямое желание обвести вас вокруг пальца, уболтать. Ну как можно государственного деятеля такого масштаба, как бы к нему ни относиться, обзывать легковесным модным словечком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу? Равно как и министра П. Столыпина или царя Петра Первого, которых тоже называют так. Менеджером можно назвать только наёмного работника, у которого в голове не столько идеи, сколько забота об экономической эффективности.

Зачем русскому языку это пустоватое слово? За ним скрывается не просто профессия, сколько респектабельный образ жизни с бизнес-ланчами, яхтами, клубами и т.п. Престиж этого слова делает любую профессию приманкой, помогая скрыть истинное положение вещей. Скажи «Я менеджер по клинингу» вместо «уборщица» — и приобщись к солидному классу солидных людей. Люди в разговоре о себе предпочитают флёр многозначительной неопределённости, как бы говоря: «У меня всё в порядке, а вы что подумали?»

Активно взбудоражились слова *проект* и *продукт* с новым смыслом. Актёры теперь не снимаются в фильмах, не играют в спектакле, а действуют в *проекте*. Писатели не пишут романы или пьесы, а участвуя в разных проектах, производят достойные (или не очень) *продукты*. Зачем это всё? В новых условиях рынка с помощью этих слов нам всем навязывается некая бизнес-метафора, при помощи которой результат любой деятельности, в том числе и творческой, оценивается с точки зрения купли-продажи — как *продукт*. Любой труд с помощью слова *проект* предлагается как спланированная, продуманная акция, цель которой — получение *продукта*.

Распространение этой бизнес-метафоры на любые виды деятельности как бы погружает человека в деловой мир, затирая конкретный смысл его телодвижений, зато придавая им некую престижность. Что, в общем, вполне в духе времени: она стирает точный смысл, приукрашивает, уводит от сути. Эти мутные слова-подкидыши — дань сегодняшней

моды, стремлению, с одной стороны, скрыть суть дела, а с другой — придать ему некую серьезность и значительность. Когда кто-то говорит: «Я участвую в *проекте*», — это может означать всё, что угодно: от строительства завода до хождения по улицам с рекламным щитом на спине. А за выпуском нового *продукта* может скрываться что-то значительное, а может и ерунда. А сами слова какие! Как многозначительно звучат!

А где же наши традиционные русские правдивость и прямота? Похоже, появление таких новых слов не может не вызывать подозрения: как ни крути, а они не могут не влиять на нашу ментальность, ведь именно через слово идёт давление на русское коллективное сознание.

Подозрения усиливаются, когда сталкиваешься с новыми словами, способными не только сбить с толку и уболтать, но и конкретно навредить. К примеру, сейчас в воздухе просто висит необходимость срочных перемен в нашем жизнеустройстве, в отказе от ресурсной экономики (проедания советского наследства). Дело это само по себе нелёгкое. Но главная проблема — то, что в головах наших *менеджеров* и всех, кто рулит в стране, угнездилось понятие *эффективности*. К любому проекту, бизнесу, организации, даже к человеку — ко всему теперь требуется прикладывать и примеривать этот критерий — *эффективность*. Что *эффективно* — хорошо, а что нет — наоборот. Казалось, о чём тут спорить? А вот на практике, оказывается, что детский садик *эффективнее* (т.е. прибыльнее) заменить фитнес-центром, а медпункты в сёлах — вообще упразднить, а сельские угодья — застроить дачными коттеджами. Дальше больше: выясняется, что вообще производить, пахать и суетиться — не всегда *эффективно*, поскольку не всегда приносит барыши. Борьба за тотальную *эффективность* ведёт к разрухе. Потому что на деле она означает очень простую вещь: ты должен денег заработать больше, чем вложил, и желательно поскорее. И потому любая деятельность, не приносящая живого быстрого барыша, объявляется *неэффективной* и отвергается, порицается. Однако ведь в жизни есть вещи и целые направления деятельности, *в принципе неэффективные с точки зрения барыша*. В таком контексте о культуре и образовании даже не хочется упоминать, настолько это очевидно. Так что мышление только в координатах *эффективности* — ложно и разрушительно. Нужны какие-то иные координаты, а они пока не звучат, не предлагаются. В этом легко убедиться, взглянув «с холодным вниманьем вокруг».

Дань новому времени — русское словечко «*пиар*», русское, хотя и основано на английском PR (Public Relations — связи с общественностью). Вполне невинное в языке-источнике, в русском оно приобрело свою огласовку и исключительно русское значение, так что его не узнают ни англичане, ни американцы. Да ещё и породило целую семейку производных: *пиариться*, *пиарики*, *отпиарить что-то*, *пиаровский* (ход). С рекордной скоростью оно распространилось и понятно всем — несмотря на мутный смысл: *пиар* (обычно «чёрный») — это что-то, связанное с

агрессивным навязыванием своего мнения, а *пиарщик* — это пройдоха, навязывающий своё мнение, чтобы «впарить» информацию в своих целях. Непонятно, как раньше страна жила без *пиара*? Ведь навязывание мнения в России существовало всегда. Популярность этого слова означает одно: теперь русские окончательно осознали, что ими кто-то манипулирует, и теперь они не боятся говорить об этом с осуждением.

Итак, неясная система жизненустройства и прихотливость экономических отношений в России вызвали к жизни ряд мутных, но респектабельно звучащих слов, например, тот же *пиар*, смысл которого любому англосаксу придётся втолковывать не без усилий, настолько далеко он ушёл от английского родственника. А результат любой деятельности, в том числе и творческой, теперь принято оценивать с точки зрения купли-продажи, назвав *проектом* или *продуктом*, человека — *менеджером*, а его деятельность *бизнесом*. Эти сверхсовременные и модные слова, разумеется, затуманивают суть дела, мягко, но твёрдо давят на коллективное сознание, уводя от реальности и, что ещё важнее, приучая оценивать любой факт жизни с точки зрения купли-продажи и получения барыша. Зато как престижно и «культурно» звучат!

Вторая группа новых слов связана, собственно, с изменениями в ментальности. Ведь помимо демонстрации «экономического типа мышления» и разных бизнес-метафор в сознании многих русских, особенно молодых, поменялись *жизненные установки* и даже *тип поведения*, в котором возобладали *установка на деловой подход* и *активные действия*, плюс некая *технологичность сознания*.

Слово *проблема* в неожиданном контексте я услышала ещё в 1985 году в билетной кассе, куда обратилась за помощью. И услышала в ответ: «Это не моя *проблема*». Человек, сказавший эту фразу, выразил ясную позицию: «Меня это не касается. Разбирайтесь сами». Такая позиция и раньше существовала, но открыто выражать её, глядя в глаза собеседнику, всё-таки отдавало хамством и было неприличным. А вот мы теперь слышим на каждом шагу, от чего остаётся только вздыхать: как же поменялись отношения людей! Сейчас слово *проблема* расширило своё пространство, вошло в силу и помимо хамской прямоты приобрело ещё новый смысл — «неприятность», «неразрешимый вопрос». Теперь у всех всегда одни *проблемы*, словно жизнь зашла в тупик. Сейчас не скажут «плохая кожа» — а *проблемная*, не «трудный ребёнок» — а *проблемный*, не «у меня неприятности» — у меня *проблемы* и т.д. Вроде бы говоришь то же самое — да не совсем. В саму фразу уже встроена идея: чтобы устранить *проблему*, надо что-то делать, не сидеть сиднем, а искать решение. У тебя плохая кожа — сиди в углу и рыдай, а если *проблемная* — изволь сходить к косметологу, или в аптеку, или хотя бы купи тональный крем. Решай *проблему*! Не сиди сложа руки!

И куда подевались русское смирение и покорность судьбе? А где же «так сложилось», «угораздило»?.. Где наши пресловутые пассивность и

фатализм? Похоже, меняются слова, меняется и тип поведения русского человека.

Интересно, что в западной аудитории предпочитают вообще не произносить слово *problem*: это грозит испортить карьеру. Там предпочтительнее позитивный взгляд на жизнь, и возникающие неприятности предпочтительно обозначать как *challenge*, т.е. **вызов**. Английское слово — экзистенциальное, оно описывает ситуацию, когда человек пытается решить какую-то трудную задачу, делает это на пределе своих возможностей, весь выкладывается, и сама трудность этой задачи его не обессиливает, а наоборот — только подстегивает, заставляя лезть из кожи вон. Вот что такое **ответ на вызов** по-английски. По-русски звучит коряво, но зато как жизнеутверждающе! Теперь понятно, почему с высоких трибун мы редко слышим о *проблемах* (словно они растворились в новом веке), зато отовсюду разносятся **вызовы**, которые словно бросает нам кто-то. Само слово **вызов** старое, но раньше в нем не было такого смысла, поскольку не было такого типа поведения. А сейчас без этого слова не обойтись, если человек хочет объяснить, как ему трудно, какие невероятно сложные задачи ему предстоит решать, и ещё при этом он хочет добавить, что всего этого он не боится, а наоборот, у него от этого только **драйв**.

Это абсолютно новый тип поведения и сознания для русского человека. Нет и тени смирения, упования на высшие силы, лукавой надежды, что все само рассосется и устроится. Такой тип сознания раньше был характерен для американской цивилизации, а вот теперь, судя по частоте потребления, — и для русской. Похоже, русский фатализм, смирение и заикленность на судьбе — традиционные качества русской ментальности — уходят в прошлое. У русских стала как бы стираться их «русскость».

Всё откровеннее выдвигается главная ценность прагматичного времени — стремление к **успеху**, благодаря чему слово необычайно активизировалось. Прежде в русской культуре *успех* не рассматривался как главная жизненная ценность, его экзистенциальный статус был невысок. Конечно, и раньше русские самоутверждались, делали карьеру, росли профессионально. Но это не ставилось во главу угла, этим не хвастались. «Состоявшийся человек» — это комплимент: он сумел реализовать свой талант, заслужил уважение, статус. А вот **успешный** — звучало вроде бы как двусмысленно. *Успешный* адвокат — раньше непременно богатый, в общем-то беспринципный защитник негодяев. А теперь *успешный* — это просто о том, кто добился *успеха*, реализовав свой жизненный *проект*. И никакого негатива.

Кроме того, раньше об успехе говорилось, если речь шла об учёбе, дипломатических переговорах, о достижениях в сфере экономики и политики. То есть слова «*успех*», «*успешный*» были чуть-чуть чужими, «деревянными», книжными. О тех, кто добился *успеха*, говорилось как-то иначе: «везунчик», «он состоялся», стал «преуспевающим» (что озна-

чало финансовый *успех* с ноткой сомнения в моральном аспекте), «встал на ноги» — да мало ли ещё как. А теперь слово настолько вонзилось в сознание и загипнотизировало всех, что в реальности возникла целая индустрия рекламы для *успешных* людей — книг, машин, часов, одежды, мебели, этикета и даже собак.

Слово *успех* изменило свои смысловые возможности, с периферии языка локтями оно протолкалось вперед, став особой ценностью под влиянием английского *successfull*, европейской культуры с ее культом успеха, довольства собою и *позитивного* мышления. Устраиваются семинары и специальные тренинги, где учат, как стать *позитивным* человеком и выработать свою *позитивную* программу, ведь иначе невозможен *успех*. Для этого надо научиться думать *позитивно*, избегая любых мрачных сцен, печальных ситуаций, тяжёлых мыслей, кинофильмов и спектаклей без хэппи-энда. Французы откровенно живут под лозунгом *il faut positiver*, открыто избегая драматичных сюжетов, разговоров, сцен. А у русских глагола «*позитивировать*» пока ещё нет, но, думается, он не за горами.

Новая установка в русском сознании на успешность и карьеру в сочетании с технологичностью сделали актуальным словечко «*формат*». Конечно, это слово существовало давно, только раньше говорили о *формате* книг, потом стали говорить о *формате* файлов. А теперь *формат* появился у всего — в книгоиздании, у радио — и телепередач, у мероприятий любого ранга — и даже девушек! Когда мы слышим «*Девушка не моего формата*», то понимаем, что имеются в виду ее физические данные (рост, бюст).

Это мутное слово ёмко по смыслу: оно заменяет то, что раньше называли «жанр», «форма» (*формат* встречи), или когда хотим сказать, что объект соответствует требованиям и ожиданиям и потому будет *успешным*. Именно установка на *успешность* и сделала слово *формат* таким современным. Традиционная русская культура предпочитала интуитивность, образность, выразительность. А *формат* уничтожает любой намёк на интуицию и образ, задавая точные, чуть ли не технические параметры любому объекту. Несмотря на мутную иностранность и претензию на глубокомыслие, слово стало «культурным». Кому из тех, кто пишет, не доводилось слышать от издателя «Это не наш *формат*» — в смысле «Подите вон!». В принципе — хамство, а звучит «культурно».

Сейчас человека будут всячески уважать, если он не только *успешный*, а к тому же ещё и *амбициозный*. И здесь нет и речи о завышенной самооценке зазнавшегося человека, который «много о себе понимает». Но ведь в традиционной русской культуре жило представление, что *амбиции*, спесь, гордыня — это плохо, это грех, и человек должен смиряться перед обстоятельствами. В наши времена идеи скромности, непритязательности растеряли свой морализаторский пафос. А раньше *амбициозность* была безоговорочно неодобрительной характеристикой, и излишняя самоуверенность для русского человека была сродни некоей глуповатости, узости представлений о жизни. Ныне безо всякого смущения заявило о

себе целое поколение *успешных амбициозных* людей, которые яростно отвечают на *вызовы* жизни, *успешно, активно* и даже *агрессивно* делают *карьеру*. И ничего плохого в этом больше не усматривается. А ведь ещё двадцать лет назад говорили «*карьера в хорошем смысле*». А почему была эта оговорка — «в хорошем смысле»? Да потому, что *карьера* как смысл жизни — это было что-то постыдное, узколобое, а *карьерист* — характеристика холодного расчетливого типа, способного предать ближнего, лишь бы продвинуться по служебной лестнице. Молодые с новым типом сознания вряд ли это поймут на лету, без комментария. А стариков от этих слов все-таки корежит.

Ну а те, кто не смог стать *успешным*? Их удел выражен словами «*неудачник*» и «*лузер*». Раньше в слове «*неудачник*» все-таки был некий оттенок сочувствия: человек пусть и не достиг успеха, зато добрый, бескорыстный, душевный — совсем как Обломов. Ну да, не очень «деловой», но ведь каждому своё. Теперь брошенное в лицо *неудачник* звучит куда как сурово, по тональности приближаясь к английскому *лузер*, в котором уже нет никакого сочувствия, а только снисходительное презрение.

Выбор в русском языке тоже никогда не представлял экзистенциальную ценность. Свобода — да, это ценность, но вряд ли она прямо связывалась с *выбором*. Свобода, а тем более воля, — это когда не учат жить, не мешают, не пристают, не заставляют, когда живёшь, как вздумается. А *выбор* с его сомнениями — головная боль, неуверенность в том, как поступить, и страх ошибиться. Чего же здесь хорошего? На нелюбовь к *выбору* повлияли и русский *фатализм*, и всякие *авось*, и желание избежать любой ответственности. Обычного человека наличие большого *выбора*, скорее, напрягало, даже пугало («А вдруг прогадаю?»). А когда *выбора* нет, то вроде и спокойнее: «Буду жить, как все».

А вот в последнее время что-то стало меняться. И всё пошло-поехало с рекламы, где *выбор* мелькает в самом положительном контексте. Причём ценность его нарастает. Нынче лучший подарок — не книга, как бывало, а возможность *выбора*: «Подарите ей *выбор*!». Получаешь в день рождения подарочную карту, а с ней — возможность *выбора*. Броди себе по магазину и размышляй, чем бы себя порадовать, на что замахнуться. Ощущения не самые плохие. И если так пойдёт дальше, то постепенно мы поверим, что возможность *выбора* — это не страшно, не рискованно, а даже приятно. Грешный язык приучает нас к новым соблазнам — радостям *выбора*. Правда, речь пока не идёт о возможностях *выбора* в других сферах жизни, кроме коммерческой. Но кто знает: если так пойдёт дальше, то, может, мы войдём во вкус и возможности *выбора* будут расширяться?

Третий блок новых слов связан с тем, что в России меняется культурная парадигма.

В последние годы здесь победила идеология потребления и тяги к богатству. Теперь мы предпочитаем жить в *элитной* квартире со *стильной* мебелью, носить *эксклюзивные* часы и *актуальную* причёску, смотреть

исключительно **культурные** фильмы и спектакли. Как видим, в русском языке появилась целая обойма **гламурных** слов, и она постоянно пополняется, поскольку установка на потребление и власть денег в сознании (особенно молодых) пока не исчерпана, а только усиливается.

Именно в молодёжной среде возникли некий жаргон и эталоны «красивой жизни». Вот из этой среды и вышло слово **гламур**. В СССР *гламура* не было, как не было и секса, как не было и тотальной жажды ослепить всех собою. Впрочем, *гламур* был (как и секс), но не был поименован, а значит — не афишировался, не возводился в культ, не символизировал важную ценность в жизни. Появилось слово *гламур* недавно (первая фиксация в 1997 г.), но с тех пор распространилось безгранично и повсеместно, со своими рупорами — дорогими изданиями по устройству «дольче вита», где излагаются рецепты, как стать совершенством, как одеваться, как украшаться, как соблазнить шефа и прочая.

Слово **гламур** пришло из английского (glamour) и вытеснило даже **глянец** (нем. Glanz — блеск). *Глянцевыми* стали называть журналы с блестящей обложкой — о моде, о новом стиле жизни. *Гламурный* — вроде бы о том же, да не совсем. Это слово глубже и образнее раскрывает суть новой культуры и может применяться практически ко всему — моде, тусовкам, одежде, духам, спектаклю, человеку и т.д. На запрос в системе GOOGLE получен ответ: «Это совершенно непереводаемое на русский язык слово может обозначать все, что угодно». Но тогда зачем это пустое слово? В языке так не бывает. Однако без *гламура* индустрия моды и шоу-бизнес просто немыслимы.

При том каждый, кто произносит это слово, вкладывает в него примерно тот же смысл, что и Эллочка Людоедка в слово «шикарно». Но ведь язык не терпит лишних, ненужных слов, они забываются, стираются из памяти. Есть «шикарно»? Тогда зачем ещё «*гламурно*»? Но «*гламур*», похоже, наступает. Значит, это не просто «шикарно», а как-то ещё. В этом оценочном понятии утверждается высокий стандарт роскоши и внешнего шика — в стиле голливудской шикарной жизни 50-х годов прошлого века.

Нет, не к лучшему мы меняемся! Вот В. Набоков в своих американских лекциях доказал, что только русские с их особым складом ума могли придумать слово **пошлость**, чтобы выразить отвращение человека к художественным вкусом ко всему, в чём можно чувствовать ложную претензию. **Пошляки**, полагал он, есть всюду. Но именно русские нашли это выразительное слово, потому что когда-то в России был культ простоты и хорошего вкуса. Что бы он сказал о «*гламуре*» и его претензиях на утрированную женственность, манерность, даже жеманность? Недаром ярким персонажем русских гламурных тусовок считается манерно-изломанная Рената Литвинова.

Гламур — это сигнал: отныне в русской культуре есть новый дух, новые ценности, неодолимая тяга к высоким стандартам потребления.

Хотим мы этого или нет, но это слово уже прицепилось к современной русской культуре.

И всё-таки, несмотря на широкое распространение, это слово так и не встроилось в нашу ментальность, остается неясным, размытым по смыслу, с раздражающим шлейфом претенциозности. Скажешь «*гламурный*» о спектакле или концерте — в смысле «яркий», «блестящий», «праздничный», а сам домысливаешь, что впечатление это — обманное, быющее по глазам, напыщенное, в конце концов, пошлое. Можно было бы передать смысл этого слова старинным словом «жеманство»: оно помогает заклеить — и тем самым изжить — манерное кривляние и дурновкусие *гламура*.

Важную ценность эпохи потребления передает и слово «*комфортный*», появившееся в русском языке совсем недавно. При внимательном рассмотрении оно вызывает подозрение. *Комфортный* — это такой, который оставляет приятные ощущения, прежде всего на физическом уровне: *комфортная* температура — это когда ни жарко, ни холодно, а просто приятно. *Комфортная* среда, жизнь, условия и т.д. — это о том же.

В последнее же время это слово так полюбилось, что им стали определять и психическое состояние человека: «мне здесь *некомфортно*» — т.е. «мне неудобно, неловко»; «мне *комфортно* работается» — т.е. легко, я чувствую себя хорошо, нормально. Определение *комфортно* исключает представление о ярких чувствах, пусть даже и приятных. Не скажешь ведь: «Мне *комфортно* наблюдать бурю на море» — не тот градус ощущений, слишком остро и волнующе. К примеру, если кто-то испытывает острое наслаждение, восхищение, то уж никак не скажешь, что ему *комфортно*. «Мне с ним *комфортно*» — это уж точно не про любовь. В этом расслабляющем словечке, вполне заменяемом другими («удобный», «уютный», «комфортабельный», «приятный»), отлично передается главная идея, тип поведения человека в эпоху потребления: занимаясь чем угодно, будь то делом, сексом или зрелищем, не стоит слишком напрягаться. Гораздо разумнее получать легкие приятные ощущения, физическое удовольствие, причем тоже не слишком явное и острое, а так, приятности ради. Вот тогда жизнь станет *комфортной*.

В обиход современного образа жизни, навязанного новыми временами, входят и крикливые слова рекламного содержания, похожие на торговца, который расхваливает свой товар. Теперь принято говорить *элитный* (раньше так говорили о щенках), а теперь — о чём угодно, даже о производителе (пардон, жеребец здесь ни при чем!), а речь — о производителе дорогих вещей. Вместо того, чтобы сказать, что товар хорошего качества и недешёвый, теперь надо говорить: *элитный*, или даже *элитарный* клуб, чай, алкоголь, парфюм, жильё и т.д.

А нынче у этого слова повился и брат-близнец — *эксклюзивный*. Первоначально оно подразумевало предназначенность для кого-то одного-единственного: *эксклюзивное* интервью — т.е. для одной газеты. А

теперь на наших глазах слово семантически опустошается: теперь так говорят не просто о чём-то, созданном в одном-единственном экземпляре, а о чём угодно, вплоть до часов с прибабасами или даже о баранине.

За этими прилагательными стоит идеология потребления, избранности, преклонения перед богатством, а это — новость для русской культуры. Они словно говорят: «Купи эту вещь — и войдёшь в элиту! Все обзавидуются, ведь такой больше ни у кого нет!». Grimасы современной торговли, агрессивное навязывание продукта, бессмысленное повторение этих рекламных слов внутренне уже опустошили их, лишили ярких красок, отчего они уже с трудом подстегивают желание обладать чем-то. Так что надо ждать появления новых истерических слов-зазывал, и похоже, что иностранных, раз они в *тренде*.

Об изменениях в русской культуре говорят не только восторженно-рекламные слова, но и кое-что другое. Вы не задумывались, почему вдруг слова «*стёб*» и «*прикол*» стали вдруг очень распространенными комментариями ко всему на свете? Напишет ли иной «мыслитель» злобную статью — не стоит возмущаться, не так уж он и противен в своей злобности, это он так *прикалывается*. Или снимет раскрученный режиссёр бездарный фильм, где всё за пределами добра и зла — игра актёров, идиотские диалоги, сценарий и.д., — не стоит возмущаться: это *прикол*, *стёб*, а вы что подумали? А масса театральных спектаклей, поставленные модными режиссёрами, наглыми по своему обращению с текстами классических пьес, знакомых со школы, когда зрители поначалу ошарашенно замолкают («Что это?!»), но скоро летит шёпот по залу: «Он же *стебается*, *прикалывается*, неужели неясно?» И все успокаиваются.

Вот такое объяснение происходящего. Никому не хочется прослыть тупицей, консерватором и ретроградом, остается согласиться: да, *прикол*, *стёб*, перформанс, провокация, парадокс и всё такое прочее. Разум, здравомыслие, критический взгляд уходят из житейского обихода, граница между истиной и ложью размывается на глазах. Вместо них — наглость и пиар. И на этом фоне задавать наивные вопросы «А что это было?», «А что ты по этому поводу думаешь?» — смешно. Потому что ответ один: «Да не ломай голову! Это просто *прикол* такой». Грустно жить в мире, где вместо правды — экономическая выгода и эффективность, а вместо здравого смысла — *стёб*.

Анализ новинок русского языка показывает, что речь идёт не о фрагментарных изменениях словаря, а об **изменении целых фрагментов языковой картины мира у русских**, — связанных с демонстрацией «экономического типа мышления», со **сдвигами в сознании, с новым типом поведения и жизненными стратегиями** молодых, с их **новыми жизненными ценностями**, а также с **изменением культурной парадигмы**.

Интересно, что многие из нас отчётливо понимают, что все эти «новшества» в русском языке — результат глобализации, и ничего страшного в этом не находят: мол, вместе с новыми вещами, идеями и понятиями

мы перенимаем высокие ценности мировой культуры. Это же логично! В конце концов, так мы приближаемся к «цивилизованным» странам. И так уж получилось, что глобализация говорит в основном по-английски, а точнее, по-американски...

А между тем впору задуматься о *коррозии русского сознания*, суть которой — *вестернизация*. Особенно это опасно для не очень образованных, «простых» людей, которые не способны сопротивляться тихо-му, вроде бы безобидному давлению новых слов. Тем более, что русский человек ко всему чужому и чуждому относится терпимо и даже способствует развитию этого чужого, правда, до известных пределов: если речь не идёт о чужой вере. В нашем же случае речь идет не о вере, но тоже о важных фрагментах коллективного сознания.

Так, демонстрация «экономического типа мышления» с усиленной техничностью породило ряд слов, которые своим растёкшимся смыслом затушёвывают очевидное и конкретное (*бизнес, менеджер, вызовы, проект, продукт, формат*), откровенно навязывают чужое мнение (*пиар*), уводят от реальности и даже подменяют её (*эффективность*).

Оценивая любой труд с точки зрения купли-продажи, слова-подкидыши, обычно англицизмы, тихо давят на коллективное сознание, постепенно приучая говорящих и слушающих к новым ценностям. Более того, они навязывают их в качестве эталонного стандарта. То, что раньше было подозрительно и не вполне прилично, теперь чуть ли не норма и даже цель (*успех, карьера*). Новый тип отношений между людьми в обществе усиливает ожесточение и разрушает традиционные сочувствие бедному, сострадание слабому, коллективную солидарность. Тот, кому раньше сочувствовали, теперь стал *лузером, неудачником*, а это звучит нынче безо всякого сочувствия, наоборот, теперь может вызвать и насмешку, презрение. Новые модные слова «*формат*», «*продукт*» стирают русскую интуитивность, образность выражения, творческое воображение, подчёркивая и усиливая технические параметры объекта, делая наше сознание все более прагматичным, заземляя его.

Уходят в прошлое русские традиции личной скромности и неприязнтельности, в моде теперь *амбициозные успешные* люди с *позитивным* мышлением, которые способны *агрессивно* делать карьеру, отвечая на *вызовы* и испытывая от этого не усталость, а только *драйв*. Бессмысленно теперь, фигурально выражаясь, гореть и всячески пылать, будь то даже огонь любви. Теперь правильное расслабиться, не слишком напрягаться, ибо в *тренде*, как они говорят, — *комфортная* жизнь, расслабленная, полная физических удовольствий.

Язык рекламных торговцев с их зазывно-крикливыми иностранными словами потихоньку приучает человека к соблазнам общества потребления, к *выбору* (правда, пока только в коммерческом контексте), к *гламуру* — ко всему, что связано с высокими стандартами потребления: *эксклюзивный, элитный, стильный, культовый, актуальный* и т.п.

Сложившийся веками русский культурный код, отражающий особый национальный склад ума, образ мышления и поведения с его открытостью, правдолюбием, психологизмом, вниманием к бытию и конкретной жизни, умением сочувствовать в беде, с его идеями непритязательности и личной скромности и т.д., — вся эта «русскость» при новом жизнеустройстве не работает, не помогает человеку выжить и состояться, а наоборот, как кандалы тянет назад, вызывая насмешку у молодых. Понимая это, люди старшего поколения тем не менее не всегда готовы подхватить новые жизненные ценности прагматического общества, и от многих новых слов их корёжит.

Надо помнить, что *не мы живём в языке*, используя его как попало, для «культурности» набивая словами-подкидышами, а наоборот — *язык живёт в нас*, передавая закодированный опыт предков, выстраивая национальную картину мира, просветляя и облагораживая нас.

И если он замусоривается, бессмысленно искажается, то это небезобидно, поскольку, как мы убедились, чужеродные слова искривляют наше мыслительное пространство.

В своём большинстве иностранные слова, попадая в наш обиход, беднее по смысловому объёму и коннотациям, но эта бедность выдаётся за точность смысла. Тогда как именно точности и ясности там нет и в помине, а есть искусственность характеристики (не образ — а *имидж*, не известность — а *престиж*), или замазывание преступления (не вымогатель — а *рэкетир*, не продажность — а *коррупция*, не убийца, душегуб — а *киллер*, не начальство — а *истеблишмент* и т.п.), или просто желание увести от реальности (эффективность и другие экономические термины).

В новых словечках, брошенных как попало, стирается и обесценивается опыт предков, вытесняются коренные русские слова, а вместе с ними и национальные образы мира, искажаются традиционные представления обо всём на свете, что делает нас глухими и к слову, и вообще друг к другу. Когда слова теряют смысловые перспективы и образность, всё труднее становится создавать поэтические тексты, обедняется литература.

В конце концов, русский язык как система концептуальных ценностей, накопленных предками, — единственная сила, которая ещё осталась у нас, русских, как возможность развития культуры. Культура — это прежде всего творчество в языке, это поле сознания и подсознания. А сегодня это поле засеивается сорняками, заболачивается.

Как быть дальше? От чего отказаться? Что и как сохранить в дальнейшем развитии языка? Как одолеть беду и морок в его развитии? Только задумавшись вместе, преодолевая растущую глухоту к слову, мы сможем одолеть эту беду. А *по беде* (т.е. «после беды»), поборов её, согласно русской ментальности можно надеяться на *победу*.

О ВАЖНОМ В ПРОЗЕ И В СТИХАХ



© Художник Елена Любич

Елена Копытова
(Латвия, Рига)

Родилась и живу в Риге. По образованию – юрист. Работала преподавателем в вузе. Есть сын – школьник. Люблю поэзию, воздушный экстрим и поезда дальнего следования. Стихи пишу с подросткового возраста. Автор печатных и сетевых публикаций стихотворений. Лауреат нескольких литературных конкурсов. Бронзовый призёр Международного литературного конкурса «Кубок Мира по русской поэзии - 2014» (портал stihiv.lv).

Провинциальное

Провинциальное

...и неважно, где он и как зовётся —
городок с часоуенкой под ребром.
Ночью время черпаешь из колодца,
до утра гремишь жестяным ведром.

И душа напoлняется зыбкой грустью.
Всё застыло будто бы на века
в закоулках этого захоустья.
На цепи по-волчьи скулит тоска.

...колосится утро над бездорожьем.
На лугах — ершистая трын-трава.
Вот бы враз оторваться, сдирая кожу! —
Отболев, отникнуть, но — чёрта с два! —
Как ни бейся — хлёткая пуповина
неизменно тянет тебя назад.

...у хозяйки — брага (к сороковинам).
На столе — портрет (утонувший брат).
На цветастом блюде — свечной огарок.
Кислый квас — во фляге. В печи — блины.
На плакате выцветшем — Че Гевара,
и ковёр с оленями — в полстены.

Даже то, к чему ты едва причастен,
прикипает к памяти навсегда.
В сенокос — царапины на запястьях,
да жара без продыху — ерунда.
От того, что было сплошной рутиной —
горячо и больно, по телу — дрожь...

тишина колышется паутиной —
даже выдохнуть страшно,
а вдруг порвёшь?

...Алёше не снятся (из дорожных зарисовок)

Всё — сам! — он никак не согласен на меньшее.
 Мальчишка — в тельняшке, но... спит, как сурок.
 Алёше не снятся дороги Смоленщины...
 (не видел он толком российских дорог).
 Над верхней губой — чуть заметная родинка.
 Он — сам по себе, не задолблена роль.
 Он знает, «с чего начинается Родина» —
 с таможни, со слов: «Пограничный контроль!»

...а плюшевый мишка две бусины вылупил
 и смотрит насквозь, от бессонниц устав...
 пока по «нейтралке» — из Себежа — в Зилупе
 со свистом летит жёлто-синий состав...

За далями — дали вослед... и — так далее...
 Смолистый рассвет заливает леса.
 И вздрогнешь, увидев — колодцы Латгалии
 сухими глазами глядят в небеса.
 ...и с полок слетают крылатые простыни.
 ...небритый сосед говорит: «Вуаля!»
 ...саднящий динамик фонит девяностами —
 «Зачем нам, поручик, чужая земля?»

Так странно — «просёлки, что дедами пройдены» —
 другая судьба, незнакомая жизнь.
 ...и поезд опять прибывает на... Родину.
 ...а здесь, как везде... —
 ни своих, ни чужих...

Крепкий орех

...только мама и ты. И весна на дворе.
 Воздух детства, звенящий, как спелый арбуз.
 Слово «Родина» — крепкое, точно орех —
 не распробуешь с первого раза на вкус.

...середина пути. И дождём осаждён
 серый город, дрейфующий в талой воде.
 Так бывает: годишься не там, где рождён...
 а бывает... и вовсе не годен нигде.

...и трясешься в вагоне — судьбе ли назло? —
Вот и дерево кроной глядит на восток. —
Так подбитая птица встаёт на крыло,
безнадёжно ловя восходящий поток.

...а тебе говорят: «Так ведь это — твой дом!» —
ножевые слова — как удары серпа.
Слово — крепкий орех, да вот только потом...
от него остаётся одна скорлупа.

...и царапаешь душу в густой трин-траве.
Но с тобой пуповиной земли сплетены —
вместо матери — крест, вместо Родины — две
совершенно чужих бесприютных страны...

Не парижское

Улицы не парижские... Ветер гуляет кочетом.
Голуби над задворками. Нудные холода.
У пацанов с окраины папы — сплошные «лётчики».
Рано стареют матери. Чадно горит звезда.

Хочется... прочь! — Из города, чтобы дорога — скатертью,
чтоб разговоры в тамбуре, а за окном — поля,
чтобы вдохнуть заутренний свет над церковной папертью...
чтобы отцу и матери пухом была земля...

или... на тесной кухоньке пить до утра шампанское,
чтоб на одном дыхании — залпом объять сполна —
русское и еврейское, польское и цыганское...
чтобы в душе — бубенчики, а на дворе — весна...

был бы, слегка присоленный, хлеб — на ладони времени...
чтобы в гостях — желанные (и никогда — врасплох),
чтоб проростало лучшее не из чужого семени...
но... на ветру качается пыльный чертополох.

Не золотятся колосом Псковщина и Смоленщина,
наглухо занавешены долгие вечера...
а в безымянном городе плачет хмельная женщина,
будто опять поверила, что из его ребра...

Незнакомая Родина

Два вопроса: «Что делать?» и «Кто виноват?»,
как седые просёлки, навеки схлестнулись.
В Ярославле над Волгой ярится закат.
Тлеет Тула витринами пряничных улиц.

А в вагоне — туман опрометчивых слов.
Да и сам ты доверчив, наивен и жалок,
обнаживший всю душу до самых основ,
точно Питер — изнанку своих коммуналок.

...за спиною — перрон. Переступишь порог —
и на пир с «корабля»... но расходятся гости.
...а рассвет с огоньком, и с горчинкой дымок,
и дрова — на дворе, и трава — на погосте.

Оживает душа, обращённая в слух.
Акварельные зори свежи и прозрачны,
но умолк предпоследний нетрезвый петух,
оцарапав околицу хрипом наждачным.

Вот бы взять да попробовать жить-не тужить,
чтоб душа — нараспашку!.. Похмельно-непьющий
понимаешь, что... — к лешему вся эта жизнь! —
Что за чушь, что дорогу осилит идущий?

Кто соврал, что идущему ноша легка? —
Добрести бы до дома неровной походкой...
(Как известно, Россия — в глазах чужака —
пресловутый медведь, балалайка и водка).

Незнакомая Родина... Всё занесло —
заметило пеплом неверного слова.
...а в плацкартном вагоне тепло и светло.
И подросток-«ботаник» читает Толстого...

Без слов

Говорят, в Отечестве нет пророка,
да и кто б узнал его, если есть?
Но зато опять на хвосте сорока
притащила сдуру худую весть.

...а в чужое сердце влетишь с разгона,
так тебя проводят — «на посошок»
полной чаркой спелого самогона.
Сумасбродно, ветрено... — хорошо!

...а потом — привычный рассол на завтрак.
Хоть полвека пей, всё равно — тоска.
Ты чужой здесь и... не сегодня-завтра
упорхнёшь, как ласточка с облучка.

...но пока... молчи! На душе бездонно.
Всё, что важно, сказано и без слов.
Просто Бог, шутя, раскидал по склонам
золотые луковки куполов.

Просто остро пахнут лещом и тиной
на равнинах волжские рукава.
И тебя пронзает гусиным клином
ножевая русская синева.

о. Андрей Ткачёв
(Россия, Москва)

Родился в Львове, в 1969 г. Был настоятелем храма преп. Агапита Печерского в Киеве, публицистом, ведущим телепередач. Сейчас служит в Москве. Публикуется во многих изданиях русскоязычной прессы.

Несколько строк о человеке

Напишите мне несколько строк о человеке.

— О каком человеке написать вам несколько строк?

— Ну, просто о человеке, который — не знаю — завязывает галстук по утрам, смотрится на ходу в своё отражение в витринах, как в зеркало, зеваает, не прикрывая рта, боится старости... Просто о человеке напишите мне пару строчек.

— А вам зачем?

— Затем, что выговаривая нечто, можно вытащить из тьмы несказанного, на крючке произнесённых слов, какое-то откровение о будущем. Так бывает: говоришь, говоришь всё о понятном и общеизвестном, а потом — бряк — и сказал сам для себя неожиданно нечто тайное и сокровенное. Вот я и прошу: скажите мне пару слов о современном человеке. Я буду вслушиваться — не произнесёте ли вы пророчества.

— Но, поймите, это сложно: писать или говорить о существе, у кого нет лица; вернее о том, у кого есть лицо, но нет глаз. Точнее, есть глаза, но они потухли. Сигарета во рту дымится, а глаза потухли. Это очень сложно — писать о современном человеке. Он сыт, но мёртв; учён, но глуп; добр, но бесполезен. Он даже не добр, он жесток, но признаёт теоретически превосходство доброты и таким себя изображает. Он актёр. Плохой, но актёр. О нём нужно плакать, а не писать. Нужно плакать, но плакать некому. Вот о том, что плакать некому, и нужно писать.

— А что значит «глаза есть, но они потухли»?

— Это значит, что внутри у человека что-то очень важное оборвалось и умерло. Теперь у него нет будущего.

— То есть как «нет будущего»?

— Ну, так — нет. Он может планировать отпуск, потому что отпуск у него ещё будет. Даже несколько отпусков. Но вот будущего — будущего у него не будет. А прошлое он забудет, пока оно само не станет перед ним обличающим зрелищем. И золотого города не будет, четырёх жемчужных ворот, двенадцати драгоценных оснований, реки жизни, деревьев по обе стороны... Ничего достойного вечности не будет у него. И вот, когда ты думаешь о нём — человеку с лицом без глаз — ты представляешь себе какой-то абсурд.

Вот на стене воняют часы. Это часы с кукушкой, но кукушка умерла. Теперь часы не ходят, и труп кукушки издает зловоние. Как вам? Глу-

пость этой картины достойна конца времён. Или собака вместо «гав-гав» членораздельно говорит хозяину: «Покайся». Или птицы густо облепливают ветки деревьев, карнизы и провода. Ещё чуть-чуть, и они, как у Хичкока, бросятся на человечество в атаку, разобьют головами окна, начнут заклёвывать детей, но... Одна из чаек вдруг громко кричит: «Мы пошутили!» — и птицы с шумом уносятся в разные стороны. А вот кабины бесшумных лифтов в многоэтажках едут мимо цокольного этажа ниже и ниже, до самого Ада. Об этом даже фильмы уже снимали, и это правильные интуиции. При наших грехах, заходя в лифт, нужно бояться не того, что застрянешь, а того, что до Ада доедешь.

Или вот, кажется — сел в автобус человек и едет. Он едет, а на него все косятся и ухмыляются, отвернувшись к окнам. Словно весь автобус в сговоре и все против этого только что севшего человека. И так они едут-едут, а потом замечает человек, что он сел не в тот автобус. Ну, пейзаж за окнами не тот, не туда они катят. Он говорит: «Остановитесь, пожалуйста. Я сойду». А водитель будто и не слышит. И все делают вид, что не слышат. Отвернулись к окнам и смотрят. И вот одинокий пассажир чувствует, что попал в беду. Он паникует, пытается выломать дверь, но безуспешно. Дверь крепка, и автобус набирает обороты, газует, летит быстрее... А за окнами уже пустыри, и темнеет как-то быстро. И пассажиры разом оборачиваются...

Тут надо просыпаться. Я так и сделал — я проснулся и сел на кровати, тяжело дыша. Потом зажёл настольную лампу, взял лист бумаги и написал вот это:

«Человек, чьё собирательное имя когда-то звучало гордо... Человек, которого научили хвалиться тем, к чему он не причастен, например, полётами в космос. Человек, которому обещали счастье, вначале средствами пропаганды, затем — рекламой, в конце — разворотом и легальной продажей марихуаны... В двухэтажном экскурсионном автобусе такой человек доехал до станции, откуда виден конец всемирной истории.

И что там — в конце мировой истории? И что здесь — на станции? Здесь пыльно как-то, и по пыли бродят куры, как в южной деревне. Здесь человека попросят раздеться, заберут документы, снимут часы и нательный крестик. Обручальное кольцо попробуют снять, но оно вросло, и его оставят. Скажут шёпотом: „Потом отрежем вместе с пальцем“. Потом его отведут к стене. К грязной, давно штукатуреной стене, забрызганной неизвестно чем. Уткнут в неё носом прямо под рекламой машинного масла и расстреляют. Это будет здесь — на станции. А что будет там — в самом конце истории, об этом написано в других книгах.

Но за что?! За что расстреляют этого человека? А за то, что он уже давно не жилец. Его уже давно расчленило искусство, развенчала наука, его бытие под сомнение поставлено философией. Все настолько привыкли, что его нет; или есть он, но бытие его иллюзорно... Все настолько привыкли сомневаться в его реальности, что его хладнокровное убий-

ство уже давно было делом всего лишь времени. Он и сам читал ежедневно в газетах новостные сводки о самоубийцах, о жертвах локальных конфликтов, о жертвах криминальных разборок... Новость была бы ему не в новость, если бы взгляд не столкнулся со словом «погибли». И все погибшие не были частью реальности, а так...

Ежедневная смерть абстрактных людей в новостях — вот что было пищей того человека. Что ж нам теперь удивляться, что кто-то уткнёт его самого носом в стену? Что ж нам теперь удивляться, что кто-то убьёт его выстрелом сзади? И пистолет будет держать так хладнокровно, словно это пистолет от шланга на заправочной станции. И что нам теперь удивляться, что кто-то после съест глазами информацию о его смерти в вечерней газете?».

— Позвольте, а что за автобус привёз его к этой стене?

— Простой двухэтажный автобус для городских прогулок. На одном борту была написано: «Бога нет!». На другом: «Не носите медвежьи шубы. Пожалейте медведей!»

— Кто еще был в салоне того автобуса?

— Да какая разница? Разве нам интересны соседи по дому, соседи по транспорту, соседи по кладбищу? Он был один, поверьте мне. Он был совершенно один. Жена не в счёт, дети не в счёт. Не в счёт санитар, убиравший тело. Не в счёт доктор, производящий формальное вскрытие. Не в счёт репортёр, написавший о нелепом убийстве. Не в счёт Кафка, видевший и описавший подобное за много лет до трансатлантических перелётов и бомбардировки Нагасаки. Всё не в счёт. Он абсолютно один, и если бы вы спросили, что видел он, когда поднимал глаза к небу ещё при жизни, то я сказал бы вам: он ничего не видел. Он смотрел в небо только когда хотел чихнуть.

— Но имя есть у него?

— Есть. Сын Адама, принявший другое родство. По новому имени — сын обезьяны. Житель бездушной цивилизации. Раб страстей, любивший больше всего говорить о свободе. В обобщённом некрологе может быть написано: «Не понимал смысла слов „верить“ и „надеяться“. Любил только кабельное телевидение». Так что запишите в нужную графу слово «самоубийца», и покончим быстрее с этим делом. К тому же мы не солжём. Он действительно самоубийца.

Вот мой текст после пробуждения. Вот моя грустная песня. Вам нравится? Это то, что вы хотели? Это обобщающая фантасмагория о современном человеке, который самоубийца в духовном смысле и которого не ждёт Небесный Город. Эти несколько строчек были куплены мною за цену ночного кошмара. А сам кошмар был приобретён по цене многих бессмысленно прожитых лет. Что до самих лет, то они получены в наследство от дедов и прадедов, начиная с Адама и его грехопадения. Что касается того, как жить дальше и не видеть во сне подобных кошмаров, то на этот счёт у меня есть несколько утешительных соображений.



© Художник Андрей Карапетян

Письмо марсианину

Можно объяснить марсианину существование бензоколонок. Но будет очень сложно объяснить ему, зачем нужны все эти церкви.

Джон Андайк

Дорогой У-140-М, здравствуй. С тех пор как ты улетел, с тех пор, как твоя ракета оставила жар на бетонной полосе и боль разлуки в моём сердце, я всё время вспоминаю наши дни, проведённые вместе. Что ни говори, а такая дружба, как у нас, — между представителями разных планет и цивилизаций, — это настоящее чудо. Раньше, как пишут хроники, никто об этом и мечтать не мог. Вместе с тобой я словно заново родился и посмотрел вокруг себя впервые. Так бывает. У нас на Земле

говорят, что самые мудрые люди — это бабушки. Им приходится много раз в жизни смотреть на птиц, на деревья, траву, облака как бы впервые, когда они показывают своим маленьким внукам все эти вещи и называют их имена. «Смотри, деточка, — говорят они, — это кошка». И в это самое время они сами словно впервые видят кошку. И так во всём. Получается, что бабушкам подарена возможность видеть мир детскими глазами. Они могут много раз смотреть на обычные вещи и переживать радость первой встречи с предметами и явлениями. У них есть вечно свежее удивление, и даже восторг, настоящий детский восторг, который у взрослых всегда бывает только с примесью чего-то злого. И только у одних детей восторг чистый и искрящийся. Ты видишь, я так сложно выражаюсь, а между тем я обычный землянин и в электронике разбираюсь лучше, чем в красивых фразах.

Так вот, ты улетел, и я почувствовал себя такой вот земной бабушкой. Шутка ли? Несколько недель я смотрел на свой привычный мир как будто впервые, потому что смотрел на него твоими глазами. Я называл тебе имена самых обычных предметов и в это время сам смотрел на них с нескрываемым восторгом и удивлением. Города мало интересовали тебя. Вас, марсиан, не удивишь ни средствами связи, ни средствами передвижения. Зато за городом, у реки или в поле мы были по-настоящему счастливы. Мы следили за стайками рыб на мелководье, долго лежали на траве, задрав головы и наблюдая за проплывающими облаками. Мы подставляли лица свежему ветру, и ты мгновенно сначала определял его скорость и направление, а потом бросил эти расчёты и просто наслаждался первозданностью нашей природы. Однажды мы даже попали под дождь, и я помню, как ты перепугался. Ведь на Марсе дожди только кислотные, и от них под скафандрами и навесами спасается все живое и полуживое. Так пролетела неделя твоей командировки и моего отпуска. И вот теперь, вспоминая те удивительные дни, я должен сказать тебе, что одно из твоих слов не выходит у меня из головы. Мы летели домой, вернее, в гостиницу. Летели на стареньком такси, которое двигалось в воздухе весьма медленно. Солнце ещё не село. Можно было видеть и рассматривать всё, что было под нами. И ты спросил тогда: «А что это за причудливые домики с крестами на крышах? Они такие необычные» В некоторых старых районах нашей столицы их довольно много. Я тогда что-то сказал тебе про моральный закон, про пережитки старых времен, про идею Бога. И мы быстро отвлеклись. Но вот теперь, когда ты улетел, а я остался, я зашёл в некоторые из этих домиков, именуемых «церквями». И должен сказать тебе, что спроси ты меня сейчас о них, я бы замолчал и не нашёлся, что ответить. Любой простой ответ уже не даётся мне, и мне самому хочется разобраться. Зачем прежние поколения строили так много этих домиков, некоторые из которых очень велики и просторны? Что они делали в них, какая вообще идея скрыта за этими зданиями, в которых нет привычного алюминия и пластмассы, а есть

одни лишь устаревшие материалы, такие же тёплые, как тот ветер, которому мы подставляли свои лица?

Я хочу уже для самого себя разобраться с этим вопросом. Прилетишь ли ты ещё раз, или кто-то из ваших посетит нас, а я буду сопровождать его, этот вопрос может возникнуть опять. И сам я, как уже сказал, хочу, чтобы эта сторона жизни была для меня более понятна. Легче всего отнести всё к дикости и невежеству прежних людей. Мой отец говорил мне, что так учили в школе его отца. Сейчас, ты знаешь, мы просто молчим в школах на эту тему. Но дикость и невежество — плохое объяснение. Храмы строили и тогда, когда рассчитывали орбиты движения планет, делали трепанацию черепа и знали свойства трав и растений. Причём часто именно те, кто знал толк в математике, физике и химии, стояли храмы и читали там свои непонятные для нас и необходимые для них тексты. А если не невежество, то что? Я стал думать об идее Бога. Вы, марсиане, не таковы, как мы. А мы, люди, не можем жить без внутреннего закона. Нам мало быть сытыми, защищёнными и образованными. Мы очень легко можем убить себя или того, кто рядом, если великая идея не объяснит нам наше существование. Я прочёл это. Не думай, что я так умён и глубок, что дошёл до таких мыслей своим умом. Но когда я прочёл об этом, сердце моё дрогнуло. Я понял, что напал на истину. Человеку нужно что-то, что не съешь и не наденешь, но что управляет жизнью и даёт ей смысл. Так может, для этого строили такие красивые и необычные здания? Для того, чтобы в них каким-то образом действовать на людей и превращать их из говорящих животных в нечто лучшее? Но тогда всё это похоже на заговор. На умный и тонкий, на полезный для общества, но всё же заговор. Ты знаешь, что разуверило меня в этой мысли? Красота. Да, красота. Эти храмы красивы. И то, что в них, очень красиво. Даже когда там ничего не происходит, а ты один стоишь и смотришь на стены, на купол, на солнечные лучи в куполе. Красиво. А заговор не бывает красивым. Он может быть величественным, устрашающим, но он не красив. Ему просто неоткуда брать красоту. Это я тоже прочитал. Тогда что же остаётся? Остаётся то, что всё это — правда.

Не смейся надо мной. Я всё же человек, а не марсианин. У меня нет ни такого скафандра, как у тебя, ни такого спокойствия. Так вот. Правда то, что есть Бог, и что люди были в общении с ним, а потом отпали в какую-то тьму. Правда то, что у Бога есть Сын, и этого Сына, Который во всём равен Отцу, Отец послал к людям. Его жизнь на земле была коротка и интересна, но об этом я напишу тебе потом, если ты захочешь. Важно то, что Сын Бога был убит людьми. Его распяли на кресте. (Представляешь, какая дичь творилась раньше на нашей планете?!) Вот почему те красивые строения увенчаны крестами и их всегда видно издали. Но мёртвым Он не остался. Он ожил. Книжки говорят, что Он «победил смерть». Всё это похоже на сказку, особенно для вас — марсиан. Но мы,

люди, у которых так часто болит и ноет сердце, находим в этом рассказе что-то настолько важное, что начинаем плакать. А ведь ты знаешь, что вот уже двести лет, как человек почти перестал плакать и очень этим гордился. Я узнал с большим удивлением, что вся история человечества как-то странно связана с этой короткой историей, часть которой я описал тебе. Люди то ждали прихода Сына Божьего, то потом старались жить для Него, то отказывались от веры и начинали её ненавидеть. Было время, что они даже рушили эти красивые здания и убивали тех, кто сильно любил Распятого и Ожившего. Но это заканчивалось какими-то страшными бедами, и люди снова возвращались к трогательной истории.

Сегодня мы ничего не рушим и ничего не читаем. Нам не до этого. Мы увлеклись межпланетными перелётами, увеличением длительности жизни, поиском новых видов энергии. И я — такой же, как все. История для меня ещё недавно начиналась с 2050 года, а что было раньше, никто не скрывал, но мне не было до этого дела. Так нас учили в школе. И вот теперь мне всё это стало интересно. После твоего вопроса стало интересно. За это спасибо тебе, дорогой У-140-М. Твой пытливый марсианский ум разбудил мой слабый ум человеческий, и теперь мне начал открываться какой-то новый мир. Я не знаю, разберусь ли я во всём этом, не отвлечёт ли меня повседневная занятость, не устану ли я изучать то, что изучать не привык. Но я чувствую, что должен заняться этим. Я чувствую что здесь, а не в разработке новых двигателей, кроется наш человеческий прорыв. Обещаю тебе, друг, что если я основательнее разберусь в тайне красивых зданий, увенчанных крестами, и той истории, которая их произвела на свет, я расскажу тебе об этом подробно и с увлечением. Ведь тебе так нравилось, когда мы, люди, с увлечением рассказываем что-либо. У вас на Марсе, ты говорил, все рассказы ведутся обстоятельно и ровно, не так, как я тебе рассказываю.

До встречи. Книги ждут меня. Книги электронные, привычные, и что ещё лучше — книги старые, бумажные, пахнущие теми временами, когда не было ни меня, ни межпланетного такси, ни космических заправок на Луне. Обещай мне сказать, что ты обо всем этом думаешь.

Твой друг с планеты Земля, Ваня 136\17.

Марина Викторова
(Эстония)

Врач-эпидемиолог. Училась в Москве. Живу в Таллине. Работаю в одной из служб Департамента здоровья Эстонии. В свободное от работы время пишу стихи, увлекаюсь поэтическим переводом. В рамках сотрудничества с Международной медийной группой «Интеллигент» стараюсь продвигать творчество талантливых авторов нашего региона. Время от времени участвую в поэтических и переводческих турнирах. Иногда удачно. Очень люблю литературные фестивали за возможность живого человеческого общения, за встречи с друзьями и единомышленниками.

Слепцы и смотрины

Бархатный сезон

А знаешь, мне не хочется дождей,
их прыти, пузырей, их паркой влаги,
со шлейфом меланхолий на бумаге
в тягучей бесполезности своей.

Есть нечто в тёплых августовских днях
с рассыпанной в передней спелой сливой,
что красит жизнь и делает счастливой,
и благодатной, как баба на сносях.

Рассветы, точно пенки с молока,
с топлёных солнцем дней снимают ночи,
у сумерек — лишь хвостики короче
да носики прохладнее. Слегка.

Но прежде чем поставит на крыло
свой выводок последний нынче лето,
успеть бы завернуться в бархат пледа,
вобравшего в себя его тепло,

и нежась, преугодно зимовать,
настырных холодов не замечая,
и подавать гостям с душистым чаем
янтарных слив в сиропе благодать.

Другу

Желтизны почти не видно в кронах,
но вчерашний август закатился
перезрелым яблоком к затону,
тронув небо боком золотистым.

За окном полощутся пайетки
охрой конопаченного клёна,
пляшут человечки-статуэтки
на ещё живом, ещё зелёном.

Пляшут, пляшут... Это — в застеколье.
Там, где ты, другое и другие,
там — круглогодичное застолье
непереходящей ностальгии.

Кондиционер гоняет страхи,
остужая прошлое фреоном,
чей-то ямб сменяет амфибрахий,
и опять стихи, стихи — прогоном.

О минувшем... Проза разнотчений.
Прогоркают давние надежды.
В переборе чьих-то изречений
ты то врозь с собой, то снова смежно.

Кто-то подойдёт, огня попросит.
— Нет, не жаль, курите на здоровье, —
и тотчас же снова канешь в осень
зыбким светом, смешанным с любовью.

Диптих. Посвящение поэту

1

Так вжиться в боль, чтоб выжечь тишину
из тени наползающего «завтра»,
так черпать жизнь — скрести душой по дну
минувших дней — отчаянно, азартно,
так преодолевать откат в себя —
вздматься в ночь и оседать с рассветом,
так безвоздушность словом тербя,
в ней умирать
и воскресать
поэтом.

2

Вот ночь. Ты снова включишь доминанту,
сползёт абсцисса с оси ординат —
то Хронос верным подданным таланта
привычно вновь попятится назад,

на заданную точку недеянья,
на точку сублимации души,
где странно живы все воспоминанья,
на эропоэтическую «Джи».

И снова в старых ритмах рок-н-ролла,
под водочку и девочек в довес,
оплавится винил на грани фола,
и выплавится Слово из словес.

И станет тихо. Стало быть, родится,
чтоб серебром по душам зазвенеть,
твоих стихов целебная водица...
...Моих восторгов грошевая медь.



© Художник Елена Любович

СпасиБо

Знаешь, вечер тянется в сентябре,
словно в детстве сжёванный «бубль-гум»,
в нём ни слова правды о жизни нет,
вот сейчас пишу, а по-правде — лгу.

Лгу про всё, про чудный осенний лес —
уж лет пять, как след мой в лесу простыл,
в одиночку — страшно, с подружкой — бес-
компромиссно взорваны все мосты...

Интересно знать, отчего так вдруг?
У судьбы всегда в мышеловке сыр.
Я скажу тебе: всех моих друзей
заменял давно повзрослевший сын.

Это — крест на розе моих ветров,
это — гнев и милость в штормах норд-ост,
но душа к душе и к нутру нутро,
а любовь и боль — в пуповинный рост.

Это — проэдипово колдовство,
с каждым днём сильнее пуповинный тяж,
кладёзь одиночества — статус-кво,
вектор одиночества — камуфляж.

Сколько отпускала! Им несть числа —
городам его и дорогам... Бо!
Пуповинный узел добра и зла
разруби для мальчика моего.

Он уже вполне оперился сам,
он готов крест несть из своих свобод,
раздувай, натягивай паруса,
обо мне не спрашивай, я — не в счёт.

Муха

Грязнут сплетни, липнут слухи,
стынет время, вянет тело.
Помню, видела я, муха
сквозь янтарь на свет глядела.
Просто прошлое сгустилось,

просто поздно делать правки,
в каждом вдохе — Божья милость,
в каждом слове — отзвук Кафки.

Слепцы и смотрины

В этих чёртовых оболочках
Стёрты души до волдырей...

.....
Я прошу тебя, Святый Отче,
посылай им поводырей,
тем, кто сердцем незряч настолько,
что вплотную не разглядеть,
как по осени стыдно-горько
обнажённой калиной рдеть.
Гроздей тяжкую переспелость
отпевают басы ветров,
не успеется — не успелось
заневеститься на Покров.
Будут ливни точить балясы,
омывая нагую стать...
Что потом?..
Обряджаться в рясы
да корнями в снега вмерзать.
Пьяных ягод ронять рубины
под глухой хохоток слепцов.
Это — поздней любви смотрины...
Не смотри, не смотри в лицо!

Небожителям

Когда не небо в звёздах, а земля
с размытою суглинистою почвой,
совсем не приспособленная для
доставки вдохновений срочной почтой,
твой долг — и день, и ночь сучить руно,
а не гадать мечтательно на рунах,
следить глазами за веретеном,
не беря расстроенные струны...
Всё просто: кто-то должен быть земным
не только для предательства и порки.
Все наши чувства — чувства, а не дым,
быть может, без возвышенности Лорки,
но так ли непростительна на вид
озвученных раздумий неуклюжесть,
когда душа болела и болит?..
Увы. Неутешителен conclusion.
И пусть такой вердикт не напоказ,
я попрошу вас всё-таки, потише,
нам слышно, хоть вы много выше нас,
на несколько земных прогонов выше...

Моя Иудея

Есть в душе два полюса, два мира,
и в одном из них, сутул и снул,
слушая пастушескую лиру,
пестует свою тоску Саул.

Долетают звуки издалече.
Если бы ему достало сил...
Но в окне густел февральский вечер,
и Саул лучину загасил.

Лишь луна сиделкой желтоокой,
проникая сквозь проём окна,
освещала профиль одинокий
да тоску Саула стерегла.

А в другом миру играло сусло,
зрели чувства, возвращался лавр,
струны лиры дерзко и искусно
юный пастырь всё перебирал...

И любовь утраивала силу —
на миру и смерть была красна —
как растущим месяцем дразнила,
как манила счастьем новизна!

Ликовать бы впору, а взгрустнулось,
от себя к себе — кругла Земля:
не хватало профиля Саула
да сгущённой ночи февраля.

Юлиан Панич
(Франция)

Советский актёр, режиссёр, журналист. Заслуженный деятель искусств России (1996). Актёр Академического театра драмы им. А. С. Пушкина. В 1960-х гг. играл в театре имени Ленинского Комсомола (Ленинград). С 1965 года — режиссёр на телевидении. Снялся в двенадцати кинолентах, в соавторстве с женой Людмилой им сняты четыре полнометражных фильма и сотня клипов. Написана книга воспоминаний «Четыре жизни Юлиана Панича, или Колесо счастья». Известен нескольким поколениям россиян как актёр, режиссёр театра и кино.

В 1972 г. Юлиан Панич покинул СССР: Израиль, США, Германия (в Мюнхене — работа на радио «Свобода»).

С 1996 года живёт в пригороде Парижа — Рамбуйе.

Нострадамус XX века

Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке...

Исаак Бабель

— Старик! В жару — водка! Усёк? — и Миша Калик пододвинул ко мне фужер.

— Водка, в жару?..

— Это же Африка, чтоб ты знал. Аф-ри-ка! ...А ещё сегодня с утра дует хамсин-ветер с востока. «Хам» — жара, «син» — китайская. Учи иврит на каждом шагу. Он логичный, этот иврит. Ну-ка сожми зубы... Китайский песок... Чувствуешь? Так о чём мы с тобой?..

— О водке. Ты настаиваешь, что я должен спастись от жары водкой.

— Ага! Усёк?

— А это неважно, Миша, что это все же вопреки всем законам физики?

— Разъясню невеждам. Считай! Она сама по себе сколько? Сорок градусов — так? Ты сам по себе — 37 градусов — так? И на улице — 30... Человеку этих тридцати градусов — много. Ему жарко. Как в бане. Но вот ты вливаешь в себя водку, и твои кишки становятся нагреты до семидесяти семи градусов по Цельсию. Ты почти что лёд изнутри. И на улице холоднее, чем внутри у тебя: 40+37! Не веришь? Да ты почитай Хэма! Вот он пил в Африке-что?.. хинную водку. Пей, тебе говорят!

— Но мы же не в Африке...

— А где мы с тобой?! Где-е, мать твою?!

И вдруг замолкает...

— Слышишь?

— Что?

— Машину слышишь?

— Слышу.

— Ну-как посмотри! Какая?

— Зелёный «БМВ».

— Всё, мы пропали! Если он узнает, что ты здесь, день пропадёт и ужин будет испорчен, и сна не будет до утра — изжога не отпустит...

А под окнами вовсю заквакал клаксон. Один раз, два раза...

— Сдаёмся, чёрт с ним! Он сейчас вызовет пожарную команду, сдаем-ся. И чем быстрее, тем он, надеюсь, быстрее уедет.

— Да кто же этот «он»?

— Кто? Позин.

— Кто?

— Не слыхал? Нет? Твоё счастье. И — уже несчастье, так как он выкрикивает твоё имя... Он прицепится — не отлипнет.

Мы вышли.

Из «БМВ» вышел человек и, кивнув Мише Калику, обратился ко мне как к старому знакомому:

— Юлик! Друг! С приездом! Счастлив! Как брату! Просто счастлив. Я не смог приехать в аэропорт тебя встретить, но душой я был там, в аэропорту. Я думал о тебе всю ночь и вчера, и сегодня. И неделю назад. И я примчался, как только отпустили дела.

— Какие у тебя дела? — ухмыльнулся Миша Калик.

— Ну, не скажи! А мальчиков нужно было помыть? А покормить? А отвезти в садик? Всё я. Риммка моя с восьми утра у себя в лаборатории, вкалывает, как дядя Карло. А я ещё пописал какие-то тексты...

Калик безжалостно его остановил:

— Позин, не смейся! Он... «пописал тексты»... Ха!

Тот, кого Калик назвал Позиним, высокомерно проигнорировал колкости Калика. Он пристально смотрел на меня и вдруг воздел руки к небу:

— Я благодарю Бога!

— За что?

— А вот за эту нашу встречу! Меня зовут Михаил Позин. Отчества тут не признают. Зови меня просто Миша. Загадай желание...

— Что?

— Ты стоишь между двух Миш. Загадал? Знаю, что. Ты хочешь поскорее получить субсидии на фильм. Или я ошибся? Нет, я не ошибся, потому что меня зовут Михаил Позин!

Его зовут Михаил Позин. Он в Израиле уже год. А недавно он приехал из Германии, где консультировал НАТО, но это так — отхожий промысел. А вообще-то он кинорежиссёр...

Михаил Калик не выдержал:

— Ну побойся Бога, Позин! Какой на фиг ты режиссёр?

— Советский.

— Да?

— Бывший советский.

— Кто тебе сказал, что ты режиссер, Позин?!

— Ты.

— Я?

— Ты, Миша Калик.

Позин был невозмутим:

— Ты это сказал и ты это написал...

— Я?

— ...если ты Михаил Исаакович Калик — ученик Михаила Ромма, поставивший «Человек идёт за солнцем» и «Атаман Кодр», но бывший хударук объединения на Центральном телевидении и профессор Высших режиссёрских курсов при Союзе кинематографистов СССР. Если ты это ты... то ныне, как и я, безработный гражданин Израиля — Мойше Калик. И то, что я — режиссёр, слово в слово написали и подписали ещё восемь не последних в СССР режиссёров: Трауберг, Хуциев, Митта, Тарковский, Алов, Наумов, Басов и Швейцер. Никого не забыл? Бумага у меня спрятана в бануке, но есть фотокопия, заверенная в МИДе СССР.

Михаил Калик с нескрываемым восторгом:

— Вот кто рожден для этой страны! О таких, как он, говорят: «Этот может изнасиловать, не снимая брюк»! Он всех преподавателей Высших режиссёрских курсов шантажировал, подцепив нас на поголовном нашем еврействе. Ты представь себе, Юлик, какой наглец! Мы подписали бумагу, что он, этот авантюрист, прослушал весь курс кинорежиссуры, присутствуя на всех наших лекциях и практических занятиях.

Позин встречает:

— А что? Не так? И учти, Юлик (он уже перешел на «Юлик»), ни одного дня прогула или отсутствия по болезни! Кино — это то, что должно крутиться! А кто «крутит»? Позин. Так что им стоило написать, что Позин прослушал полный их курс? Это же и называлось Высшие режиссёрские курсы.

— Они написали?

— Попробовали бы не написать! Я же сидел на всех лекциях, как проклятый. И слушал их всех. Что бы они ни несли! Я присутствовал на каждой лекции, как вешалка у двери, как форточка в окне... я — кино-механик, так я крутил иллюстрации-отрывки из зарубежных фильмов, которые они использовали в наших занятиях. И все слушали, и я слушал. Пока позволял мочевого пузырь — слушал без перерыва. Я же не идиот, и не был ни слепым, ни глухим...

Калик разводит руками:

— Теперь Позин выставляет меня свидетелем, и я... представляешь? я вынужден молчать и тем самым подтверждать его рукодельный диплом... Я же его подписал! А теперь он ищет деньги на фильм, обещает застрелиться, если ему не дадут этих денег. И он найдёт, я уверен... он такой.

— Пусть попробуют не дать! Они меня узнают! Да я... да моя жена Римма...

— Он уже когда-то пригрозил в ОВИРе, что его жена Римма (кстати, милая женщина и безотказная труженица), что она покончит жизнь самосожжением на Красной площади, если его семья не получит разрешения на выезд в Израиль.

— Ну и?..

— Дали, как миленькие. Куда им со мной!

— Теперь он готов поставить на самосожжение Римму, если ему не дадут денег на фильм. Он поставил весь Израиль на уши — все кричат: «Дайте уже Позину денег на кино! Иначе мы погибнем!».

— А ты не ищешь деньги на фильм? Но ты, Миша Калик, ищешь и... не находишь! А вот я найду!

— Да, мы с выдающимся режиссёром Позиным параллельно обиваем пороги министерских кабинетов, и он оказывается всегда на один шаг впереди меня. Ну, с чем ты сейчас пришёл, коллега?

— А я не к тебе. Я — к режиссёру Юлиану Паничу. У меня к нему разговор.

...Смысл разговора сводился к тому, что: если у меня, у Панича, есть пишущая машинка (...да, я привёз из СССР машинку «Колибри!»), и если я достану бумагу и копирку («...на последние гроши куплю в нашем супермаркете, если нужно!»), и если Панич умеет быстро печатать на машинке (М-гу-у! «...моя мама машинистка-надомница, мы жили в одной комнате!») и особенно под диктовку, то Миша Позин надиктует заявку на два... нет, на три фильма! Если же Панич не умеет быстро печатать...

В голове гудело, перед глазами двоились, троились лица моих собеседников, мой голос звучал, как из трубы:

— Я умею, я умею! Я уме...ю!

И ничто не шевельнулось в наивной душе, я свято поверил, что моя судьба уже проложила ковровую дорожку к успеху: не прошло и недели, как я сошёл с трапа самолёта в аэропорту Лод, а столько произошло! Правда, я ещё живу на птичьих правах постояльца в доме, который сдали Мише Калику, у нас ещё нет документов на получение пособия, но... но всё утрясётся, всё получится, сегодня вечером на таком шикарном немецком лимузине «БМВ» я поеду в Иерусалим писать заявку на фильм.

Я побежал в наш магазин — «маколет» — и купил пачку бумаги и копирку. В это время на кухне дома Калика появилась укутанная в мокрую простыню моя жена.

— Люда! я еду!

— Куда?

— К режиссёру и продюсеру Михаилу Позину, — заявил моей жене обладатель автомашины «БМВ» и завёл мотор.

* * *

У Позина отличная по всяким меркам квартира в Гило — престижном районе Иерусалима. Чистота, район только что отстраивается, дома облицованы белым иерусалимским камнем. И зелень под окнами. Жена

Миши Позина — Римма — и двое сыновей — малолетних пацанов — притихли на кухне: «Папа работает!». Мы с Мишей расположились в салоне, дверь из него вела на просторный балкон, а за балконом!.. как на туристском плакате, светились нежным светом иерусалимские дома, и светились жёлтые фонари на улицах... Всё насыщено покоем и теплом, тепло отдавали к ночи нагретые за день камни. Было так мирно и так тихо, что первая фраза Позина стеганула меня, испугала:

— Кровь! Кровь!

— Что?

— погоди, Панич, ты расчихлил машинку? Или ты заснул?

— Нет, не заснул.

— Тогда ты куда ушёл?

— Я уже вернулся, Миша. Пишем?

— Конечно. Диктую...

— Валяй!

— Итак...

Наступила пауза, мои пальцы зависли над клавиатурой, я слышал как чиркнула спичка, как потянулся воздух через мундштук трубки, запахло табаком.

— Пиши: кровь.

— Я написал «кровь».

— Кровь.

— Я уже написал.

— Я диктую: «кровь...»

— Я же говорю — написал...

— Я диктую: «кровь, кровь, кровь...»

— Сколько ещё раз «кровь»?

— Пока у читателя не возникнет перед глазами картина: море крови. Пиши! Текст: «Море человеческой крови. И берега не видно!» Написал?

— Дальше...

— Дальше... дальше... Пиши: «Освенцим и Бабий Яр, Треблинка и...» и... ещё что-то... впишем... текст ведущего за кадром: «За что евреи пролили море крови?... Если всю эту кровь»...

— Кровь, ну, что с ней сделать? Куда теперь девать эту «кровь»?

— Впишем потом..! Следующий кадр: «СОХНУТ – Еврейское Агентство в Иерусалиме. Очередь эмигрантов за пособием. Старика с детьми на руках, молодые, поддерживающие стариков... Дальше... кадр: «Немецкий солдат вскидывает винтовку... выстрел... ещё выстрел... ещё выстрел...» Написал? «Жирная печать прижимается к бумаге... убирается печать... надпись на иврите: „Отказать!“» Написал?

— Миша, что мы пишем?

— Мы пишем сценарий.

— Это какой-то бред.

— А какой сценарий не — бред? Ты читал сценарии Гриффитса? Чаплина? Сценарий Пудовкина? Я читал!

— Да, я знаю, что ты прослушал полный курс, но это произведение? Для кого?

— Для чего. Для чего, Юлик. Я несу этот сценарий в СОХНУТ и копию — в Шим-бет. Я говорю профессионалам-сионистам и профессионалам-разведчикам: либо вы покупаете сценарий, либо... (внимание!). Мы продаём его в Москву в КГБ. Лучшего способа контрпропаганды, чем мой сценарий, кегебешникам не придумать! КГБ купит у нас картину и покажет всем отъезжающим, всем евреям: вот вам правда о земле Обетованной! Ну и... и, наш фильм прикроет еврейскую алию.

Пауза.

* * *

Утром Миша Калик спросил меня:

— Написали?

Я развёл руками.

— Но возможно... всё возможно... Он же ловкий, этот Позин... Вот привёз автомобиль из Германии, значит, что-то заработал в Мюнхене на радио «Свобода». Я видел у него американский чек на тысячу долларов. Таким, как он, нужны в первую очередь уши. Он находит уши. Хотя мои уши от его рассказов вянут.

* * *

А вскоре я и сам попал в Мюнхен и оказался среди сотрудников той самой радиостанции «Свобода». И как-то в застольном разговоре коснулся Миши Позина. «Был у вас на пробе такой?»

«Был!» — ответили мне. И захохотали.

— Естественно, — объяснил мне один из старожилов, — все эмигранты врут, мы же сами из эмигрантов, сами ввали, устраивались... но так... так «впаривать» сушую липу!

И другой:

— Это было феноменально! Что он нам только не рассказывал о себе? Что он политический зэк, опытный лагерник....

— Он и вправду сидел, — я взял под защиту Позина.

— Когда? Где? Это американцам можно впаривать: «Лежим на нарах в бараке на зоне, и Саня вдруг спрашивает меня: «Мишка, как ты думаешь, куда дальше повести рассказ про Денисыча?» Ну, я ему и советую... как думаю... Слушался.

— Американцы, они же наивняки, бред этот глотали... Такие же отношения «Вась-Вась» у него были, оказывается, и с Андреем Дмитриевичем Сахаровым...

— Но убил он нас всех в последнюю его лекцию, — вспомнил один из сотрудников «Свободы», — у нас мужики сговорились и задали ему на прощание «простенький» вопросик: «Господин Позин, скажите, пожалуйста,

когда закончится Советская власть?» А он: «Одну минуточку, господа!» Отворачивается от аудитории, прикрывает глаза и так стоит минуту. А потом поворачивается к нам и чётко так: «Советский Союз рухнет через девятнадцать лет! В 1991 году». Ну, тут уж мы со стульев попадали, так все хохотали...

Потом я оказался среди сотрудников «Свободы» и уехал в Мюнхен навсегда. Сведения о Мише Позине доходили до меня редко. Как-то рассказали, что Миша Позин продал свою иерусалимскую квартиру и отчалил в новых поисках своего эмигрантского счастья вместе с семьёй к берегам Канады. Канада — страна добрая, олухов в ней хватает, но и там нашего Мишу как-то быстренько раскусили. И...

И Миша Позин вернулся к своему единственному ремеслу — мелкой ювелирке и часовому делу — ведь до «посадки» Михаил Позин в пятидесятые годы сидел в будке на площади возле Савёловского вокзала в Москве. Он чинил часы и заправлял зажигалки, а ещё наполнял пастой стержни для шариковых авторучек. На шариковом гешефте он и погорел. Его судили, и он получил «бытовой срок».

Однако, если человек талантлив, от него и лежащего можно ждать прыжка! Прыжком оказалась еврейская эмиграция в конце шестидесятых, а его несколько лет тюрьмы и лагеря — трамплином. Его характер — мотором для полёта. Он вылетел в Израиль. Потом в Канаду. И круг, казалось, замкнулся: никаких привилегий, поблажек, стипендий — трудись! Он ещё по старой памяти пообещал сжечь себя или своих детей, если он не получит место режиссёра в Канаде, но не получил ни места, ни вообще никакой реакции на эти свои угрозы-обещания. И сник. И стал работать. По специальности. Он снова менял стержни в авторучках, снова чинил часы, вставлял в них батарейки, правда, сменные и заполняемые несколько раз стержни в шариковых авторучках вышли из употребления. Он спекулировал «по маленькой», что-то покупал, что-то продавал и снова рассказывал своим клиентам и о «Сане Солженицыне», и об «Андрюше Сахарове». Возможно, прикупал и продавал краденое. Во всяком случае, всему находилось оправдание: что бы он ни делал, как бы он ни «химичил» и ни врал, он делал всё это ради своих мальчиков, ради сыновей-погодков.

— Эти мальчики будут носить с гордостью имя их папы! По-о-зин! Я постараюсь! Я ещё не списан!..

* * *

И вдруг я узнал, что Миша Позин носится по Торонто с идеей снимать кино. Документальное. Кино про спортсменов-инвалидов. Говорили, что он пытается собрать деньги на производство фильма, а пока что агитирует присоединиться к гуманному делу и всем рассказывает о каких-то параолимпийских играх...

И были параолимпийские игры. И по нашим «новостям» прошло сообщение, что в Канаде, действительно, был создан документальный

фильм о спортсменах-инвалидах, и этот фильм получил то ли «Оскара», то ли «Золотой Глобус».

Я расспрашивал всех, кого мог, об этом фильме, искал имя «Позин», и мне сказали, что имя одного из создателей награждённой картины, действительно, русское. Но самого имени никто не вспомнил.

Эпилог

...Осенью 1991 года на тайном сборище глав нескольких союзных республик в глухих лесах Беловежской Пуши впопыхах и в тайне были подписаны протоколы о роспуске СССР — Союза Советских Социалистических Республик. Говорят, что все подписывающие этот протокол к моменту подписания были пьяны. 1991 год. Крах СССР.

Никто ничего подобного не предвидел: ни Бжезинский с Киссинджером, ни Маргарет Тетчер. Бац! — и рухнул в одночасье коммунистический колосс, рухнул со всеми своими границами, со всеми своими ракетами и разведками. Этот факт стал шоком для всего мира, но только не для меня, знавшего о пророчестве Мишки... простите, Михаила Позина...

Но краха советской власти Михаил Позин не дождался, он умер. Рак.

Говорят, что его подкосила весть о предательстве двоих его сыновей. Он всегда бурно восторгался их успехами в учёбе и в спорте. Ждал, впрочем, как и каждый отец, славы и добра от потомства... А его несовершеннолетние мальчишки однажды выкрали папины кредитные карточки и смотались «с концами» из Канады — то ли в Мексику, то ли в Доминиканскую республику. Не зря считается, что рак — болезнь обиды и тоски.

Этого никак не мог предвидеть Михаил Позин — Нострадамус XX века.

ПЛЕМЯННИЧЕК НЕСТОР

— Гамарджоба! Бон жур, Гуттен таг, Хеллоу, Шолом, Здравеньки булы...Привет! Для немцев я — мистер Заурия фром Нью-Йорк Сити, «америкэн журналист». С немцами — только по-английски. А в Америке я — герр Заурия ауз Мюнхен. Говорю в Штатах только по-немецки. Здесь мы говорим с тобой по-русски, и я — Нестор Спиридонович Заурия, редактор грузинской службы траханой-перетраханой радиостанции «Свобода». Но для друзей я — Никки. Ты можешь звать меня «Никки». Авансом.

Лето 1972-го. В обеденный перерыв в кантине, производственной столовке нашей радиостанции, народу тьма. Многоязыкий гул стоит в воздухе. Официантки сбиваются с ног. Мой собеседник цепляет за рукав пробегающую мимо официантку:

— Эй, либлинг, Герда! Майне эрсте порцион унд цвай глэзер! (что в переводе на русский: «Моя первая порция и два бокала!»)

На столике появляется «его порция» — графин вина.

— Разве Герда может мне отказать? Прозит! Вотр сантэ!

И вливает в плотку содержимое бокала. Но тут же его брови удивлённо поползли вверх:

— Мерд! Дерьмо! Это вино уже один раз пили. Попробуй. Ну? Бывшее вино, мамой клянусь!

Он наливает себе второй бокал.

— Здесь всё — «бывшее». Ты — бывший русский актёр, я — бывший грузинский актёр. Вон у окна лысый, пиво сосёт — видишь? Говорит, что он бывший писатель. Врёт! А вон бывший переводчик из МИДа, и бежал на Запад «по политике», говорит, что диссидент. Врёт! Гэбэшник... Только гэбэшники могут быть в МИДе переводчиками. А гэбэшники бывшими не бывают, маму я ихнюю тах-перетрах!.. Пей, старик! Даже если это вино и бывшее — всё равно заплачено! Слушай, а как ты, русский актёр, очутился в этом зверинце? Бежал? Нет?.. А я бежал... Как? Как у Лермонтова: «Гарун бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла...» Пальто в гостинице оставил, шляпу оставил! Двери хлопали, машины тормозили — земля тряслась, думали, землетрясение. Это я драпал по Парижу! Ха-ха. Хо-хо!!! Ну-ка, ты меня спроси: «Почему ты, Ники, бежал?»

— Почему ты бежал?

— Почему? По-че-му?

...сокрушённо опускает голову, и мне кажется, что он ищет ответ на это моё «почему», но он беспомощно указывает на ширинку своих брюк и говорит жалостливо:

— Ответ долго доставать.

Хохочет.

— Данкор? Ха-ха! Дошло? Ха-ха!

Ростом под два метра, в поясе — не ухватишь, шея бычья, руки громадные, да и всё у него огромное — и глаза, и рот, и чёрная борода... Говорит и оглядывается — какое производит впечатление?

— А не повторить ли нам? Герда! Нох айн маль дас зельбе!

Официантка снова приносит графин вина, и мы повторяем.

— Если тебе нет тридцати и у тебя в голове вместо мозгов коктейль из вина и спермы, если... Мне дядя Дюк знаешь, что сказал, когда я отнёс в «Парамоунт» в Голливуде сценарий по «Хаджи-Мурату» графа Льва Толстого? «Пиши, Никки, лучше о своей жизни, зачем какого-то Толстого переписывать?» — вот что сказал дядя Дюк. Как какой «дядя Дюк?» Слушай, как это ты, артист, можешь спросить: «Какой дядя Дюк?!» Ты — что? Дюк в мире один!

...

Он расскажет вам о «дяде Дюке» — Эллингтоне и о «тетё Элле» — Фитцджеральд, он будет часами говорить об Алёше Дмитриевиче, парижском цыгане, «слушая которого люди расставались с состояниями», и о «почти брате — Юлике Бриннере — бритоголовом голливудском кумире. И это будут рассказы искренние и правдивые. Правдивые, в отстроенном раз и навсегда мире его фантазий.

* * *

Я проработал с ним бок о бок 23 года на мюнхенской радиостанции «Свобода». Антенны наши были направлены на восток. На востоке осталось наше прошлое. Мы были все «оттуда», и все были из «тогда», и жили с глазами, повёрнутыми в прошлое, как писал Владимир Набоков.

— Юлики, откуда мы вырвались? — с ужасом шептал он, вспоминая жизнь в СССР, и...

— ...всё равно — наливай!

Вино, водку, пиво, чачу, граппу, текилу, абсент и джин он пил литрами, безжалостно смешивая сорта, пьянел не скоро, во хмелю всех любил и старался примирить. Когда в начале семидесятых мы с ним познакомились, ему было чуть более тридцати, он был размашист, казалось, всегда чуть-чуть навеселе и... перманентно женат. Его «невесты» и «жёны» возникали неожиданно и так же неожиданно исчезали.

— Юлики-Людики! Приходите! Почему зову? Ничего особенного, никаких особых дат: никто не разошёлся, потому что никто не женился... Что значит: «поздно»? Время актёрское... И, пусть наши софиты ещё не зажглись, мы всё-таки артисты, ни хт вар? Что в переводе с немецкого: «Не так ли?» Скромненько, по-холостячки: Шалико кинзу-минзу нарезал, шашлык-машлык у мангала на балконе, вино ждёт, но ты захвати, бичо, ещё пару бутылочек, потому что вина всегда не хватает! Ха-ха!

Грузинские блюда готовил он сам и его единственный верный приятель — Шалико. От бобыля-пенсионера Шалико, некогда тифлисского студента-юриста и революционера-меньшевика, бежавшего из Грузии в девятнадцатом от красных и прошедшего путь от забоев бельгийских шахт до редакторского стола на радио «Свобода», с годами его грузинские компатриоты отошли, вернее — отвернулись. Нестор Заурия дал ему и кров, и хлеб.

Шалико, как старейший за столом, предлагал Нестору быть тамадой, и тот снимал со стены гитару:

...собирайтесь-ка, гости мои, на моё угощенье,
говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву-у!

Нестор, продолжая аккомпанемент великой окуджавской песни, начинал торжественно:

— «Будет день — будет хлеб!» — Так сказал Бог. Слова «приятного аппетита» — бессмыслица! Разве аппетит может быть «неприятным»? А потому я требую, чтобы вы ели много и пили, и долго, а иначе... я за себя не ручаюсь и... всё выпью сам! Вуаля!

* * *

— Ты, Юлики, в Тбилиси бывал? Видел баранов с бульвара Руставели, которые в тридцатиградусную жару в чёрных костюмах, а в руках — брелки с ключиками от машины «Волга» цвзта «бэлая ночь»? Они идут по бульвару Руставели — плывут, плечи-во! Талия-во! И вдруг шмыг в

подъезд! Там, в подъезде, выпускают воздух, «уф-ф», снова набирают воздух : «а-фф!» и — снова, как Атланты, плывут по бульвару Руставели до следующего подъезда!.. «У-ф-ф!» — выдох, «а-ф-ф!» — вдох. «А-фф» и «У-ф-ф». Так вот я был одним из таких, мамой клянусь!.. Мамой клянусь! Мамочка моя... Прости ты меня... Детство у меня было сказочным! Княжеским...

Его коллеги по грузинской редакции снисходительно улыбались:

— Княжеское детство? Конечно, всякий грузин с тремя баранами — уже князь. Но Нестор Заурия из крестьянской, хотя и известной в Тбилиси, семьи. А в Грузии это важно. Он рассказывает, что отец его, покойный Спиридон Заурия был в горном деле в ранге министра, мать — «шишка» в министерстве культуры, один брат — профессор, другой — профессор, дяди, тёти, кузены, кузины. Возможно, это так и есть. Возможно, у него с цифрами проблемы — вместо город «Семипалатинск» он скажет «Восьмопалатинск», и его уже не переубедишь.

Нестор:

— Полгорода — родственники, полгорода — друзья, весь город — собутыльники. Я, знаешь, как-то между прочим окончил Тбилисский театральный институт, стал актёром. Все театры зовут: «Несторчик! Иди к нам!» А дядя Акакий Хорава («Георгий Саакадзе» — помнишь? Да, тот самый «грузинский Сальвини», мамой клянусь!) хотел, чтобы я его заменил в роли Отелло. Ты видел, как он играл Отелло?! Нет? Что ты тогда вообще видел в театре? Мужчины в обморок падали, вот как играл Отелло дядя Акакий Хорава. Манифик! Он со мной сам хотел готовить эту роль в театре Руставели. Да! Пароль д'онор! Слово чести! Встретил он меня на бульваре Руставели и говорит: «Несторчик, приходи, бичо, ко мне домой... я тебе револьвер покажу»! Ну что ты смеёшься? Смешно тебе про револьвер? Потому что ты не грузин! Револьвер хотел показать, это значит, было ко мне доверие у дяди Акакия Хоравы. Ведь за хранение оружия знаешь, что могло быть? Боже, в какой стране (маму её трах-перетрах!) мы жили, а?... Боже, откуда мы вырвались?

— Ну, а что же было с ролью Отелло?

— После Акакия Хоравы? Играть мне?... Что я, из дурдома? И вообще — пароль д'онор! — Юлики, ты же был актёром... «Отелло-Шмателло»... Скажи, что это за профессия, я маму её (трах-перетрах)!? Сапожной ваксой морду мазать и кричать, как резаный: «Платок, где платок!?!» Я снялся в трёх фильмах, может быть, в пяти, не помню, кто считал? Ну, например... «Абессалом и Этери» — видал? — Я. «На берегах Ингури» — видал? Тоже — я. Тонкий такой, высокий — я... Ну, женился на красавице, мне было, кажется, девятнадцать, и уже, как женатый мужчина, имел полное право сидеть в мужской компании, и пить, и гулять... Но я скучал. Ой, как я скучал, Юлики! Я — большой, Тбилиси — маленький. Вот тогда я поехал в Москву...

Он поступает на Высшие режиссёрские курсы при Союзе кинематографистов СССР. Занятия на курсах вели Андрей Тарковский, Александр Алов и Владимир Наумов, Георгий Данелия и Александр Митта, и...

— И, конечно, дядя Лёня — Леонид Захарович Трауберг. Ты фильмы о Максиме помнишь? «Крутится-вертится шар голубой...» Так это картина Григория Козинцева и Леонида Трауберга. И живи он, дядя Лёня Трауберг, в другой стране, мёрд, он бы... он бы... он был бы! Господи! Слушай, бичо! Откуда мы вырвались!? Я его спрашиваю: «Леонид Захарович, как же это так получилось, что Григорий Козинцев снимает один фильм за другим, а вы после „Максима“ — молчок на целую жизнь?» И знаешь, что он мне сказал? «В нашем деле, Несторчик, как? Кто первым предаст. Гришка Козинцев оказался быстрее». Леонид Захарович, нам что говорил? «Нас никто не учил. И Эйзенштейн, и Пудовкин, и Довженко, все мы были пацанами. Всё начинали с нуля! А уже были Форд, Гриффит, Чаплин! Мы смотрели их картины, они были нашей академией. Смотрите, будущие режиссёры, наши старые и голливудские ленты». Вот что говорил дядя Лёня Трауберг! «А главное — верьте, что зажгутся и ваши софиты, что и вы произнесёте магическое слово „мотор!“». А пока учитесь у американцев, как рассказывать стори-истории, как делать кино». Он всегда так говорил: «стори» и «зажгутся софиты». Ну, я верил и смотрел голливудские картины... По программе и без программы — платил киномеханику — Мишке Позину... знаешь Мишку? Он в Израиле? Ге-ни-ально! Значит, есть ещё с кем делать кино! Дашь его телефон. Так вот киномеханик Мишка Позин меня пускал на ночь в просмотровый зал. И сам сидел до утра. Мы смотрели по три картины в ночь. Без переводчика, без субтитров, текст, как музыку, слушали!... И когда я увидел фильм «Гражданин Кэйн» Орсона Уэллса, я — заболел! Ты посмотри на меня — ну? И на кого я похож? Не видишь? Мало выпил, что ли? Я похож на Ор-со-на Уэлл-са! Я имею все шансы быть как он! Видишь?

Верно, он и впрямь был чем-то похож на великого американского актёра и режиссёра Орсона Уэллса, чуть черноватее, чуть толще, но похож...

— Ну, сдал я экзамены, диплом получил, джинсы купил, кожаный пиджак купил, бороду отпустил, а как же? Ведь я — кинорежиссёр! И — что? Вернулся в Тбилиси. Пришёл на «Грузия-фильм», показал диплом, мне говорят: «Иди во двор, Несторчик, подожди пока...» А там во дворе уже с утра сидят двадцать бородатых мужиков в джинсах и кожаных пиджаках: все с режиссёрскими дипломами. И в нарды играют, и кофе пьют, ждут своего «шанса», когда крикнут «мотор!» Что я сделал? То, что и все — сел в нарды играть, коньяком кофе запивал, ждал, пока однажды...

...в Грузии проходила Неделя французского кино. Молодых сотрудников «Грузия-фильма» приставили гидами к французским гостям.

— Понимаешь, бичо, каждый день обеды и каждый вечер банкеты. И, конечно, грузинские тосты, и вино в роге, и наши песни мужским

хором... кто устоит? Вот она и не устояла... Кто «она»? Имени не назову — со стула упадёшь, вот — кто!

* * *

Да, это было — французская кинознаменитость женского пола, обалдев от таявших во рту шашлыков и обомлев от «Хванчквары» «кремлёвского разлива», разгорячённая южным солнцем и грузинским многоголосьем, ляпнула двадцатисемилетнему грузину — красавцу — актёру-певцу — будущему режиссёру: «Несторчик! Как раз сейчас в Голливуде запускается фильм о греческом боге — Зевсе, и если бы ты был на Западе, то я бы... тебя бы... ты бы... Ты бы мог покорить мир!»

— Ну, для начала я покорил её. Без особого, между прочим, труда. Даже наоборот. А потом... Она в меня вцепилась, как кошка... Я спал с ней ночью и днём, безостановочно, она в Грузии, кроме моего ... пардон за жест... ничего не увидела! Ха-ха! Мамою клянусь! Была она, между прочим, хоть и француженка, но русских кровей и по-русски кое-как говорила. А в таком деле к чему слова? Зевс — так Зевс!

Ах, если дать волю юной фантазии, то и карканье вороны услышится трелью соловья. Спустя короткое время заслуженный артист Грузинской ССР, режиссёр «Грузия-фильм» сбежал во Франции из туристической поездки играть в Голливуде греческого бога Зевса.

* * *

Первые недели в Париже прошли в грузинских эмигрантских домах и русских ресторанах. Ужины плавно переходили в завтраки. Шашлыки из французской баранины запивались французскими винами. Изъяснялись тостами. И сам Алёша Дмитриевич пел дуэтом с Нестором Заурия: «Когда я пьян, а пьян всегда я..» и «Ехали-и на тройке с бубенцами, а вокруг мерцали огоньки»

— Мы пели, и все плакали... Пароль д'онор! Слово чести! Мамою клянусь! Кое-кто мне говорил, что я пою лучше Бриннера! Как «какого Бриннера»? Ты что — с ума сошёл? Юл Бриннер! Не знаешь? «Великолепная семёрка» — знаешь? Конечно же, он — бритый такой... Юлик Бриннер, кстати, тебе тёзка, а мне — брат... Мон фрер! Пароль д'онор.. Почему брат? ...ну это дело интимное... Я с ним, можно сказать, на какое-то время породнился... Пароль де онор!. Между нами... Его сестрица Ирина буквально сошла с ума. Вцепилась в меня, как кошка! Короче... ву компро-нэ?! Так вот, знаешь, что мне Юлик, твой тёзка, сказал? «У каждого человека есть свой шанс! Бей в одну точку, Николя! И — верь в свой шанс!»

Нестор — Николя держался. Нестор — Николя верил. Он ждал луча своего софита! А пока пел, пил...

...и вскоре Зевс перешёл в весовую категорию Фальстафа. Естественно, наш герой завёл одну-другую интрижку с девушками из грузинских зажиточных и родовитых семей, и, тоже это естественно, принимавшие

его парижские грузины задумались... «Слушай, Нестор... Американцам не безразлична судьба демократии в Грузии. Ты попросишь в Штатах политического убежища, и там тебе, грузину, его дадут. Вот ты и попадёшь в свой Голливуд играть греческого бога Зевса! Счастливого пути, бон вояж, мистер Нестор Заурия!

— Конечно, испугались, под зад коленкой сбагрили, я маму иху трах-перетрах!

* * *

— Юлики! Ай эм амэрикэн нау! Я — американец! Фор эвер! Навсегда. Америка — страна, в которой каждому даётся шанс — тзис ис май кантри — моя страна!

В Америке Нестор начал с того, чем кончил в Париже — обошёл все грузинские дома в Нью-Йорке и был представлен родителям всех потенциальных грузинских невест. Его угощали, слушали его рассказы о Париже и о Тбилиси, слушали русские песни из репертуара Алёши Дмитриевича и Юла Бриннера.

— Но ничего! Мои софиты ещё не зажглись, подумал я, и в три ночи написал сценарий по толстовскому «Хаджи Мурату». Это была стори! Александра Львовна Толстая, дочь самого настоящего Льва Николаевича, приняла меня и дала в титры своё имя... Приехал я в этот еб... Учти, к продюсеру меня впустили по бо-ольшому блату. Пришёл. Офис — сто комнат! Секретарша — блондинка, сто тридцать шесть зубов, ноги из шеи растут. Я был готов её тут же, на столе... Но она была не готова: «мой босс не потерпит такое у себя в офисе»... Андестенд! Понимаю. О-кэй! О-кэй, мисс! Зовут в кабинет к боссу. Вошёл. «Хеллоу — хеллоу.. хау ар ю?» По всем стенам громадного кабинета шкафы. Открыл босс передо мной один шкаф — там полки, а на полках — папки, папки, папки... Говорит: «Всё это — сценарии. Возможно, что среди них есть и очень хорошие. Мы их не читаем и... не выкидываем... Потому что мы — американцы и верим в шанс! Верьте и вы в ваш шанс!. Оставьте секретарше номер вашего телефона. Мы вас найдём. Гуд бай! Кстати, как ваша фамилия?

Я сказал, что меня зовут Хаджи Мурат...

— Мы вам будем звонить, мистер Хаджи Мурат!

* * *

И тут снова шанс, и снова — женщина, и снова — любовь.

— Что я мог поделать? Вцепилась, как кошка. Чёрная! Кто? Родная сестра Дюка Эллингтона... И дядя Дюк полюбил меня, как родного... «Спой мне, Никки, грузинскую песню», — вот что он меня просил... Я пел ему «Тбилисо, ты солнце Грузии моей...», я плакал, и он плакал, навзрыд! И как он горевал: «Почему ты не настоящий чёрный? Я бы тебя к себе в оркестр взял!», — вот что мне он говорил. Мамой клянусь! Вот через дядю Дюка получил я шанс передать письмо Орсону Уэллсу.

«Я хочу быть вторым Орсоном Уэллсом», — написал в Голливуд грузинский парень, чем-то и вправду смахивающий на великого американского артиста.

Ответ пришёл скоро:

«Дорогой Ник! Второй Орсон Уэллс — нонсенс. Я верю в шанс Первого Ника Шари! Всех благ!

Искренне ваш Орсон Уэллс»

— И вот впервые я увидел себя — Нестора Шарию, которого все звали «буйвол», маленьким, как Ролан Быков...

* * *

— Америка — страна, где каждого ждёт за углом его шанс. Господь Бог спускает сверху этот шанс, может быть даже на парашюте, но Богу нужно помочь — знаешь, бичо, у дедушки-Бога много дел, и не ты один ждёшь, и тебе нужно постараться оказаться в нужное время на нужном углу. Понял? Пока наши софиты ещё не зажглись, но надо верить!

Шансом для артиста, режиссёра, певца и вообще весёлого молодого грузина Нестора Шари! стала довольно скромная грузинская редакция Радио «Свобода». Сначала в Нью-Йорке, потом — в Мюнхене.

— Хёр цу, я живу ин Дочланд! Ин Мюнхен! Дас ист ейн штатт мит херц... Перевести? «Это город с сердцем». Ферштейст ду? Понял? До Тбилиси драй штунден, три часа, лёту... Но я не лечу в Тбилиси, их бляй-бэ хьер! Остаюсь здесь! Да здравствует свободная Грузия, но я люблю Мюнхен! Эй, а это мозельское — отличное вино, мамой клянусь, не хуже саперави! Ну-ка, наливай ещё стакан! Наливай, генацвале, камрад (товарищ), кумпель (коллега по труду), фройнд (друг) унд брудер (брат)... Мы же артисты, Юлики. Мы ещё своё сыграем, наши софиты ещё не зажглись! Ещё будет у нас дело!

* * *

Но один раз столкнулся я с Нестором в «деле». Это был 1974 год. Радиопостановку по одной из глав гремевшего бестселлера — солженицынского «В Круге Первом» — ставила Людмила Панич, я играл Абакумова, Сталина — Нестор Заурия.

В чём-чём, а в плане интриг американская радиостанция «Свобода» не очень-то отличалась от любой советской «конторы». Завистников хватало: «подумаешь, театр устраивают!». А тут ещё прославленный автор вдруг оказался рядом — в Цюрихе. Нрав Александра Исаевича уже был известен, наши «заклятые друзья» рассчитывали, что стоит что-то им «уцепить» в записи и, не разобравшись, Солженицын возьмёт да и запретит радиопостановку к выходу в эфир... А потому подслушивали, подсматривали, как идут репетиции в студии. Мы все, занятые в постановке, выкладывались, Нестор Заурия монотонно и невнятно бурчал что-то себе под нос, будто дремал... «му-гу» да «бу-бу», И — всё... Людмила говорит ему:

— Давай-ка, Никки, всё-таки разок попробуем, сыграем, ну хоть в полсилы... да реагируй ты, наконец, на Абакумова. У Солженицына же ясно написано, что Сталин...

— ...Понимаешь, Людочка... у тебя и у Солженицына есть виденье образа Сталина, а у меня — знание типа — Джугашвили. Я же не бедный Миша Геловани...

И в привычной ему манере «уплывал» в воспоминания...

— Рассказывал мне дядя Миша Чиаурели, знаешь, кто такой? Михаил Эшерович — это для всех, а для меня «дядя Миша». Великий режиссёр. Сталин сделал его своим придворным режиссёром. А он был художник

мирового класса. А дядю Мишу Геловани знаешь? Он был тбилиским опереточным актёром из княжеской семьи... Так вот убогий сморчок, сын сапожника и грабитель Иосиф Джугашвили выбрал себе высокого красавца Геловани на роль «товарища Сталина»... Когда мёртвого Сталина разоблачили, живого дядю Мишу Геловани возненавидели. Он и умер, бедный Мишико, от этой несправедливой ненависти. Слушай, бичо! Откуда мы вырвались?! Так вот, а тогда, когда ещё всё было о-кэй, Миша Геловани попросил Чиаурели: «Я товарища Сталина в кино столько раз играл, а видел только в кинохронике. Устрой, геноцвале, встречу!» Ну, Чиаурели договорился, и Сталин допустил к себе в кабинет Мишу Геловани. Тот вошёл, а Сталин сидит за столом и пишет. Минута проходит, может быть, пять минут. Потом, не поднимая головы, Сталин говорит: «Кто бы мог подумать, что сын князя Геловани будет играть сына сапожника Джугашвили?» И — снова к бумагам. Почему рассказываю? Сталин — жлоб, настоящий грубый жлоб. Рябой, скрюченный, сухорукий. И шутки, и все реакции у него жлобские. А я не хочу играть медаль «За



© Художник Андрей Карапетян

победу над Германией». Я — грузин, но мне стыдно, что он — грузин. А скольких грузин он в тюрьмы посадил, скольких убил?.. Но убийца не убивает двадцать четыре часа в сутки... Солженицын что написал? Ночь, сидит ночью Сталин в кабинете, один, грустит — дело при его таком возрасте естественное. Министр ГБ Абакумов пришёл и просит: «Верните, товарищ Сталин, нам смертную казнь! Нам, — говорит, — верните смертную казнь!». А Сталин — что? Так, между прочим, сквозь дремоту — только чтобы отстал от него этот назойливый армяшка Абакумов, обещает: «Верну!». Вроде бы: «Отцепись!» И — вернул. Это точно как Понтий Пилат у Булгакова — «умываю руки». Усталый старик, старик с таким естественным желанием: дайте мне отдохнуть, побыть одному!

* * *

Нестор Заурия, товарищ мой неуёмный! Ты схватывал языки на лету и был в отличной актёрской форме, ты был старателен и неприхотлив. Я видел тебя и в малюсеньких ролишках, и в приличных эпизодах в немецком кино, но...

Но эмигрантская судьба: быть на обочине. Даже Михаил Чехов, и тот в немом кино не смог ничего сделать. А уж наше поколение... мы по-детски мечтали о шансе сыграть в западном фильме, мы по-взрослому готовились, и... Нестору всё же перепали какие-то рольки в немецких фильмах, он бурно фантазировал, показывал, как сыграет, но никогда не рассказывал о том, как сыграл.

— Знаешь, у них просто не хватило места, нужно было сокращать... Вот и вымарали роль... Вот звонили мне вчера из Голливуда... Умоляют сыграть какого-то мексиканца или итальянца... Не знаю — полечу ли я в Голливуд... Нет, пока мои софиты не зажглись... Лучше я буду петь! Вот купил электроорган, это как раз инструмент по мне, по моему голосу... Приходи, Юлики, я тебе Баха сыграю...

Он играл Баха на органе, аккомпанировал себе, а потом подготовил репертуар и напел пластинку русских и грузинских песен. Хорошая была пластинка, отлично подобранная и спетая. По-моему. Весь тираж так и остался лежать у него в подвале в коробках.

— Ну, Юлики, куда я, болван, полез? Тут же всё схвачено. «Россия» — русский репертуар — это монополия Иоганна Риппера — для публики — Ивана Реброва, который по-русски знает три слова. Но его раскручивают, как «второго Шаляпина». Нет, бичо, здесь, в Германии, наши софиты не зажечь!..

* * *

В восьмидесятых годах по коридорам «Свободы» прошелестело: «Слыхали? Заурия в Израиле с гастрольями». И ещё он был там. А уже шептали доброхоты: «Во время первой же спевки с оркестром дирижёр выскочил за кулисы и схватился за голову: „Он не по-ёт!.. Он не поёт!“».

Нестор по приезде из Израиля:

— Шалом, шалом! Ма шлом ха? Как поживаете? Спроси: «Как принимали в Израиле!?» Отвечаю: «Аколь беседер!» То есть всё в порядке. Так вот, бичо... слушай: оркестранты плакали... публика бесновалась. А афиши на иврите и на грузинском: «Нестор Заурия (Радио Свобода) — голос Нашей Совести» — по всей стране! Они принимали меня... как князя! Хавва, Нагилла Хавва! Цветы в аэропорту бросали под ноги, просто ям (то есть море) цветов! И прямо от трапа нашего матоза — то есть самолёта — со всех сторон: «Ура, Заурия!», «Спасибо, что прилетел!».

Знаешь, Юлики, Израиль — моя вторая родина, мамой клянусь! Я говорю на иврите, пока немного, но... Ани медабер иврит кцат — кцат... аваль... ани мевин ше... Я думаю, что Тель-Авив — это тот же Кутаиси, только асфальта больше, клянусь предками! Зэ ут! Это так... И все эти «Давидашвили», «Абрамашвили» и разные там «Исаакадзе» пятьсот лет были грузинами, а вдруг — евреи!.. Смешно! Они там в эрец Исраэль все вдруг религиозными стали, ни свининки, ни футбола в субботу... Кипелэ на макушке, пейсы отпустили, но в остальные дни недели они — беседер — в порядке — и едят, как мы, и пьют как мы, как грузинам положено! И, конечно, на каждом шагу: «Приходи, Несторчик, в гости, генацвале!.. Не придёшь — обидишь!» «Наших детей посмотришь!» «У нас скоро свадьба дочери (сына). Без тебя ужина не мыслим, генацвале!» Понимаешь, Юлики... по три ужина в один день! А как откажешь? Зачем людей обижать?

* * *

Ко дню первого концерта все, кто хотел услышать Нестора Шарию, уже успели это проделать за праздничными столами. И, за деньги, естественно, на концерты гостя из Мюнхена пошли немногие.

Нестор не унывал:

— Ну, предположим, был бы у меня аншлаг. И — что? За один вечер в зале в Тель-Авиве собрались бы все грузинские евреи Израиля. И — что? Ну, выступил бы я, немного попел бы, антракт, потом опять попел бы и — ляхитроот! До свидания! Что по-грузински: Нахвамдис! А я выступал перед теми людьми, которые меня к себе в дом пригласили! Понимаешь, в дом пригласили! И я им — алаверды — пел от души. Пойдём, Юлики, выпьем за здоровье моих братьев — грузинских евреев! Я плачу! Лехаим! Шалом!

* * *

...Однажды я увидел его в галифе и сапогах. Я подумал, что это он к какой-то роли готовится, костюм обживает, а он:

— Юлики... Слушай, только по секрету: никому ни слова — сглазят от зависти.

...и он повёл меня на конюшню в мюнхенском Английском парке, он подвёл к двери в стойло, на табличке было написано имя владельца: «Герр Н. Заурия», за дверью мерин понуро жевал сено, при нашем появлении поднапрягся и, в ожидании подачки шевеля губами, потянулся к Нестору.

— Видишь — знает. Уже любит. Как — «зачем купил»? Я же грузин. А какой грузин без коня? И это — конь, это тебе не человек — будет любить до гроба. Я купил его недорого, почти что даром! Даже не пойму — почему хозяин мне его продал? Антер ну... между нами.. Знаешь, в Мюнхене есть ипподром Деннинген? Там каждую неделю разыгрывают миллион марок, мамой клянусь! Это — серьёзно. Вот это — настоящий мужской бизнес. Найму тренера. Нужно выгуливать лошадь и тренировать, но однажды — бац! Бац! И — миллион! Мне же много не надо — только один раз... бац! Это тебе не эстрада и не кино, мать иху так!.. Слушай, друг... А почему я один? Хочешь в долю? Уступлю тебе пол-коня.

— Разрежешь?

— Я серьёзно: затраты — пополам, но и выигрыш — пополам! Пол-миллиона — мало? Купишь новый «Мерседес», квартиру, ещё кое-что Людке на пудры-мудры останется...

Не принёс ему удачи конь. Конь чах, чах и упал с ног. Коня пришлось отдать мясникам.

— Вот так и нас... мы с тобой бегали, чёрт-те знает кому служили, а потом... когда-нибудь... «к мяснику»... Смешно?

Смеяться было неохота.

* * *

Когда я услышал, что Нестор Заурия взял в аренду ресторан в Мюнхене, я ему сказал:

— Не делай глупости, Несторчик! Вспомни заповедь эмигранта: «не открывать ресторанов и не создавать литературных журналов — прогар обеспечен».

— Эй, бичо! Кто здесь эмигрант? Во-первых, я — американец, май диер! Это — фирст оф олл! А во-вторых, я ведь напал на жилу! Жила — это Соня. Она — югославянка, почти что грузинка. Ферштейст ду? Она, конечно, вцепилась, как кошка! Пароль д'онор! Она имеет ресторан на Елизабетштрассе, рядом с моим домом. Так вот... слушай гениальный проект! Ресторан я откупаю у неё и назову его «Бай Ники» — «У Ники». Звучит, а? Как это «кто варить будет?» А она — на что? Она же сейчас ведёт свой ресторан. Правда, вместе с мужем-немцем. Они и будут варить. Как «с каким мужем»? Ну, есть у неё муж. Почему ему не быть, этому мужу? Но теперь она разводится с этим мужем-немцем из-за любви ко мне, конечно. Правда, муж из дела не уходит — он будет в деле третьим. А мне — что? Раз она так меня любит, пусть... Но я — хозяин, так как должен откупить ресторан. А мне — что? Она же обожает меня! А если её муж обожает её — это их дело! Вуаля! Мы будем готовить грузинскую, русскую и сербскую пищу. Народ будет валить! Увидишь! Уже сегодня на полгода у нас наперёд заявки. Ты, Юлики, между прочим, приходи сразу! Потом, боюсь, места тебе не смогу устроить. Я же там буду петь...

Виноградную косточку в тёплую землю зарюю,
И лозу поцелую...

...Данкор? Приходи! И друзей приводи. Я дорого с тебя не возьму, но это — между нами, генацвале!

...После обвала Союза Нестор пригласил в Мюнхен поваров из Тбилиси. Это были прекрасные повара, и еда была на славу. Вечера напролёт просиживал он в своём заведении, пел по два десятка песен, звал просто посидеть у него и угощал кого ни попадя, думая, что угощая задаром, делает рекламу кабачку. Но ресторан хирел, хирел и...

...он кое-как отделался от ресторана в Мюнхене, но по совету Сони вложил деньги в «дело» в Югославии. Но там разразилась война.

— Слушай, что за дела!? Мир сошёл с ума, мамой клянусь! Не только моё «дело» — целая страна лопнула!

А сын его жены, Сони, погиб. Мальчику было немногим более двадцати.

— Он мне был, как сын. Я плачу по нему каждый день, каждый день.

* * *

В 1995-м в Мюнхене закрывалась штаб-квартира «Свободы». Редакции радиостанции переезжали в Прагу. Поехали и грузины, Заурия не поехал.

— Слушай, бичо! На фиг эту Европу! Всё-таки ай эм амэрикэн. Джаст амэрикэн! (я — американец, просто — американец) Мистер Никки Заурия, фром Флорида! Из Флориды. Там, во Флориде, синее небо и круглый год лето. Там солнце садится в океан и небо над Флоридой становится пурпурным. И всё — итс олл! Но мор, бат но лесс! Не больше — но и не меньше. А до Голливуда, между прочим, рукой подать, всего-ничего! Наши софиты ещё не зажглись! Мы ещё не сказали своё слово: «мотор!»

* * *

Говорят, что в доме возле города Сарасота во Флориде они живут вдвоём, Соня и Нестор. Немецкий муж Сони куда-то исчез, связи с живущей в Тбилиси взрослой дочерью у Нестора нет. В округе никого из говорящих по-сербски, по-грузински, по-русски. И если из дома не доносится ругань на смешанном русско-немецко-югославском, которыми владеет миссис Соня Заурия, то можно услышать перебор струн гитары и:

...И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Белый буйвол, и синий орёл, и форель золотая,
А иначе зачем на земле этой вечной живу....

А от Сарасоты до Голливуда, где ежедневно загораются тысячи софитов и сто голосов произносят слово «экшен» — наше «мотор!», действительно, всего-ничего, рукой подать.

Вуаля! Дакор?

* * *

Закончил я этот рассказ, и захотел послать его во Флориду, герою моего повествования — Нестору Заурия... Но адреса у меня не было, общих знакомых, кто бы его знал — не оказалось. И без особой веры в успех я «нырнул в Интернет», набрал его имя, и вдруг «всемирная паутина» выдала:

«Аргументы и факты. № 35. Июнь 2006-го...

Грузинский актёр и режиссёр Нестор Заурия, эмигрировавший в США 35 лет назад, в нынешнем году вернулся на родину, чтобы по благословению Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II снять фильмы о двух грузинских святых жёнах. Первая картина будет посвящена жизни и деятельности святой равноапостольной Нины Каппадокийской, просветительницы Грузии, пришедшей на эту землю в начале IV в. Во втором фильме пойдёт речь о святой царице Кетеван, жившей в XVI в. Царица отвергла предложение брата своего покойного мужа Константина (прозванного Окаянным), который просил её руки. Константин принял магометанство из корыстных побуждений. Кетеван вступила с ним в войну, в которой он был убит. Персидский шах Аббас в ответ напал на Грузию и направил Кетеван в Персию, где ей было предложено перейти в ислам. Но царица Кетеван предпочла мученическую смерть вероотступничеству. Фильм будет сниматься в местах исторического пребывания святых Нины и Кетеван — в Мцхете, Армази, Светицховели, Каппадокии.

— Его Святейшество спросил меня во время аудиенции, кого я намерен пригласить на главные роли, — рассказал режиссёр газете „Баста“. — Я ответил, что думаю посетить с этой целью Грецию. Но Его Святейшество посоветовал мне поискать подходящие типажи в грузинских деревнях, и я намерен внять этому совету».

И вот теперь я с лёгкой душой ставлю точку.

Алексей Славич-Приступа
(Россия, Москва)

Родился в 1955 г. в Крыму, до 18 лет жил в Ялте. В 1978 г. окончил Московский институт управления, до 1992 г. работал научным сотрудником в академических НИИ, затем директором по маркетингу различных компаний, бизнес-консультантом.

Душа? Как будто бы, была...

* * *

Душа? Как будто бы, была.
Присутствовала скромно и беззвучно.
Являть её казалось несподручно —
поди пойми, куда бы привела.

А жизнь идёт, а жизнь пройдёт, а жизнь прошла,
слагаемые все уже сложились...
Душа? Была, конечно же, была!
Но как-то между пальцев просочилась...

Не продана, не предана — а так,
Когда считали — вдруг недосчитались
и — типа, что душа — такой пустяк,
куда весомей ценности терялись...

* * *

В моём стакане быстро тает лёд.
Ещё июль, ещё совсем не осень.
Но первый лист, сомнения отбросив,
срывается в порхающий полёт.

Он так беспечно жёлт и деловит,
что ни о чём, наверно, не жалеет.
В конце концов, никто не уцелеет.
Но этот лист не падает — летит.

Гитарист

Вначале он сыграл мне вещь для арфы,
Прозрачную капель в начале марта.
И лишь в басах гортанная гитарность
плыла, как горький дым от старых листьев,
сжигаемых к исходу сентября.

Потом он показал мне, как гитара
Умеет быть истошной балалайкой,
томительно хмельной и безнадёжной.
И эхо — глуховатая гитарность —
поддакивало, что среди весёлых
есть на пиру всегда один печальный.

И я завидовал его гитаре,
поскольку сам бываю инструментом,
то — арфой своенравного Эола,
или чужим рукам послушной балалайкой.
И не могу позволить себе роскошь,
играя эти роли, оставаться
самим собой.

* * *

Тень ложится, как пороша,
властно, плавно, не спеша...
Как же я полжизни прожил
без тебя, моя душа?

Ревность, боль, усталость, жалость,
Юный трепет, страсть и пыл —
все забылось и смешалось,
отбродило, отстоялось,
было спрятано в бутылъ.

И опять горящей влагой
чаша наполнится сия.

Погоди, умерь отвагу,
не спеши, душа моя...

* * *

Знаешь, все-таки я верю,
что не разорвалась нить,
и за этой чёрной дверью,
пусть не скоро, но однажды
доведётся повстречаться
и друг друга различить.

И загадывать не будем,
кем предстанем друг пред другом.
Самый странный маскарад
не мешал нам в этой жизни —
и опять не помешает,
если боги, карма, чудо
нас с тобой соединят.

* * *

Когда не могут объяснить,
порой пытаются измерить.
Чтоб натяжение проверить,
играя, рвут тугую нить.

А это ведь была струна
и, как могла, она звучала.
Чем много поводов давала —
Проверить, как натянена.

* * *

Мой бог, ты слаб и одинок.
Другие всех царей превыше,
им в пышных храмах свечи жгут,
их цепким и умелым нищим
всю милостыню отдают.

А ты — ты слаб и одинок.
Другим возносятся молитвы
в несчастье и на поле битвы.
А ты ни рая и ни ада,
ни искупленья, ни награды
неужто выдумать не мог?

* * *

На самом заднем плане декораций
был летний день. И аромат акаций
плыл зримым фоном, репликой, игрой.
Его сдвигали в сторону рукой
и продолжали ссориться, мириться...

Две роли ярко помню до сих пор:
Немого и Слепого Очевидцев.

Пока на сцене бились Короли
в тисках крутого штопора сюжета,
два Очевидца были незаметны,
как воздух незаметен — до петли...

Интерпретаций было — несть числа.
Цензура то клеймила, то спала,
то резала, казалось, существо —
но пьеса сохраняла волшебство.
Пусть автор снова суть переиначил,
а режиссёр в сюжете напортачил,
и действие прерывается порой, —

на самом заднем плане декораций
был летний день. И аромат акаций
плыл зримым фоном. Репликой. Игрой.

* * *

...А брызги бурных выяснений
и бесполезны, и смешны,
поскольку наши отношения
до очевидности ясны.
На все излишние вопросы
один ответ, он прост весьма:
была весна — а нынче осень,
почти что, в сущности, зима.

Кира Сапгир (Франция)

Кира Александровна Сапгир родилась в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков (французский факультет). Член Союза писателей Москвы, Международного Пен-клуба, Международного союза журналистов. Публиковала в Москве детские книги, сценарии и пр. Живёт в Париже, куда эмигрировала в 1978 году. К. Сапгир — переводчик, литературный и художественный критик, прозаик, поэт и журналист. Долгие годы работала в газете «Русская мысль», печатала статьи в журналах «Континент», «Грани», «Новое русское слово», «Панорама», была корреспондентом Французского международного радио и радио «Свобода». Публикуется в зарубежной и российской прессе — «Литгазете», «Независимой газете», «The art newspaper Russia» и др. Автор романов «Ткань лжи», «Диссидеблос», сборников рассказов и очерков «Быки и улитки», «Оставь меня в покое», «Париж, которого не знают парижане», «Париж — мир чудесный и особый»... Переводчик французской народной поэзии, а также Ронсара, Превьера, Р. Кено и др.

Дропы

I. Прогулка

1
Что может быть печальней
Холодной майской ночи
Казанского вокзала
И зала ожидания
И спящего казаха

2
Какая радость утром
В автобусе без цели
Проехаться по Крыму
Блаженны эти склоны
Шалфеем и полынью

3
Ура! Вода нагрелась!
Летим стремглав с обрыва
К рыбацкому баркасу
Нырять как торпеды
Кричим как пароходы

4
Нечаянная радость
Волна накрыла берег
На мокрой гальке солнце
Черешни и медуза
Блещут первозданно

5
Купить кулёк черешен
С горы спуститься к морю
Найти цветную гальку
Куриль дремать на солнце
Читать «Легенды Крыма»

6
Вот три зелёных гальки
Одна листок салата
Другая полумесяц
А третья словно сердце
Зелёное русалки

7
В грозу над Карадагом
У Чёртова камина
Дымились тучи-кошки
А каменные драконы
Ожили и рычали

8
Сорвалась с флюгера стрела
Насквозь пробив стекло окна
Вонзилась в зеркало
Дрожа железным опереньем
В комнате чужой

9
Лишь наступила полночь
Одна ушла из дома
Под торопливый ливень
Таилась и спешила
Как будто бы к кому-то

II. Птичий рынок. Бестиарий

1. *Птицы*
На тёплый подоконник
Открытого окошка
Насыплю жёлтой пшёнки
Эй — тень-пень чивью-тивью
Слетайтесь пойте клуйте

2. *Рыбы*
Небрыйтый алкоголик
Пришёл на птичий рынок
Продать пяток уклеек
Они в стеклянной банке
С наклейкой «Патиссоны»

3. *Олень*
Где тёмною смолою
Кедровник ошнурован
Где бурый можжевельник
Теплей вечерней кошки
Вдруг — РЫСЬ — в глазах оленя

10
Дождь раскачал орешник
Зелёное миганье
Задачи и кроссворда
Вопроса и ответа
Находки и потери

11
В начале было Слово
Гудел Глагол металлом
Преобразуя Хаос
В горниле Мироздания
Во Время и Пространство

12
Крылатую упряжку
Невидимого бога
Не видит в небе смертный
Лишь колесо повозки
Дано ему увидеть

4. *Собака*
На клетчатом диване
Спит королевский колли
Хозяин в ресторане
Беседует о колли
С владельцем сенбернара

5. *Кони*
Подталины и топот
Копыт барона Клодта
Как эхом отражённый
Оградою чугунной
Волною преломленный

6. *Слон*
Протягивает детям
Свой серый нежный хобот
Над лбом богоподобным
Едва полуоткрыты
Архангельские уши

7. Осы

В лесу часов с кукушкой
Концерт во славу полдня
Устраивали осы
А часовщик в стаканчик
Разглядывал пружинку

8. Букашки

Зимой уснули мухи
Погибли богомолы
Паук исчез куда-то
Не спит сверчок запечный!
Не дремлют тараканы!

9. Павлин

На грешников не глядя
Гулял в мышинной рясе
Великий Инквизитор
И красный зад кривлялся
Гримасой Люцифера

10. Кролик

Был пойман бедный кролик
Убит был и ободран
И продан был с прилавка
И обращён в жаркое
И съеден с аппетитом

11. Змеева

Вползла домой с рассветом
Сказала — с семинара
«Дизайн и содомия»
Навстречу ей шипенье:
«Явилась тварь, гадюка»

12. Звероадам он же Венец творенья

Собрав на поллитровку
С пятидесяти поклонниц
Блевал и спал в парадном
До гнуса усосавшись
Олейникогубанов

Дурацкая история

(из сборника «Майн кайф»)

Хорошо выдуманная история порой бывает убедительней, чем сама истина. Но бывает, что самая правдивая история не убедительна настолько, что лучше бы ее не было вовсе. Вот одна из таких историй — правдивых и ничем не оправданных — и оттого ровным счетом никому не нужных.

* * *

Моя соседка Инка Прицкер хотела быть как все: есть, например, борщ, а не бульон из свежей осетрины или черную икру, которую ей с детства на завтрак мазали на свежайшую булку с ломким маслом из холодильника. И когда Людмила Израилевна, Инкина мамаша, звала из окошка дочь со двора, где в полном разгаре шла игра в пряталки: «Пятерочница, иди есть икорку!» — бедная Инка готова была от позора провалиться сквозь землю!

Была она безнадежно невзрачной, с тусклыми патлами, носом, который уже в детстве обещал расти с унылым упорством — и обещание исполнил. Столь же упорной, как и её собственный нос, была сама Инка. Например, ей во что бы то ни стало хотелось стать платиновой блондинкой. Она считала, что платиновым блондинкам легко живётся, и женихи предпочитают именно блондинок.

Чтобы перекрасить чёрные патлы, которые никакой краске не поддавались, Инка целый месяц упорно вытравляла волосы. После мучительного процесса обесцвечивания, которое получилось лишь с четвёртого захода, она купила на проспекте Мира в магазине «Весна» для новобрачных дефицитную польскую «Уроду» якобы цвета платины. А уже через два часа вновь трясла перед продавцом угольно-чёрными патлами, крича, плача и умоляя сделать хоть что-нибудь! Всё было бесполезно — а ведь платиновый цвет волос был залогом замужества, без которого Людмила Израилевна ни за что не согласилась бы выпустить дочь из-под семейного крова на холостом ходу.

Людмила Израилевна (которую в нашей компании звали Людмилой Агрессоровной) работала в магазине «Океан» главбухом. Вместе с мужем Рувимом — сан-врачом в ресторане «Москва» — они дружно воровали, собирая на приданое Инке со дня её рождения. Затем Рувима задушила водянка. И с тех пор Людмила положила всю жизнь и все силы на алтарь счастья дочери, которое видела в одном лишь замужестве.

В ожидании жениха Людмила неизменно подбегала на все телефонные звонки. Услышав в трубке мужской голос, спрашивающий Инку к телефону, устраивала дочери допрос с пристрастием:

— Кто звонил? Чем занимается? Где учится? Какая зарплата? — И заключала:

— Пригласи его в дом. Ему надо познакомиться с семьёй!

А уж что творилось, ежели тот опрометчиво принимал приглашение на семейный обед! К его приходу стол-самобранку нагружали горой фарфора. Вынимали фамильные серебряные ножи и вилки. Гость вкушал дефицитные яства в окружении свойственников, родственников, дядьёв из почтенного клана лотошников и завмагов во многих поколениях. За столом провозглашались тосты за будущее счастье будущих молодожёнов — и, конечно, потенциальный жених после такого мейнстрима неизменно линял. Навсегда.

Инка понимала: платиновые локоны и брак по любви ей не светят.

В нашу кодлу она влилась, будучи, как уже говорилось, моей соседкой по дому. Вначале она у нас не привилась: слишком уж разными мы были — Инка с её родней и мы, «боярские дети», отпрыски номенклатуры, почти все отчисленные из Иняза,



© Фото Александры Отважной

МГИМО и прочих ВГИК-ов за пофигизм, работавшие в котельных либо на овощебазах, чтобы не мозолить глаза ментам.

Но Инка была упёртой: чтобы прорубить окно в кодлу, бросила «Плехановку», куда её с таким трудом запихала мамаша, не пожалев для дверных петель храма науки золотой смазки.

* * *

Как удрать из кошмарного домашнего плена? Мы все ей очень сочувствовали.

Вот мы сидим втроём у меня дома — я, Инка и Юлька-вахтанговка, слышущая в нашей компании ведьмой. Юлька гадала Инке на картах.

— Тебе нет настоящего жениха, — хрипло вещает прорицательница. — Зато будет фиктивный муж.

И кодла принялась искать Инке фиктивного суженого. Руководил всей операцией японист Славик.

Японист Славик в нашей кодле был исключением во многих отношениях. Его отец, посол в Японии, воистину вышел из народа — был беспризорником, сыном вора и алкоголички. Он рассказывал, что ходил по улице, наступая на пятки, оттого что носы его бахил были с дырами. Он окончил школу с золотой медалью, с блеском поступил на японский факультет Института восточных языков. Из барака, где жил с женой, ездил учиться, затемно садясь в электричку — до факультета надо было добираться три часа. В дороге зубрил иероглифы, которые писал на ладони чернильным карандашом. Затем стал в Японии послом.

Его сын, родившись в Стране Восходящего Солнца, впервые заговорил именно по-японски и, естественно, пошел по пути предка — поступил в МГИМО на японский и исправно там отучился (опять же в отличие от многих из нас) и теперь работал личным переводчиком (от УПДК¹) у японского фирмача, представителя «Мицубиси» в Москве.

Был Славик при этом великим комбинатором и ярым альтруистом.

Путём хитроумных многоходовок Славик мог отыскать выход из любого житейского лабиринта. Взять хоть Вальку-пушкиниста. Валька был очень застенчивым. Он любил девушек, но девушкам он не нравился — слишком уж ботаник; при нём, как они говорили, было неудобно снять штаны... Валя-пушкинист мечтал пленить Таньку-тюзовку. И японист придумал такую мизансцену: у входа в гостиницу «Интурист», где обитал его босс-фирмач, назначил Таньке свидание от лица застенчивого друга. Затем подкупил двадцаткой фирмачёвого шофера. Подкупленный водитель усадил пушкиниста на переднее сидение роскошной фирмачёвой «ауди», обычно запаркованной подле «Интуриста», объехал здание кругом и лихо причалил у входа, где ждала Танька. «Ступай. Ты мне сегодня не нужен», — высокомерно, вылезая из тачки, бросил шоферу пушкинист. Танька была покорена.

— Найдем ей фиктивного мужа! — бросил японист приказ. И мы принялись искать.

¹ Управление по обслуживанию дипломатическим корпусом

Искали долго. Наконец вызвался Лёнька Борщ, актёр «на выходах» в театре имени Того Парня. Чтобы Лёнька не очень упирался рогами, ему рассказали о вкусном и сытном столе на свадьбе и вообще о сверхзадаче. Борщ после этого как-то даже вдохновился.

Настал день смотрин. Славик-японист и Валька-пушкинист с утра пытались запеленговать жениха. К счастью, количество мест, где он мог болтаться и где его ещё терпели, было строго ограничено.

— Так. В Домжуре его точно нет. Он там в прошлом месяце лампочку из светильника вывинтил и разгрыз, скотина, — сказал, что ему всё до лампочки, — размышлял Славик. — И в Дом кино его больше не пускают. И в Дом композиторов. Не иначе, как он у Дайки! Удивительное рядом!

Дайка жила в доме работников Большого театра, в квартире, оставшейся после смерти матери — знаменитого на всю страну сопрано.

Было Дайке под шестьдесят. Когда-то она окончила высшие сценарные курсы, написала дипломный сценарий, конечно же, «гениальный». По сценарию Дайки никто не захотел снимать фильм — и с тех пор она считала, что все сценарии всех фильмов украдены у неё, взяты целиком либо частично. Короче, крыша у неё съехала основательно. Дайка была соседкой Борща, с которым они мирно спивались вместе и изредка сожительствовали.

Прибыв к Дайке, увидели такой расклад. Борщ на кухне давит поллитру, явно не первую. Его собутыльник — однокашник по «Щуке», актёр из провинциального театра, но ведущий, приехавший навестить столицу. Дайка вертится вокруг, подаёт, подливает. У Дайки три косы. Одна своя, седенькая и растрёпанная, а две других — не свои: одна, цвета воронова крыла, привязана ботиночными тесемками. Другая, рыжая, лежит на плече, сама по себе.

Гость из провинции уже изрядно пьян.

— Слу-у-ушай, — убеждает он Борща. — Ну ку-ак же ты му-ожешь... спу-ать с таку-ой бу-абой? Ведь она же не бу-ааба даже, а чистая шву-абра!

— Ну... ну... это моё дело! — бубнит, отстаивая честь дамы, Борщ.

— Это его дело! — встречает Дайка.

Силой оторвав Борща от тёплой компании, Славик с Валькой отвезли его на смотрины к тёще. Людмила Израилевна увидела жениха — и он мгновенно покори её пылкое сердце! Вне себя от счастья, она оповещала по телефону свойственников, шуринов и дядьёв:

— У моей Инночки жених актёр! Человек искусства! Не красавец, но представительный, самостоятельный, для жизни годится.

Она ходила по контрамаркам на все пьесы с его участием. Весь театр Того Парня был посвящён в эту историю:

— К Лёньке опять тёща на спектакль пришла, пирогов принесла!

Борщ дико смущался. Тёща не только пироги носила, но и торты «Наполеон» собственного производства, величиной и толщиной с автомобильную шину; от малейшего дуновения с торта вздымались облака сахарной пудры и взвивались чешуйки слоеного теста. Но вскоре Борщ

вошёл в роль — шаркал ножкой, здороваясь, неизменно почтительно целовал ручку. Людмила Израилевна полыхала от гордости и любви:

Не зять у меня, а Принц Гамлет! Король Лира! — умилялась будущая тёща, обсуждая творческие успехи Борща со всеми родственниками, близкими и дальними, членами громадной фамилии потомственных торгашей.

Она прощала ему пьянство:

— Ну, пусть много пьёт, он же актёр, человек искусства! Женится — остепенится.

В день свадьбы на пороге ЗАГСа толпа гостей дружно распивала портвейн. Время тянулось. Борща на горизонте не виднелось. Солнце, устав стоять в зените, начало валиться за крышу ЗАГСа. Наконец, сваты — Славик-японист и Валька-пушкинист поехали за женихом на тачке фирмача, улетевшего по делам в Аргентину. Вернулись смертельно бледные и ошарашенные:

— У жениха — белая горячка. Сидит в чём мать родила и на стене в спальне рисует кирпичики.

— Так хватать его надо было за шкуру — и сюда! — вскричала Юлька-вахтанговка.

— А он говорит: меня совесть мучает. Не могу, говорит, Людмилу обманывать. Хорошая она женщина.

— Подонок! Я ему покажу — совесть! — взвизгнула невеста. — Да я его сейчас, мигом...

Прыгнули в тачку втроём. Вот она, прорувив по усталым от жары улицам, протиснулась в арбатскую подворотню — к дому, где обитал Борщ. Лифт не работал. На четвёртый этаж вскарабкались пешком.

На звонок долго не открывали. Тогда Инка лягнула хорошенько дверь ногой — та оказалась незапертой. В спальне на полу теплилась свечечка, Голый Борщ, сидя по-турецки напротив стены, мазал по штукатурке малярной кистью. При виде невесты он вроде бы начал приходить в себя:

— Ну, ладно, чего уж-...ик! Сейчас только вот еще... ки-ик!-ирпич'к дорисую... и-ик! того! Я ж не су-ик!-ука! Ик!

— Он не сука! — подтвердила Дайка, которая вертелась тут же — и сразу же приняла самое активное участие в акции, всячески суетилась, приводя жениха в чувство. Когда же тот попытался улизнуть, помогла оттащить под холодный душ.

В конце концов жениха с грехом пополам одели.

— Галстук, галстук! — вскрикнул кто-то. — Нужен галстук!

Галстука не нашлось, и Славик одолжил жениху свой:

— Гад, испортишь — убью! Галстук фирменный! — шипел японист, повязывая галстук на шею жениху.

Общими усилиями жениха выволокли на лестницу, протащили по двору. Выпив пивка, Борщ вроде бы оклемался и ко Дворцу бракосочетаний подъехал почти в своём виде.

— Борщ Леонид Михайлович. Хотите ли вы взять в супруги Прицкер Инну Рувимовну? — спросила чиновница департамента Гименя.

— М-да-с... Ну... допустим! — отвечал брачующийся.

Все прошло вполне благополучно. И когда молодожёны появились на крыльце Дворца, Юлька-вахтанговка подарила молодожёнам копеечку:

— На счастье вам. Нашла в дверях ЗАГСа, — объявила она.

На свадьбе столы, как и положено, ломились. Подарков молодым принесли горы. Вина-водки было море разлитое. И счастливая тёща простирала к зятю трепещущие руки:

— Миленький ты мой, хороший! Какой же он у меня расчудесный, золотой! Бриллиантовый мой зятек!

Борщ вконец расчувствовался. Бледный от волнения, поднял первый бокал шампанского... за любимую тёщу! Лучшую из тёщ!

— Горько! — не выдержав, подёбнул кто-то. Борщ смерил ёрника негодующим взглядом.

Отыграли свадьбу. Инке с супругом купили долгожданный кооператив в Марьиной роще. Там она, счастливая и радостная, зажила, наконец, свободной и счастливой жизнью.

В дни визитов Людмилы Агрессоровны в гнёздышко молодожёнов мы сообща отправлялись на поиски заблудшего Борща. А найдя, затаскивали к Инке, клали на диван, обряжали в шлёпанцы и пижаму из собственного гардероба, разбрасывали повсюду разные предметы семейного быта. Муж лежал на диване и читал газету. Тёща сидела на стуле, распахнув шубу, утирая пот и слёзы умиления. В ногах у тёщи неизменно стояла сумка, набитая обалденным дефицитом — балыком, вырезкой, икрой, даже ананасами. А Славик-японист и Валька-пушкинист, главные поставщики реквизита в бутафорский семейный очаг, случалось, часами томились на площадке перед дверью квартиры, ожидая возврата своего добра. Тёща слегка удивлялась: отчего это каждый раз, бывая у «детей», она слышит из-за дверей какие-то шорохи и вздохи, иногда робкий звонок и умоляющий голос: мол, кому-то надо уйти, а ему из-за затянувшегося визита тёщи, все никак не забрать свой пуловер...

— Кто это? — спрашивала Людмила Израилевна. — Ваши друзья пришли? А отчего они не заходят?

— Это ничего, так... соседи, — отвечала Инка.

Иногда при этом кто-то, потеряв терпение, начинал тарабанить в дверь кулаком. Инка поспешно срывалась в прихожую, тихо приоткрывала дверь, откуда к ней умоляюще простирались руки, как из окошка острога. Она торопливо совала в протянутые руки свитер или носки, затем поспешно захлопывала дверь. Когда же раздавался особо настойчивый звонок, Инке приходилось просовывать в дверную щель котлету или булку с ветчиной.

Со временем Борщ оборзел и пустился на прямой шантаж.

— Какого черта я трачу время?! Гони триста баксов, а то продам! С потрохами! — грозил он Инке.

— Подлец! — шипела супруга.

— Ах, это я подлец! Это ты ей врешь! Гони три сотни, а то Людмиле нажалуюсь, тёще моей! Что это я ей всё вру и всё за бесплатно, блин!

Ничего не поделаешь. Инка сказала мамаше, что им в хозяйство нужен славянский шкаф за три сотни. С тех пор, каждый раз, как тёща наносила

визит молодым, в квартиру Инки, перед её приходом Славик с Валькой втаскивали шкаф, который одалживали у Дайки. Потом уже стали выпрашивать у всех по очереди холодильник, телевизор — аппетиты Борща росли.

Так продолжалось, пока Борщ не уехал на гастроли в Сочи.

Всё лето Людмила Израилевна проводила на даче и в городе появлялась лишь изредка. Однажды, зайдя без предупреждения к Инке, обнаружила не зятя, а вовсе даже какого-то молоденького человека, который мирно пил пиво, сидя у Инки на коленях.

— Инна, что это такое?! Кто это?! — потрясенно спросила Людмила Израилевна непутёвую дочь.

— Кто?.. Это... знакомый, — пробормотала та, еле ворочая языком.

— Но где твой муж?!

— Он... в общем, он, мама, в больнице.

— Боже... что... с ним...

У Людмилы Израилевны побелели губы и затряслись все подбородки.

— Мама, это, в общем, не смертельно, но он в больнице, а там холерный карантин.

Боже, какие передачи шли Борщу в больницу! Куриный бульон ведрами, икра красная и чёрная, рыба красная и белая, пироги, ветчина, всякая вкусная всячина! Одной такой передачей неделю кормилась наша кодла. Мы все заметно отъелись, а поскольку Борщ всё ещё выступал на юге, ответы теще с больничного одра вдохновенно строчил Славик. День ото дня послания становились всё пламенней.

Однажды, когда Славик принялся за очередное письмо, начинавшееся словом «Любимая!», явился с юга пьяный Борщ, распевая «А где найти такую тещу».

— А я вот твоей Людмиле письмо пишу. Любовное, — объявил Славик.

— Как ты смеешь её называть «любимая»?! Как ты смеешь ей письма писать?! Это моя теща, а не твоя!

— А нечего по югам раскатывать! Была теща вашей — будет нашей!

— Ты... вот что... Людю... не трожь.. Понял?! — сказал сурово Борщ. — Что вы все над нею издеваетесь? А я вот её люблю. Возьму, вот, и всё ей скажу.

— Ты же её убьёшь!

— А всё равно, ты моей теще письма писать никакого права не имеешь! Я теперь сам буду ей письма писать.

— А как же с почерком! Почерк чужой! И стиль...

— Плевать я хотел на стиль! Подумаешь! Стиляга нашёлся!

Пришлось срочно выписать Борща из больницы — а тот устремился, как горный олень, к теще, встретившей его с распростёртыми.

Как ни странно, с тех пор Борщ присмирел. В дни визитов Людмилы покорно являлся под семейный кров, и, надев пижаму и тапки, смиренно укладывался на диван с газеткой. В общем, он заметно поутих и даже пил меньше.

Потянулись годы. И все эти годы, когда бы Людмила Израилевна ни приходила к Инке с Борщом в гости, на диване неизменно возлежал любимый зять в полосатой пижаме, читая газету.

Это длилось долго-долго. Так долго не живут.

Валерий Байдин
(Франция)

Писатель, эссеист, культуролог. Родился в Москве в 1948 г. Окончил исторический факультет МГУ. В начале 1990-х гг. выехал из России, учился в Женевском университете, защитил во Франции (Университет Нанси 2) диссертацию доктора русской филологии, читал курсы лекций в университетах Нанси, Нижней Нормандии, в Сорбонне. Автор стихотворного сборника «Patrie sans frontières» (Paris, 1996), монографии «L'archaïsme dans l'avant-garde russe. 1905–1945» (Lyon, 2006), романа «Сва» (М.: Русский Гулливер, 2012) и полутора сотен статей и эссе о русской культуре разных эпох. Проживает во Франции и в России.

На ступенях русского храма

Отрывок из автобиографической повести «Неподвижное странствие»¹

Секретный объект

Советский строй угасал под мелодичный звон церковных колоколов. В религиозном и культурном подполье возрастало новое «поколение правды». Каждая Пасха приближала избавление от примитивной и злобной утопии, в которую давным-давно никто не верил. Церковь обретала свободу. Кесарь по крупицам отдавал ей богово, отнятое в десятилетия гонений. Но возвращение уцелевших святынь оказалось для русской культуры мучительным испытанием. Всё, что в эпоху кровавого хаоса было украдено у православия, перепутано и переломано, за минувшие десятилетия срослось по-новому, неприглядно, уродливо, но подчас очень прочно. Замечательные храмы, усилиями тысяч подвижников превращённые в музеи и спасённые от уничтожения, бесценные иконы, не сгоревшие в большевистских кострах, отреставрированные, ставшие национальным достоянием, — всё требовалось разом вернуть Церкви. Миллионы верующих с полным основанием претендовали на своё тысячелетнее достояние. Ни светские, ни религиозные власти не представляли, каким образом можно «вернуть награбленное» и при этом не потерять окончательно сокровища христианской культуры в переполненных, закопчённых свечами храмах, в полуразрушенных монастырях, во время крестных ходов — в морозы, солнцепёк и дожди.

За два года после празднования Тысячелетия Крещения Руси взгляды церковных властей и деятелей культуры разошлись до крайних, непримиримых точек зрения. Вернуть всё, что отняло безбожное государство! Не отдавать

¹Начало опубликовано в журнале «Знамя» 2013, №11.

наши шедевры «невежественным фанатикам», хранить их для потомков как бесценное всеобщее наследие! На страницах газет и экранах телевизоров, в церквях, музеях и даже среди друзей не утихали споры, которые сводились к давно назревшему вопросу: как вновь соединить светское и религиозное начала культуры, надвое разорванной революцией?

После одного из долгих и ожесточённых интеллигентских чаепитий в феврале 1990 года ночью мне пришла в голову мысль, которая не дала спать до утра: «церковный музей». Суть её сводилась к тому, чтобы, никого не ссоря, ничего не разрушая, оживить храм, погребённый в музейном саркофаге. Оставив памятник культуры под государственной охраной, выделить внутри него «сакральное пространство» и «сакральное время». Для этого следовало изъять из ведения музея лишь алтарные части храма, освятить их и открывать в дни и часы церковных праздников для богослужения. К утру я всё обдумал и принялся писать проект, даже не вспомнив про завтрак.

Чтобы убедить партийные власти пойти на компромисс, я предлагал породить то, что уже существовало в советском прошлом: статус «церковного музея». В первые послереволюционные годы граф Юрий Олсуфьев и священник Павел Флоренский для спасения сокровищ Троице-Сергиевой Лавры сумели создать «Сергиево-Посадский историко-художественный музей». Так с 1920 по 1938 год удалось собрать и спасти около десяти тысяч памятников церковной культуры — сохранить богатства Лавры от исчезновения. Этот прецедент можно было бы использовать теперь уже для возврата Церкви величайших святынь. Кремлёвские соборы, Василий Блаженный, Исаакий, Казанский собор, Киевская лавра... Дух захватывало.

Через некоторое время семистраничный текст «О статусе церковного музея» был готов, и я решил действовать. Следовало во что бы то ни стало предать эту идею наибольшей огласке, обсудить в прессе и, как мне думалось, в специально созданной Министерством культуры и Патриархией Церковно-культурной комиссии. На советских чиновников надежды не было, помочь этому делу могло только прямое вмешательство свыше. Я написал обращение к тогдашнему Председателю Верховного Совета Горбачёву с предложением о создании «церковных музеев» и, чтобы убедить в крайней важности такого решения, начал собирать под обращением подписи.

В те дни я единственный раз в жизни почувствовал, что значит одержимость идеей. Действовал словно по наитию, и ни разу интуиция меня не подвела. Не я один ринулся действовать, все мои знакомые, всё общество впервые за десятилетия задышало воздухом надежды. На смену жутковатому прошлому возвращались свобода и человечность, от которых была неотделима религиозная вера. Никого не зная лично, я был заранее уверен в поддержке всех тех знаменитостей, к кому обращался. Самым сложным было с ними связаться. Зацепок почти не было. С известнейшим физиком, академиком Георгием Голицыным, я мельком столкнулся в 1982-м году на открытии

организованной мною в Центральном Доме Художника выставки рисунков учёных. В записной книжке сохранился домашний телефон.

— На выставке «Учёные рисуют»? Что-то припоминаю, довольно смутно. Да-да, конечно, рисунки Чижевского, Флоренского, академиков... Хорошо, приезжайте. Обсудим, — услышал я в трубке и с облегчением вздохнул.

Голицын спешил, через сутки он улетал за границу. Но время нашлось даже для короткого разговора по-московски — на кухне, с неизменным чаем, который подливала милейшая дочка Аня. Вряд ли Голицын меня вспомнил, но виду не подал. Да и речь шла вовсе не обо мне.

— Так что, опять я первый? — удивился он, прочитав обращение. — Ну, хорошо, подпишу. Сколько я уже разных обращений подписывал. И в защиту Сахарова, и Солженицына, и в защиту природы. Теперь храмы. Что ж, прекрасно.

Он протянул размашисто подписанный текст.

— Простите, вы из того самого рода? Мне как историку интересно...

— Из того самого, — он улыбнулся. — Так вы историк? Тогда я кое-что вам покажу. Идёмте!

Мы вошли в обширный кабинет и остановились у книжных полок.

— Я тоже отчасти историк. Занимаюсь в свободное время историей рода Голицыных. В этих книгах наша родословная приблизительно за пятьсот лет, — Георгий Сергеевич раскрыл одну из увесистых книг в кожаном тиснёном переплёте. — Моему прадеду Владимиру Михайловичу, московскому генерал-губернатору, приходилось о столичных храмах заботиться, теперь, видно, моя очередь настала. Что ж, воспринимаю как долг, — сквозь толстые очки опять проглядывала улыбка.

Голицын согласился разыскать для меня в справочнике Академии Наук телефон академика Сергея Аверинцева, продиктовал и пожал на прощанье руку:

— Желаю вам успехов! Если в дальнейшем будет нужно, готов помочь.

Аверинцеву я позвонил в тот же вечер. Просьба поддержать идею создания церковных музеев вызвала продолжительное молчание.

— Простите, не могли бы и вы поддержать... — решился я повторить просьбу. — У меня написаны краткие тезисы «О статусе церковного музея». На семи страницах.

— Мне кажется это м... интересная мысль. Но чем я могу помочь?

Я рассказал о своём обращении к Горбачёву, подписанном академиком Голицыным. Зачитал последний абзац:

— Смогли бы вы поставить подпись под этим обращением? Я надеюсь опубликовать его в центральной прессе, например, в «Литературной газете».

— В «Литературной»? Было бы хорошо. А кто ещё будет ээ... подписывать?

— Список можно с вами обсудить, — я смутился, упомянул нескольких известных писателей и художников. — Может быть, вы кого-то посоветуете?

После нового молчания из трубки донёсся слабый картавящий голос:

— Это следует хорошенько обдумать. Вряд ли прямое обращение к Горбачёву поможет. Нужно... по-другому действовать. Не трудно вам будет приехать ко мне мм... послезавтра утром? Я должен закончить срочную работу.

Разумеется, я согласился, повесил трубку и задумался. Аверинцев являлся в то время депутатом Верховного Совета и знал ситуацию изнутри. Я согласился без колебаний: вызывать нужно не к Горбачёву, а к интеллигенции.

Первым пришло в голову имя Анастасии Ивановны Цветаевой, о религиозности которой я слышал неоднократно. Не помню, кто из друзей помог мне отыскать её телефон, и я немедленно позвонил. Ответила девушка, выслушала и попросила подождать, не вешая трубки. Голос показался приветливым. Минуты через она две сообщила с явным удовольствием:

— Приезжайте завтра к десяти утра. Анастасия Ивановна подпишет. Вот наш адрес...

Обдумывая на ходу, что делать дальше, я мчался наутро куда-то в район трех столичных вокзалов. Солнце светило в полнеба, сквозь зиму проглядывала весна. Многоэтажный новый, кажется, панельный дом. Чистая лестница. Небольшая квартирка. Анастасия Ивановна, глубоко склонив голову, сидела у края стола, словно в молитве. Остановила на мне ясный взгляд исподлобья, вслушалась в мои объяснения, слегка кивая, соглашаясь. Я прочёл текст письма к Горбачёву. Цветаева вздохнула:

— Он, конечно, безбожник, как и все коммунисты, но просить нужно. Вера горами движет. Где нужно подписать?

Её подпись оказалась чёткой, совсем не старушечьей. Улыбка остановилась на моём лице с трогательным полувопросом:

— Вернуть храмы верующим. Неужели я до этого доживу?

Взгляд летел на меня из девятнадцатого века, из её детства. Она сидела у стола, навсегда сгорбившись, аскеза глубокой старости сделала её почти бесплотной, высушила тонкие пальцы, высветлила лицо.

— Уже дожили, Анастасия Ивановна, — я попытался придать как можно больше веса своим словам. — Жизнь меняется невероятно. Прямо на глазах. Уверен, это обращение обязательно опубликуют. Нужно лишь собрать под ним подписи нескольких знаменитых людей.

— Да какая же я знаменитая? Это Марина была... — голос начал слабеть. — Ну, слава Богу. Всё возвращается на пути своя. Так и должно быть.

Девушка сделала знак глазами, что мне пора уходить.

Несколько дней я писал и переписывал новое, полустраничное обращение «О будущем наших храмов». Сомнений не было — опубликовать его следовало именно в «Литературке», в то время самой открытой к религиозным вопросам газете. В редакцию я отправился на следующий день с обращением и двумя подписями под письмом Горбачёву, ни с кем не созваниваясь, наудачу, поскольку никого в газете не знал. Отсутствие вахтёра посчитал добрым признаком «антисоветской» вольницы, под-

нялся по лестнице, отыскивая отдел писем. Вальяжная дама с любопытством просмотрела текст обращения, оглядела меня с ног до головы.

— И вы собираетесь это у нас напечатать?

— Да, — ответил я решительно, хотя интонация вопроса мне не понравилась. — К кому можно обратиться?

Наступило тягостное молчание. Дама повертела листок в руках, ещё пристальней на меня посмотрела и вздохнула:

— Ну, не знаю... Попробуйте к Селивановой, в отдел литературоведения. Такими вопросами она у нас занимается. Это на этаж выше, комната...

Почему литературоведение? Какая связь? Ничего хорошего я не ждал. От ворот поворот, но интеллигентный, как и должно быть. Красивая рыжеватая блондинка встретила меня надменным и усталым «Что у вас? Почему ко мне?». Выдохнула дымок от сигареты в слоистый прокуренный воздух, неохотно взяла листок. Брови удивлённо вздёрнулись. Она загасила сигарету, ещё раз пробежала глазами текст, потом глянула в моё напряжённое лицо и вдруг по-девичьи рассмеялась:

— Замечательно. Давно пора. А кто подпишет?

Я показал подписи Анастасии Цветаевой и академика Голицына под письмом к Горбачёву, рассказал про телефонный разговор с Аверинцевым. Назвал имена Айтматова, Распутина, композитора Свиридова, ничуть не сомневаясь, что такое обращение подпишут даже далёкие от православия люди, даже те, кто в жизни никогда бы не подал друг другу руки.

— Хорошо, — Селиванова задумалась, — давайте попробуем. Соберите подписи. Ну, хотя бы в качестве нашего внештатного корреспондента. Допустим, для материала «храм и музей». Я сейчас изготовлю вам письмо от газеты, а обращение отправлю по факсу академику Лихачёву. Вечером ему позвоню. Надеюсь, Дмитрий Сергеевич подпишет. Постараюсь его убедить. Иначе такой текст газета ни за что не опубликует. Если он в Питере, то нам повезло. Вы ведь понимаете, о чём идёт речь?

Я понимал. Но внезапное «нам» и блеснувшие глаза означали, что Селиванова решилась. Через минуту она вернулась с ксерокопией моего текста.

— Конечно, будет трудно. Начнутся разговоры: почему православные храмы, а не мечети, не синагоги, не костёлы? У нас страна многонациональная. И так далее. Но пробовать нужно. Мне показалось, вы правильно мыслите. Держите меня в курсе. Звоните, — Светлана Даниловна протянула визитку и ободряюще улыбнулась.

Её сомнения были понятны. Действительно, почему только православные церкви? Разве нет в стране поруганных святынь у католиков, иудеев, мусульман, буддистов? Но разве не святыни нас всех объединяют и ограждают от варварства? Мне казалось, обращение должны поддержать верующие всех религий. Судьба русского православия связана с их судьбой. Первый шаг к справедливости и религиозной свободе мы должны сделать вместе и никогда не враждовать в дальнейшем. Тут и атеисты должны нас поддержать. Главное сейчас — получить несколько знаковых подписей...

Наутро с этими мыслями я ехал к Аверинцеву на проспект Вернадского. Он усадил меня в кабинете напротив письменного стола, привычно поместился на рабочее место и вгляделся в гостя, словно в незнакомый текст.

— Скажите, давно к вам явилась ээ... идея создания «церковных музеев»?

— Недели две назад.

— И вы успели посоветоваться с кем-нибудь из священников?

Я отрицательно мотнул головой. Рассказал о многочисленных спорах с друзьями, своей записке «О церковном музее», подготовленной для Министерства культуры, о первых подписях под письмом Горбачёву и о разговоре с редактором в «Литгазете».

— Интересно всё-таки было бы узнать мм... мнение духовенства. В православной традиции церковных музеев не было. Музей в Троице-Сергиевой Лавре не в счёт, это сейчас скорее, учебный кабинет церковной археологии при Духовной академии. Вот у католиков церковные музеи есть. Взять хотя бы сокровищницы ээ... в парижском Нотр-Дам, в Сент-Шапель, в соборе Сен-Лоренцо в Генуе, в Аахене...

— Будет хороший случай узнать мнение духовенства, — решил я вставить слово и протянул листок с обращением.

Аверинцев неожиданно и едва приметно улыбнулся:

— Вы виделись с Анастасией Ивановной. И как она... как себя чувствует? Ведь ей уже почти сто лет.

— Мне показалось, неплохо. Очень обрадовалась. Сказала, что всё возвращается на круги своя.

— Да, надежда есть. Но сопротивление будет сильное. Коммунисты так просто не отступятся, — он подписал листок и протянул, сохраняя прежнюю, не мне адресованную улыбку.

Кажется, расположение духа у него было самое доброе.

— Как вы думаете, — решил я, — может быть, стоит предложить присоединиться к обращению людям других вероисповеданий: католикам, иудеям, мусульманам? Ведь у нас общие проблемы.

Аверинцев глянул чуть в сторону, задумался:

— Это правильная мысль. Советую вам обратиться... к Виталию Иосифовичу Гольданскому. Он и академик, и народный депутат, но мы, к сожалению, не знакомы, — с этими словами Сергей Сергеевич поднялся и пригласил меня пройти в соседнюю комнату.

— Наташа, познакомься. Историк Валерий ээ... Байдин. Инициатор обращения о возврате церкви православных храмов. Я вчера тебе говорил. Очень важное дело.

Жена подошла к нам с кошкой на руках, спустила её на пол, протянула ладонь:

— Наталья Петровна, — пальцы были мягкие, совсем не для рукопожатия. — Конечно, конечно. Пора что-то делать. Сколько же этот позор может продолжаться?

Кошка тёрлась о её ноги, что-то просила взглядом. Прихрамывая, подошла ещё одна и мяукнула.

— У вас кошка хромает. И есть, наверное, просит, — не выдержал я.

— Нет, совсем другое. Она больная, бедняжка. Очень страдает, — Сергей Сергеевич неловко нагнулся её погладить.

— Частичный паралич, да ещё проблемы с печенью... — добавила Наталья Петровна с такой интонацией, будто говорила о близком человеке.

Весь следующий день я не слезал с телефона. Более всего надеялся на несколько давних и мимолётных знакомств с учёными. Они быстро схватывали суть, благородно отходили в тень, отдавая право подписи тем, чьё мнение не могло не быть услышано. В старой телефонной книжке рядом с именем Голицына было записано: «членкор АН биофизик Михаил Владимирович Волькенштейн». Никогда не думал, что его телефон сможет мне когда-то понадобиться. Но... искать, так искать. И я решительно набрал номер. Он сразу вспомнил свои графические наброски на выставке «Учёные рисуют». Конечно, он знал академика Гольданского лично и не просто знал: они были старыми друзьями. Выслушал меня и сходу поддержал идею обратиться к нему за подписью, дал телефон:

— Почти уверен, что Виталий подпишет. Он всё прекрасно понимает. И к тому же народный депутат, а это для вас важно.

Так и произошло. Как только удавалось с кем-то договориться по телефону, я мчался за подписью: в Союз писателей, в Союз художников, в Академию Художеств и так далее... Селиванова рассказывала, с каким трудом пробивала публикацию. Главный редактор Александр Чаковский согласился на неё после немалых колебаний. Обращение «О будущем наших храмов» вышло на второй полосе «Литературной газеты» лишь 28 марта. В редакционном врезе сообщалось: «в феврале этого года народный депутат СССР С.С. Аверинцев поддержал направленное в Верховный Совет СССР письмо Анастасии Ивановны Цветаевой и других москвичей с просьбой о возвращении Церкви соборов Московского Кремля и ряда иных известнейших столичных храмов и монастырей, о создании церковных музеев, широком развитии благотворительности и духовно-нравственного просвещения. «ЛГ» публикует обращение нескольких видных представителей научной и культурной общественности страны, разделяющих эту точку зрения на судьбу отечественных памятников религиозной культуры». Далее шёл текст моего обращения, в котором Селиванова не исправила ни запятой:

«Одним из ярких проявлений демократизации жизни в СССР стала начавшаяся в годы перестройки передача ранее закрытых храмов и монастырей в ведение Русской Православной Церкви. Факты такого рода неизменно находят широкий положительный отклик у культурной общественности, встречают понимание у людей разных убеждений и национальной принадлежности. В этих условиях нам кажется вполне

естественным поддержать просьбу православных христиан Москвы о возвращении церкви (для совершения праздничных богослужений) соборов Московского Кремля и одной из величайших религиозно-национальных святынь в России — Покровского собора (храма св. Василия Блаженного) на Красной площади. Знаменательным и глубоко символичным было бы возрождение в своём исконном значении именно этих, расположенных в самом сердце страны замечательных храмов.

По нашему мнению, следовало бы оказать государственное содействие в повсеместном возвращении церкви всех выдающихся памятников религиозной культуры и придать им на законодательной основе статус церковных музеев (художественных собраний, библиотек), просветительских и благотворительных учреждений.

Такие шаги со стороны высшей государственной власти были бы восприняты и в нашей стране, и за её пределами как проявление нового политического мышления, знак уважения прав верующих, дальнейшей перестройки отношений между государством и церковью».

Под обращением шли по алфавиту два десятка знаменитых имён: академиков С. Аверинцева, Г. Голицына, В. Гольданского, Д. Лихачёва, Н. Моисеева, Н. Толстого, президента Академии Художеств Б. Угарова, писателей Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, С. Залыгина, В. Распутина, композитора Г. Свиридова, искусствоведов И. Антоновой, Д. Сарабьянова, С. Ямщикова... Моего имени, разумеется, нигде упомянуто не было. Божье дело безымянно. Я вспоминал уроки владыки Питирима и радовался, как ребёнок. Казалось, уже завтра перед верующими распахнутся входные двери собора Василия Блаженного и кремлёвских церквей. Вскоре я узнал, что первый, разрешённый лишь высшему духовенству и чиновникам, молебен в Успенском соборе незаметно прошёл накануне осенью.

«Мнение духовенства» я в тот же день проверил сам. Принёс «Литературную газету» с обращением в Чистый переулок, где располагалась резиденция Патриарха, показал её охране и попросил пропустить меня к кому-нибудь из секретарей, чтобы передать газету. Меня проводили напрямую к митрополиту Владимиру, управляющему делами Московской Патриархии. Я представился, смутился, свернул свои объяснения в длинное, витиеватое предложение и протянул газету со статьёй.

Владыка внимательно читал, а голова моя стремительно пустела. Я оглядывал огромный кабинет с невысоким потолком, иконы, книжные полки, старинную добротную мебель. Будто бы всё вернулось на столетие назад, и за окном — православная Москва, с неколебимым державным небом, звоном медлительных трамваев и цоканьем лошадиных копыт.

— Что ж, это очень добрая весть! Благое дело вы начали. Доложу святейшему. Как же вам удалось собрать всех этих людей?

— Они сами собрались, я лишь звонил и зачитывал текст обращения. И, представляете, никто не отказался подписать. Все поддержали. Даже далёкие от православия люди.

— Да, удивительно. Значит, это дело Божие. Ну, дерзайте. Помогите вам Бог! — владыка встал, обогнул стол, пожал руку, перекрестил и неожиданно трижды поцеловал. — Вот, возьмите от меня на память!

Он снял с полки большую книгу в синем твёрдом переплёте и вручил мне красивое западное издание Нового Завета с иллюстрациями.

Отношение высшего духовенства к созданию «церковных музеев» и передаче их в совместное пользование с государством оказалось всецело положительным, воспринималось, как восстановление справедливости и первый шаг к «возрождению Святой Руси». Напротив, музейные работники разного уровня приняли идею крайне враждебно. Это выяснилось довольно скоро.

В начале апреля я принёс в Музейный отдел Министерства культуры РСФСР записку «О статусе церковного музея». Заведующая Галина Ильинична Бражникова, маленькая, энергичная, непрестанно курящая женщина средних лет, разумеется, уже читала обращение в «Литературке». Она быстро пролистала мой текст и сходу ухватила суть проблемы. Мы проговорили больше часа. В кабинет рвались сотрудники министерства, она неизменно их выставляла в приёмную и просила подождать. Мои тезисы начали гулять по высоким кабинетам. Но никакого отклика не последовало: советская система работала в обычном режиме. Академик Лихачёв, тогдашний глава Советского Фонда культуры, на чью поддержку я так рассчитывал, в конце апреля ответил на моё письмо сдержанным отказом: «Я полагаю, что государственные учреждения и представители церкви могут выработать свою концепцию без посредника в лице Фонда культуры». После подписи под обращением в «Литературке», отказ Лихачёва было трудно понять. Чего он опасался? Или чувствовал, что возглавляемый им, всё ещё «советский» фонд не способен защитить церковные ценности?

В те дни я заканчивал большую статью «На ступенях русского храма», в которой приводил ужасающие данные, полученные от Бражниковой. Писал, не веря, что кто-то решится их опубликовать: «На территории современной России безвозвратно потеряно около 25 из 45 тысяч храмов, из 955 монастырей уцелело лишь 382, действующих среди них — всего 30». Я вглядывался в цифры на склеенной из бумажных кусков печатной министерской таблице и мысленно представлял огромное «кладбище культуры» на восьмой части земной суши. Это было всё, что большевизм оставил нам и будущим поколениям от тысячелетнего наследия Православной Церкви. Из двадцати тысяч чудом сохранившихся храмов, соборов и часовен лишь 4800 находились на государственном учёте, но, было ясно, и они неотвратимо превращались в руины. Верующим переданы 790 церквей, разумеется, — самых убогих, 590 превращены в «учреждения кулпросвета» (музеи, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки), 810 заняты под склады, 310 «под производства», в 1820-ти размещены магазины, столовые, детские сады, спортзалы, медпункты, 1270 попросту разорены и брошены. «А сколько ещё иных, не учтённых в качестве па-

мятников культуры, покинутых и полуразрушенных храмов доживают сейчас свои последние годы — среди вымерших сёл, безглазно, в глуши!»

Нет, такая концовка меня не устраивала. Всем, кто хоть как-то может помочь, нужно было сообща спасать, что еще можно спасти. Виделось: вокруг каждого храма в мире нищеты и насилия, стиснув зубы, как-то сумеют выжить тысячи отчаявшихся, брошенных властями людей. Так выживали веками, в эпохи войн, смут и стихийных бедствий. Возрождая святыни, человек восстанавливает человечность жизни, без которой теряет смысл его сытое, но полудикое существование. Идею создания «церковных музеев» в этой статье я пытался обосновать с новой стороны: они помогут защитить самые известные памятники архитектуры от «туристского вала», превратить толпу бесцеремонных зевак в паломников культуры. Ведь «100 тысяч посещений в год для собора Василия Блаженного — это медленная катастрофа, происходящая при попустительстве Исторического музея...». До сих пор звучат в ушах эти слова Бражниковой. То же самое происходило в церквях Суздаля и Ростова, в Новгороде и в Киах. Чтобы спасти уцелевшие от погромов монастыри, я предлагал совместными силами государства и церкви создавать в них «сиротские и воспитательные дома для детей и подростков, богадельни для инвалидов и стариков, лечебницы и приюты для бывших воинов, наркоманов, душевнобольных». Но как возродить, из кого создать десятки и сотни обречённых на многолетнее нищенство монашеских общин? В 1988 году власти разом передали Церкви 80 монастырских руин, в 1989 — ещё 260, почти всё, что сохранилось к тому времени. И умыли руки: теперь всё «ваше», вы и разбирайтесь.

Я перечитывал эти цифры как диагноз жестокого увечья и не знал, что делать. Как заставить советское государство признать церковную ответственность частью общенародной, а не добивать её, передавая нищим общинам? Целый год пытался я опубликовать эту статью. В какие только газеты не обращался. На меня смотрели с сочувствием, обречённо качали головами и отводили глаза:

— М-да... сущая правда. Мы ваш материал всем отделом читали. Столько всего потеряно, ужасно... Но вы же понимаете, главный такую статью ни за что не пропустит.

Кто был для них этот «главный»? Главред или кто-то ещё главнее, ещё вреднее?

В начале мая Бражникова мрачно передала мне ксерокопию только что полученного ею коллективного ответа музейщиков и искусствоведов на публикацию в «Литературке». И нашу необычно короткую встречу закончила в полном молчании. В вестибюле министерства, съёжившись в глубоком, подавленном кресле, я с полчаса читал и перечитывал письмо на десяти с лишним страницах, с полутора сотнями подписей, не считая коллективных (от Музеев Кремля и Загорского, угнездившегося в Троице-Сергиевой Лавре). Кажется, оно так и осталось в самиздатском машинописном варианте и, судя

по всему, было составлено руководством Музеев Московского Кремля — директором Родимцевой и компанией, почти сплошь состоящей из научных дам. Все предыдущие десятилетия все эти партийные чиновники оттачивали свой очередной «ответ церкви». Он оставался неизменным: не ваше и не надейтесь. В письме «глубоко обеспокоенных» специалистов, запуганных своими парторганизациями, ни слова не говорилось о «церковных музеях», создание которых позволило бы преодолеть бессмысленное противопоставление «церковное — общенародное». Никто и не подумал отменить приговор некогда целостностной культуре России, вынесенный после революции коммунистическими идеологами.

Авторы письма предлагали «вернуться к системе церковно-археологических музеев и кабинетов». По сути ничего не менялось. Краеугольным камнем оставалась система превращённых в музеи памятников церковной культуры, к сокровищам которой можно приобщаться лишь по входному билету. Утверждалось, что «именно в музее воспитательное, духовное воздействие русской иконы становится доступным самым широким кругам зрителей». Тошнило от унылого лицемерия. Музейщикам не приходило в голову, что на всеобщее обозрение свои святыни добровольно не отдаст ни мусульманин, ни иудей, ни буддист, ни христианин. Письмо казалось последней, бессильной судорогой госатеизма: «Да и есть ли необходимость уничтожать хорошо работающие центры духовной культуры, какими являются в настоящее время музеи, чтобы укрепить другой центр — церковь?» И далее: «Ни один советский художественный музей не оскорбляет чувства верующих».

Под этой ложью подписались несколько сотен человек, целые коллективы крупнейших музеев Москвы, Подмосковья, Ленинграда, Института Искусствознания и НИИ Истории искусства при Академии Художеств СССР! В отказе клана музейщиков от диалога с Церковью сказалось полное непонимание задач свободной русской культуры. Музей как спецхран церковных сокровищ и их могильник! Этот постыдный абсурд всё ещё никого не смущал. Разумеется, «Литературка» вынуждена была это письмо напечатать, пусть в чуть облагороженном виде. Оно было опубликовано 27-го июля под названием «Опасность крайних решений», с редакционным подзаголовком «О будущем наших храмов», и подписано историком С. Шмидтом, археологом Г. Вагнером, искусствоведами Г. Вздорновым, А. Комечем, Г. Поповым, В. Толстым. Со страниц газеты прозвучал идеологический упрёк авторам первого обращения в «поверхностности представлений о роли культурного наследия в системе ценностей, сложившейся к концу XX века». Разумеется, имела в виду советская система и «советские ценности». Иначе в СССР быть не могло. Далее шёл абсурд, смешение церковного и религиозного, иконописи с живописью на библейские сюжеты. Будто кто-то из авторов первого обращения предлагал возвращать в церковные стены упомянутых в письме Репина и Врубеля. Никто не забывал и «заслуги музейщиков деле спасе-

ния от гибели» памятников церковной культуры, не препятствовал «научной работе» учёных-атеистов. Неужели под сводами действующего храма они боялись лишиться дара мысли? Грустно было от сознания, что именитые авторы письма, как и прежде, лишь выполняли очередное партийное задание и уныло, послушно повторяли уже знакомую ложь: «ни один советский художественный музей не оскорбляет чувства верующих».

На меня нахлынуло отчаяние. Советская система оставалась слепой и неколебимой. И таковой останется. Люди не меняются, если не меняются их души. Знания и даже талант здесь не при чём. Но... как наше слово отзовется. Через неделю, 5 августа, в «Литературке» появилось сразу две публикации в защиту «церковных музеев». Сергей Аверинцев в статье «Дорога к храму» настаивал на возвращении кремлёвских соборов и церкви Василия Блаженного верующим: «Отдавая себе отчёт сложности этой проблемы, я убеждён, что мы должны двигаться к её положительному решению». Он ссылаясь на примеры, существующие «во всех старых городах Европы», упоминал «раннехристианские базилики Рима и Равенны», «капеллу Пацци во Флоренции — шедевр Брунелески», «церковь короля Матиаша» в Будапеште. А в заключение посылал властям скрытый упрёк: «Всегда можно отыскать для здания режим, наименее ему вредящий, не отнимая от него присущей ему ЖИЗНИ». Последнее слово было выделено заглавными буквами.

Рядом красовалась статья известнейшего реставратора Савелия Ямщикова «Прошу уточнить». Он едва сдерживался от гнева: в возвращаемых храмах «нет церковной утвари, иконы иногда пишут на бумаге и поклоняются этим временкам», а в это же время «в запасниках провинциальных музеев хранятся тысячи иконных досок XVIII-XIX веков, до которых никогда не дойдут руки немногочисленных реставраторов». Стыдил музейщиков: «Практика хранения в запасниках столичных музеев сотен отреставрированных икон порочна по своей сути». Это была горькая правда, а не упрёк противникам. Госкомстат РСФСР сообщал в 1990-м году: на один квадратный метр площади музейных фондохранилищ приходится в среднем двести предметов основного фонда, лишь пять процентов из них когда-либо включались в экспозицию.

На радостях я дозволился до Бражниковой в Министерство культуры, но мой порыв был сходу остановлен. Она сухо ответила, что статьи эти читала, но от встречи уклонилась, самым тоном давая понять: обсуждать нам с нею больше нечего. Я бессмысленно вслушивался в короткие телефонные гудки. Все усилия замечательных, умнейших людей, которых я призвал на помощь церкви и культуре, летели прахом. Неужели все мы оказались настолько наивны? Ясно, позиция Бражниковой была согласована с высоким начальством. Чиновники от культуры ничего не хотели менять и попросту выжидали. Перемен в те месяцы ждали все. Кто-то долгожданного отката назад, кто-то продвижения вперёд.

Видимо, тему «церковь и музей» решили на время прикрыть для официальных обсуждений. Пробить стену я попытался с помощью митро-

полита Питирима, влиятельнейшего иерарха. Написал ему прошение, предложил провести «круглый стол» в Издательском отделе Патриархии под привычным названием «Церковь и культура». Аверинцев, Ямщиков и даже осторожная Ирина Антонова, директор ГМИИ, согласились в нём участвовать. Я приготовил текст выступления, намеревался говорить о смысловом парадоксе последних десятилетий, об атеизме культуры, который сменил её прежнее открытое богоборчество, о лишении верующих права на культуру. Человечество взросло у алтарей, величайшие храмы земли вместили в себя души целых народов... Благословения от владыки не последовало. В начале лета Патриархом вместо него избрали Алексия II.

Эта громкая новость многое объясняла, но на несколько недель совершенно выпала из сознания. Как потом выяснилось, митрополит Питирим сделал ставку на Горбачёва, на обещанные им демократические свободы и проиграл. Его эпоха, союза просвещённой церковности и либерального социализма, уходила в прошлое. А будущее вырисовывалось во всех отношениях смутное. Всё чаще и в статьях известных журналистов и в речах руководителей государства звучало слово «свобода». И тихо сводило с ума. В Советском Союзе оно могло означать что угодно. Мы с моими верующими друзьями и знакомыми более всего ждали «освобождения совести». Подпольная жизнь научила обходиться крупинками самиздатских свобод слова, печати и собраний. А без совести, как и без света, выживали лишь приматы. Либералы и консерваторы, «западники» и «почвенники» в годы, начавшиеся после празднования Тысячелетия крещения Руси, искренне радовались тому, что голос Церкви звучал всё громче.

И всё же, вопреки внешним признакам движения к народовластию, в обществе и в наших разговорах усиливалась тревога. Она исходила отовсюду: от массивных зданий в центре Москвы и пустых магазинных прилавков, от тяжести танков на улицах Вильнюса и пустопорожних речей генсека, от республиканских столиц, наполненных протестующими людьми, и пустейших политических теледебатов... В самом начале года в «Литературке», под рубрикой «Как мы проживём этот год?» появилась небольшая статья о. Александра Меня «Тревоги, надежды, планы». С газетных страниц неожиданно прозвучала проповедь, едва скрытая между газетных строк. Он писал об «инерции зла», о «последствиях колоссальной исторической патологии», которые «живут и сейчас в душах людей», а в завершение восклицал, будто с церковного амвона: «я человек без иллюзий, но я верю, что промысел Божий не даст нам погибнуть, и всех, у кого есть искра Божья в сердце, я призываю к тому, чтобы твёрдо стоять и не поддаваться ужасу и панике... Нынешние муки мне чувствуются муками рождения не какого-то там нового мира — это фикция, а просто рождения нормальной человеческой жизни, которой мы были лишены».

9 сентября лишили жизни отца Александра. После Сталина священников в стране не убивали. Удар этой новости пришёлся по миллионам

христиан в СССР. И означал он одно: всем разом затихнуть и не двигаться. Жить в полном послушании. Отец Александр был убит, чтобы всем стало страшно. А стало больно. Голгофская смерть, мученическая. Боль, как после кровавой гематомы, растянулась на годы...

И всё же кремлёвские звёзды на идеологическом небосводе постепенно принимали иную конфигурацию, и на земле происходили немногие, но долгожданные перемены. Эхом полемики в «Литературке» отозвалась для меня передача верующим летом 1990-го года старинной церкви Николы в Клённых на Маросейке, помещения которой больше полувека занимал ЦК ВЛКСМ. И всё же требования Церкви упрямо отвергались советской номенклатурой. Возвращение её достояния началось лишь после распада СССР. В соборе Василия Блаженного первая служба прошла в октябре 1991 года, на престольный праздник Покрова. Президентский указ «О передаче религиозным организациям культовых зданий» вышел в лишь апреле 1993-го года. Обо всём этом я узнал много позже. Спустя годы знакомый московский священник, грустно усмехаясь, рассказал, что среди многоцветных куполов собора на Красной площади скрывались не только громкоговорители и замаскированные посты наблюдения за кремлёвскими окрестностями, но и пулёмётные гнёзда. Я не слишком удивился: падшая власть не имела ничего святого. Никто из подписавших обращение «О будущем наших храмов» даже не подозревал, какой важный «секретный объект» они просили вернуть Церкви для молитв и богослужений.



© Художник Елена Любович

Религиозно-философский теплоход

Празднование Тысячелетия Крещения Руси, несмотря на казенную помпезность этого ещё целиком советского «мероприятия», полностью изменило страну. Запоздалым ответом на 1917-й год в России началась всенародная, бескровная, духовная революция. Она назревала в религиозно-художественном подполье и в коллективном подсознании едва ли не с конца 1950-х годов. Почти незаметно, среди ближайших знакомых, её готовили богослов и тайный монах Алексей Лосев, религиозный живописец Павел Корин, философы Сергей Аверинцев и Пиама Гайдено, автор православных песнопений и молитв Георгий Свиридов, поэт и визионер Даниил Андреев, кинорежиссёр Андрей Тарковский, «свободные мыслители» и мистики Евгений Шифферс, Василий Налимов, Григорий Померанц, писатели, историки, художники-реставраторы и многие другие люди, ярко одарённые, почти безвестные. Религиозная философия становилась темой научных семинаров в институтах Философии и Мировой литературы, докладов на калужских Чтениях памяти Циолковского и в московской библиотеке имени Николая Фёдорова.

Из эмиграции Солженицын и Владимир Максимов призывали возрождать Россию правдой и православием. Им откликались поэты питерской «второй культуры» и московского самиздата. Религиозные искания «неофициальных художников» шли от стилизаций под средневековые до экспериментов, взрывающих сознание обывателя. Поражали прорвавшиеся сквозь цензуру произведения композиторов-авангардистов: символика католического Розария в «Четвертой симфонии с хором» Альфреда Шнитке, хоровая композиция «Богородице Дево радуйся» Арво Пярта, «Апокалипсис» Владимира Мартынова. Архитектурный конкурс 1988 года «Храм 1000-летия Крещения Руси» стал шагом к возрождению церковного зодчества. За ним последовал международный конкурс 1990-го года «Христианское жилище», организованный Союзом архитекторов СССР и уже приобретавшим известность обществом «Радонеж». Неутомимый Георгий Поляченко год за годом организовывал всё более грандиозные международные фестивали церковной музыки. Толпы людей собирались на ежегодные смотры «Православное кино», при Союзе Кинематографистов появилась «Христианская киноассоциация». Возникло стихийное движение «православных церковных братств», эмигрантская литература перестала быть запретной, музеи выпускали на свободу узников спецхрана — шедевры иконописи и религиозной живописи.

Вокруг кипела небывалая жизнь. Я старался всюду успеть — на кинофестивали, концерты ансамблей «Древнерусский распев» и «Сирин», выставки современных иконописцев, вечера христианской поэзии. В людях просыпалась давно забытая, почти отбитая тяга к общению. Знакомые и полужнакомые, мы наперебой зазывали друг друга на крестины, венчания и церковные праздники, зачитывались бывшим религиозным самиздатом, напечатанным в несчётных экземплярах партийными издательствами «Прав-

да» и «Молодая Гвардия». Бросая дела, собирались на нечто «небывалое»: на уникальные выставки, концерты, лекции и так далее.

Впервые возможность открыто обсуждать проблемы русской православной культуры появилась около 1988 года. Разумеется, горстка столичных интеллектуалов писала на эту тему и ранее, но исподволь, в малозаметных и малотиражных «информационных», «библиографических», почти подпольных изданиях. Мы с друзьями прочёсывали киоски МГУ, «Иностранки» или бывшей Румянцевской библиотеки на Моховой, которую из-за слежки за слишком любознательными читателями называли «ленинской ГБ», выискивали среди книг слепо отпечатанные на рыхлой бумаге неприметные сборники с публикациями Аверинцева, Бибихина, Гайденко, Гальцевой, Роднянской. Кому-то доставались на прочтение «инионовские» номерные издания с криминальным религиозно-философским содержанием и грифом «Для служебного пользования». Ясно, для какой «службы» они предназначались.

Тщательнее и дольше всего были «засекречены» православная философия и богословие. Меня же неотвратимо влекло изучение русской религиозной культуры, поиск её целостности и её архетипов, проблема единства и разрывов культурной памяти. Современный, снисходительно признаваемый властями научный язык был найден ещё в 1960-е годы в знаменитых тартусских «Трудах по знаковым системам». Следуя по стопам Юрия Лотмана и Бориса Успенского, я пробовал описать русскую культуру, как единую знаковую систему, основой которой являются «памятники культуры»: археологические, исторические, архитектурные, художественные, литературные. Именно из них, словно из одушевлённых монад, складывалась для меня достоверная история русской культуры. Овеществлённая память — ясновиденье прошлого, оживление мёртвого времени. Эта простейшая мысль наталкивалась на проблему осознания ценности памятников, их забвения или сознательно-го уничтожения, как это произошло в эпохи Раскола, петровских реформ и большевизма. О феномене «памятника культуры» я написал несколько статей и эссе: «К проблеме памяти в истории культуры», «Культурный континуум», «Лицо культуры», «Исторические пустыри». Одни нарочито-заумные, другие журналистские и потому, как я думал, вполне подцензурные.

Опубликовать что-либо о русской и тем более о православной культуре мне фатально не удавалось. И тут я вновь встретился и на некоторое время сблизился с Олегом Генисаретским. В середине 1970-х годов нас познакомила всезнающая и вездесущая Татьяна Савицкая, дала прочесть одну из его статей о входящей тогда в моду «экологии культуры». Вместе мы сходили на публичную лекцию Олега в Историческом музее. Уже забылось, о чём он говорил. Что-то непривычное: о «педагогике хождения по земле», о городском «культурном путешествии». Запомнилось лишь, с каким блеском он излагал свои и чужие мысли, цитируя на память Флоренского, Фёдорова, Бердяева, ссылаясь на полузабытых Никодима Кондакова, создателя «иконнографического метода» описания памятников культуры, и Николая Анциферова, замечательного краеведа, разумеется, репрессированного.

Через полгода, весной 1998-го, накануне празднования Тысячелетия крещения Руси, под редакцией Генисаретского вышел сборник «Эстетическое воспитание и экология культуры» с моей статьёй «Система памятников культуры как модель реальной культуры». Тиражом в 500 экземпляров, подслеповатый, набранный мелкими буквами, интеллигентский даже внешнему по виду. Это было типичное издание времён подцензурной «гласности»: неприметный сборник внутри сборника. Материалы об «эстетическом воспитании» и «музейной практике» существовали для отвода глаз, главным являлся раздел «культурно-экологических проблем» со статьями Е. Шифферса, К. Кедрова, Н. Гаврюшина, главой из тогда ещё подпольной «Розы мира» Д. Андреева, названной «Об истории и педагогике восприятия природы». Себя Генисаретский представил статьёй, крамольное название которой более всего выражало дух времени: «Хождение к святыням: философия путешестввенности И.М. Гревса».

Генисаретский являлся одним из первых культурологов «постсоветской» направленности. Вскоре я познакомился и с его друзьями из религиозно-философского общества «Путь». Для властей оно носило безликое название «Центр гуманитарных исследований и программ», кочевало по клубам, библиотекам и каким-то лекториям. Никто не боялся стукачей и шизоидных стариков-коммунистов. «Путейцы» слушали чей-то доклад и с жаром обменивались мнениями. Вёл вечера Генисаретский, умно, изящно, с неизменной доброжелательностью. Происходило углублённое осмысление наследия «русского религиозного возрождения» первых десятилетий XX века. Философские, богословские, эстетические и общественные идеи эмиграции и дореволюционных мыслителей проецировались в настоящее и будущее России. В этом кругу особенно почитали Соловьёва, Флоренского, Бердяева, Лосева, часто поминали Николая Фёдорова и Льва Гумилёва. Иногда доходило и до крайностей. Математик и переводчик джойсовского «Улисса» Сергей Хоружий на одном из докладов попытался обосновать создание «философии евхаристии» и других церковных таинств. Я не выдержал:

— Должны же сохраняться «экологические границы» между философией и религией... Церковные таинства и божественная тайна не могут быть темами философских рассуждений. Непознаваемое по определению останется непознанным, но при этом не перестанет быть религиозной истиной. Божественная тайна выше «тьмы низких истин» и неподвластна философским толкованиям. Тогда зачем они нужны?

Докладчик резко отверг мои возражения, остальные промолчали. В тот вечер я понял, что от «путейцев» пора постепенно отходить. Свой путь видел уже иначе. К тому времени у меня была закончена статья «Иконосфера русской культуры», но обсудить её в подходящей среде мне так и не удалось. Я сделал иначе: в начале лета с помощью знакомого литературоведа отправил её в Париж к Никите Струве, в знаменитый «Вестник РХД».

Всего двенадцать лет назад чтение этого журнала и другой эмигрантской литературы привело к моему изгнанию из Института Искусствозна-

ния и аспирантуры Истфака МГУ, к низвержению на московское «интеллектуальное дно» — без права работы по специальности и публикаций в серьёзных изданиях. Опубликуют ли «Иконосферу» в свободной Европе? Этот вопрос не выходил из головы до тех пор, пока мне не довелось встретиться со Струве лично. Кажется, это произошло в сентябре того же года, после одного из его выступлений в Библиотеке Иностранной Литературы. Он уже спускался по лестнице, и мне пришлось его окликнуть. Струве кивнул, почти не глядя и не сбавляя шагов, прошёл мимо. Но вопрос о судьбе «Иконосферы» остановил его прямо на ступеньках:

— Так вы что?.. Вы автор?

— Да. Я не мог нигде опубликовать эту работу. И потому переслал вам.

— И правильно сделали. «Вестник» публикуется для вечности... — Струве, окруженный какими-то людьми, многозначительно разглядывал меня и поплёскивал оправой очков. — Мне передали вашу статью. Она выйдет в будущем году, в одном из ближайших номеров. Надеюсь, вы сумеете в Москве как-то получить авторский экземпляр. Помочь в этом не обещаю.

Струве сухо кивнул на прощанье и продолжил спускаться. Толпа спутников последовала за ним, а я остался стоять, ухватившись за перила. На миг пошла кругом голова. Железный занавес треснул, и я почувствовал незнакомую свободу. Свободу не только думать и писать, но и жить написанным. Преодолеть проклятье письменного стола. Выйти из своего внутреннего мира в мир окружающий, сделать шаг в «будущее время».

Осенью Генисаретский, несмотря ни на что, пригласил меня на «культурно-экологическую акцию» под названием «Возрождение». Она должна была проходить во время круиза на теплоходе по верховьям Волги. Намечалось нечто патетическое и серьёзное. Аксию поддерживали творческие союзы, общественные организации, местные органы культуры и даже недавно возникший Парламент России. Её целями значилось: «нахождение точек соприкосновения радикально-демократических, культурно-экологических и религиозно-культурных сил России, заинтересованных в создании подлинно свободного общества», «разработка предложений по развитию национальных и религиозных кинематографий России» и многое иное.

Главным организатором акции явился только что возникший Союз кинематографистов России, и руководил ею кинорежиссёр Элем Климов. Его усилиями уже третий год по стране шествовал некогда запрещённый к показу фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Знаменитая концовка носилась в воздухе, встревала во все наши разговоры, казалась пророческой: «Зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму?».

Нам предстояло добраться до Углича и Череповца, заехать в Ферапонтово и Кирилло-Белозерский монастырь, затем спуститься к Ярославлю, Костроме и вернуться в Москву. Вечером 12 октября на теплоходе «Константин Симонов» в девятидневную «кругосветку» отправилось сообще-

ство из сотни мало друг с другом знакомых, замечательных людей. Поначалу многие стояли на палубах и напряжённо всматривались в близкие берега, окраины Москвы и первые шлюзы. Думаю, почти все из нас читали в «Архипелаге» Солженицына про эти места, про Дмитлаг, в котором собрали двести тысяч заключённых. Погиб каждый десятый. Их стоны, проклятия и молитвы были замурованы в бетонные стены канала, залиты мёртвой водой. Казалось, мы плыли в преисподнюю, по адским кругам, развёрнутым в нескончаемую анфиладу. Погружались в пучину перед створами огромных железных ворот. Потом перед следующими. Каждый раз меркнул свет, грохотала вода, скрежетали стальные механизмы. . . Вскоре на палубе никого не осталось. Я спустился в тёплый холл, чтобы кончилось наваждение. Вряд ли я и мои спутники, люди искусства и мысли, интеллигенты и эрудиты, сумели бы выжить в Гулаге. Они лучше многих политиков понимали, что теперь главное для страны — вновь не рухнуть в кровавый коммунизм. Держаться всеми силами, думать, верить, творить.

Мы плыли в «христианское будущее» России: режиссёры Элем Климов и Ренита Григорьева, философы Олег Генисаретский и парижская эмигрантка Татьяна Горичева, православные кинодокументалисты Валентина Матвеева и Тамара Якжина, главный редактор журнала «Церковь» старообрядец Александр Антонов и скромнейший, никому неизвестный тверской иеромонах Сергей, критики из «Литгазеты» Алла Латынина и Светлана Селиванова, киноактёры Маргарита Терехова и Вацлав Дворжецкий, председатель Ассоциации «Христианское кино» Латавра Дуларидзе, историки, культурологи, музейщики, журналисты. В последний день к нам неожиданно присоединились несколько французских искусствоведов и швейцарских экологов. На задней палубе всю неделю действовал руководимый мною плавучий семинар «Церковь и культура». На передней, верхней и нижней палубах работали другие группы: «Культура и будущее России», «Культура и образование», «Региональные культурно-экологические проблемы», «Региональный кинематограф», «Пресс-группа». Названия остальных стёрлись из памяти.

Вместе с рекой в глаза струились минувшие десятилетия, столетия. Ранили правдой и лечили надеждой. Земля скорби и величия. Каждый раз она восстанавливалась после разрушений. Каждый раз создавала себя заново. Эти нескончаемые руины — лишь очередной, самый страшный приговор. И приведён в исполнение он был не столько врагами России, сколько самоубийцами. От их безумия спаслись немногие и немного. Святыни, как на войне, скрылись в развалинах. Окаменевшим монахом-столпником стыла в ледяных волнах несокрушимая калязинская колокольня. Покорно припадали к земле серые деревенские избы. Растерзанные, поставленные на колени города безмолвно провожали столичный теплоход. В сумерках дрожали огоньки и казались поминальными свечами. Замученная, лишённая себя страна, умертвлённая вера, ввергну-

тый в нищенство народ, изуродованная природа — всё жило непонятной, неподвижной, неостановимой жизнью.

На корабельном носу трепетал флажок, запахи реки, прелой осенней травы, дизельного дыма проникали прямо в мозг. Гул мотора тонул в монастырской тишине. Сквозь морозящую тьму приоткрывалась огромная, непостижимая родина. Сырой ветер терзал и леденил душу, давил на веки. А в это время внутри теплохода кипели знакомые столичные споры, официантки накрывали к ужину столы, пахло вкусной едой, духами и дорогими сигаретами. Поездка казалась радостным и бессмысленным путешествием в страну страданий. Года три я не покидал столицы и не мог представить, что совсем рядом в тяжелой болезни давно опрокинулась навзничь и обмерла земля. Теряя последние силы? Или собираясь с силами? Не мог понять, что мы все сможем сделать, добравшись до её изголовья?

В Угличе, на первой же остановке, напрочь забылась Москва. Догорали остатки заката, в темноте звучала пьяная нескладная женская песня, тянуло печным дымком, у причала плескалась мелкая зыбкая волна.

— Как здесь холодно! — совсем рядом произнёс по-французски молодой женский голосок.

— Подожди, Россия ещё впереди, — ответил с усмешкой невидимый, уверенный баритон.

И я почувствовал, что не смогу промолчать. Что должен немедленно вступить в этот чужеземный разговор и без конца, без усталости объяснять кому-то и самому себе эту распластанную землю, знобящий нескончаемый ветер, ночное заснеженное небо и неведомые горькие голоса.

Так я познакомился с французами и особенно сблизился с двумя из них, с Брижит и Филиппом. Наше недельное общение многое изменило в моей жизни. Быстро вспомнился французский, который я когда-то хорошо знал. Мои новые знакомые оказались теми, кто путешествует сердцем. Как и люди моего круга, в жизни они искали самое главное — веру, шли к истокам, пили от всех источников. Я хотел, чтобы им открылся смысл едва заметных вещей. Истолковать забытое, понять вместе с ними древнюю отвергнутую красоту, замереть перед святыней, дать почувствовать тайну нашей веры и молчаливой, упорной любви, наше бесстрашие в смерти и неукротимую жажду воскресения. Иначе чего стоили моя учёба в университете, тысячи прочитанных книг, непрестанное изучение русской культуры, мои статьи о ней, замыслы книг, да и само моё православие.

Наш разговор с первых же слов рывками пошёл вглубь: на пристани, в шумном холле, за столиком в пустынном фойе, в моей каюте. Я сбивался, мучительно подбирал слова, умолкал. Мне подсказывали, отвечали удивлёнными вопросами, одобрительными взглядами и кивками головы. Через несколько часов, в Ярославле, мы спустились на землю друзьями. Христианами, преодолевшими тысячелетнюю схизму.

Стояла глубокая ночь, но спать никто из нас и не думал. На набережной в речном тумане высились белые церкви. Вокруг не было ни души, ни звука.

— Мы много где уже побывали. И на Западе, и на Востоке. Но таких храмов никогда не видели, — шептала Брижит. — Их только вблизи можно понять, вместе со всем, что вокруг.

— Да, на фотографиях наши церкви выглядят по-другому. Как-то неправдоподобно, — я удивился точности её взгляда, а в ответ на её следующую фразу у меня дрогнуло сердце.

— Они были построены для невыносимо трудной жизни. В ней было так мало человеческого и так много Бога!

— А разве во Франции по-другому? У вас ведь тоже были и революции и войны.

— Были. И мы очень многое потеряли, — ответил Филипп, его голос в темноте звучал нереально, как и французская речь. — Но это другие потери. В России красота простая, она граничит с природой и с нею сливается. У нас красота сложная. Каждый собор — это целый город.

Я согласился, но не стал говорить о различиях культуры камня и культуры дерева:

— В России храмы строили, чтобы они нравились Богу, а не людям. Вкусы и стили меняются, лишь божественное неизменно.

— Конечно, но каждое поколение должно пройти свой путь к Богу, принести Богу свою красоту.

— Новые поколения лишь продолжают древний путь или сворачивают с него. В наших церквях мало архитектуры. Они предельно просты. Это лишь окаменевшие народные молитвы, — перебил я. — Посмотрите! Ведь это не произведения искусства, это произведения веры.

— А как же ваши иконы? Они так утончённы, так безумно красивы! — перебила Брижит. — Правда, я видела их только в репродукциях. Мечтаю посмотреть вблизи, как на лица людей смотрят.

— Верно, у икон совсем другой язык. Икона всегда внутри дома или внутри храма. Архитектура обращена в мир, её определяет небо. Не мы выбирали нашу природу. Готика не выдержит русскую зиму, снегопады, оттепели, морозы. Понимаете?

— А почему вы целуете иконы?

— Потому что иконы не мёртвые предметы, как туфля у римского Папы. Простите, конечно. В иконах почитают особую, тайно живущую священную земную плоть. Они для нас вроде мошей. Иконы — это сверхъестественные духовные существа, обладающие зримыми «лика́ми» и священной энергией. Которую в Европе по ошибке называют «аурой».

Брижит и её спутник переглянулись:

— Никогда не думал об этом, — произнёс Филипп. — Это совсем другой подход. Интересно.

В Костроме участников «акции» возили по городу на туристическом автобусе с гидом, и мне приходилось переводить. Но лучше бы я сам всё рассказывал французам по существу, а не сыпал именами и датами.

В Ипатьевском монастыре мне удалось ненадолго отвести их в сторону и показать деревянную Преображенскую церквушку начала XVII века. Она словно парила над землёй на столбах-опорах.

— Всем в музее рассказывают, что эти столбы были нужны, чтобы защитить храм весною от разлива реки. Но в низких местах церкви обычно не ставили. Есть другое объяснение, богословское. Посмотрите, храм едва касается земли. Будто его возводили не от основания к небу, как возводятся храмы всех религий, а мысленно и сверху вниз. Он словно рождается в небе, изливается к земле и повисает над её поверхностью. Это архитектура божественных энергий, которые творят себе земной храм с помощью архитектора. Церковь словно нисходит к людям свыше, её строители воплощают божественный замысел в сотворчестве с Софией Премудростью. Помните выражение в Библии: «Премудрость созда себе дом...»? Именно так был создан Иерусалимский Храм. Перед вами средневековая русская «антиготика», если хотите...

— Невероятно. Но, пожалуй, ты прав. Это духовная, строго божественная архитектура. При всей моей любви к готике, — Филипп щурил глаза, покусывал губы и задумчиво качал головой.

— Поверь, я очень люблю готику. Это величайшее искусство. Но совсем другое. И потому, наверное, у западного христианства совсем другая судьба.

Вечером на теплоходе я пересказал наш разговор Татьяне.

— Да, устремление ввысь не может длиться бесконечно, — кивнула она. — В конце концов наступает усталость и надрыв веры. Сейчас это повсюду происходит на Западе. Только смиренная вера по-настоящему стойка. Но Бог милостив...

Этот наш разговор мы не стали переводить французам.

После ужина всех иностранцев и меня вместе с Татьяной потащили в центр ресторанный зала. Там, собравшись около одного из столов, уставленного бутылками водки и закусками, два десятка человек, забыв, кто есть кто, распевали русские песни. Французы хлопали в ладоши, кричали «Браво!» и упорно отнекивались от просьб спеть в ответ.

— Вы как итальянцы. Поёте по любому поводу и без повода, — смеялась Брижит.

Кто-то из швейцарцев уверял, переходя с русского на немецкий:

— Мы не умеем петь... Мы спеть не сможем как вы, только испортим вечер.

— Пойте, как можете!! — кричали в ответ.

— Чтобы петь, должна быть причина.

— Какая может быть причина для песни? — перебила Татьяна по-немецки.

— Праздник, например, — произнесла по-русски с сильным акцентом одна из экологов.

— Праздник легко создать! — воскликнула Татьяна. — Из ничего. Было бы желание.

Гости вежливо кивнули и отошли в сторону. Швейцарцы исчезли. Через четверть часа, изрядно пошептавшись между собою в углу зала, французы вернулись и спели несколько своих песен. Неумело, тихо, очень трогательно. Сорвали аплодисменты, вызвали в ответ громогласный хор степных, неукротимых голосов. В нижнем холле звучала музыка, в полутьме и мельтешении бегущих огоньков половина корабля пьяно плыла в вечном танго.

Череповец встретил «возрожденцев» хлебом-солью и речами от властей города. Элем Климов первым прошёл под рушником с красной оторочкой. В гостеприимный город его и следом всех нас увлекла девушка в сарафане и платочке. Рядом стояли и пели что-то обрядово-народное её подружки в сарафанах поверх пальто и два мужичка в шёлковых кушаках и пиджачных брюках. Воскресенье только начиналось. Неподаляку от причала золотился церковный куполок. Кто-то из встречающих кивнул на него со словами:

— Действующая. Недавно открыли...

Французы двинулись в ту сторону. Оглянулись на рушник, но ничего не сказали. Подходила к концу литургия, песнопениям вторил тяжёлый, звучный дьяконский бас. Дрожали и сладковато чадили огоньки множества свечей, двигалась очередь к чаше. Мимо нас плыли крестообразно сложенные руки, белые платочки, широко раскрытые глаза.

— Как красиво поют, какие у всех лица. Сегодня православный праздник? — тихо и неотступно вопрошали то Брижит, то её муж.

Я попытался шёпотом объяснить, что эту церквушку недавно вернули верующим. И теперь каждое воскресенье здесь у людей Пасха — восстание храма и людских душ из мёртвых руин.

По дороге в Ферапонтово наш автобус то дробно подпрыгивал на выбитом, обглоданном по краям асфальте, то грузно заваливался набок, вызывая на иноземных лицах ужас неминуемой катастрофы. А внезапная, почти всеобщая, давно изгнанная из жизни древняя песня лишь взмывала на ухабах хором голосов. В окнах сквозь дождевые штрихи тянулись сырые и бескровные северные перелески. Мы с Филиппом и Татьяной рассуждали о христианской культуре, в которой центр везде и окраин нет. О потере себя в мире и обретении «приюта души», где неподвижность и тишина исцеляют душу и открывают глаза. Темнеет жизнь светская, светлеет жизнь каждодневная.

Кирилло-Белозерский монастырь, десятилетиями заточённый в советском музее, безжизненно живой, расстриженный и безгрешный, спасённый Богом. Нас встретил немолодой человек с едва слышным высоким голосом, представился: «Валерий Васильевич, экскурсовод». Повёл за собой, рассказывая о здешних старцах, обветшалых храмах и нетленной красоте.

— Как вы думаете? Отроется здесь когда-нибудь монастырь, будут ли монахи? — спросил его Филипп.

Он ответил взглядом, отрешённо-голубым, как северное небо:

— Есть монахи в рясе, есть монахи в душе...

Хрупкотелый, многодумный, знающий наизусть пять веков здешней истории. Как перевести его слова на другой язык, на иную, пусть близкую веру? Как объяснить отрешение от себя и прошлого, жизнь в молитвенном одиночестве — в приёмном покое у Бога? Вот он и есть монах — новый послушник Кирилла Белозерского. А вокруг него невидимый монастырь, тот самый, который никакие большевики не могли и никогда не смогут закрыть, если хоть один человек открыл его для себя.

— Кажется, я понимаю. Русская вера внутри, а снаружи может казаться чем угодно, — заключил Филипп.

— Да, а сверху заросла диким коммунизмом... — хотел я сказать, но не подыскал французских слов.

В надвратной монастырской церкви окна были чем-то заложены или заставлены, видимо, для тепла. Горело несколько свечек, мерцала иконная позолота. Невысокая старушка неприметно стыла в углу, крестясь и собирая с подсвечника стекший воск. Маленькое помещение казалось часовней и пахло храмом. Мы втроём стояли на пороге. Французы томились любопытством, но не решались войти.

— Скажите, бабушка, это церковь? Или музей? — осторожно начал я.

— Для кого как, — ответила старушка и зорко глянула на меня и моих спутников.

— На часовню похоже. Прямо не верится.

— Она и есть часовня, — тихо сказала она, будто раскрывая тайну. — А прежде церковь была тут. Я ещё девчонкой в ней молилась. А потом тут всё разорили...

— А кто же восстановил?

Мои спутники, не понимая ни слова, топтались у двери и поглядывали на нас.

— Музей наш. Нонешней весною листаврацию тут делали. Меня всё спрашивали, где да как тут было.

— А вы здесь... от музея или от церкви? — начал я догадываться, усмехнулся своему «церковному музею» и сделал знак французам, чтобы входили.

— От музея. Смотрю тут за всем, прибираюсь, на ключ запираю. Сама напросилась. Прежде я в палатах смотрела за порядком, там, где выставка. Видали небось.

Я кивнул и не удержался:

— А свечки тут откуда? Это ж не музейное?

— А сами-то вы откуда? — опять на всякий случай прищурилась смотрительница. — Ни с управления?

— Совсем нет. Мы все издалека. А к иконам можно приложиться?

— Коли веруете, как нельзя? Для того и сторожу тут.

— И свечи ставите?

— Ставлю. Мне батюшка благословил, — она понизила голос, поглядывая на непривычную одежду французов. — Он после Троицы раз пришёл тайком со мной и всё тут освятил, от поругания бесовского. И Псалтырю каждый день читать мне наказал, отмаливать место святое.

— И вы читаете?

— Читаю, но не в голос. Вроде как книгу обычную.

Я изумлённо качнул головой, подошёл к старинной иконе без оклада, перекрестился и повернулся к французам. Они так и не поняли, куда попали. И позже не сразу поверили в невероятную историю про «церковь в музее».

— Они из Парижа, — представил я своих спутников. — По-русски не понимают, но очень любят Россию. Вот, приехали к вам в гости.

Старушка улыбнулась и наклонила голову, будто приглашая:

— Тогда милости просим. С какой дали к нам пожаловали! Дай Бог здоровья, — она перекрестилась на иконы.

Я перевёл. Брижит в который раз переглянулась с мужем, потом со мною:

— Скажи ей, что мы хотим тут помолиться, если можно. А она монашка?

В ответ на мой вопрос старушка сначала кивнула, а потом нахмурилась и поджала губы.

— Да какая уж монашка. Работница простая... Вы если помолиться хотите, то батюшка благословил таким людям свечи давать, — она вынула из обувной коробки и протянула нам три тоненьких свечи. Отмахнулась от моей руки с рублём и от кошелька Брижит: — Не велено тут денег брать. Это ить по Божьей милости свечи. В музее они запретные.

— Как же вы тут ухитряетесь?..

— А так вот. Батюшка отмолил часовенку эту, вроде её никто из начальства не видит теперя. Он-то и есть истинный монах, а я чего... Послушница.

На долгую минуту все замерли в полном молчании, стали одним целым. Потрескивали и мерцали свечи, шептали старушечьи губы.

Я украдкой глянул на часы и показал всем на циферблат: через четверть часа отъезжал наш автобус. Брижит блеснула глазами и пошептала с мужем:

— Скажи, что я хочу сделать ей маленький подарок на прощанье, и протянула коробочку с духами. Я округлил глаза: «Ив Сен Лоран».

— Что это? — старушка недоумённо выпрямилась.

— Духи французские. Очень хорошие. На память вам от парижан.

— Да зачем они мне?

— Ну, как? На праздник надушитесь. В церковь пойдёте. Пахнуть от вас будет замечательно, — попытался я объяснить и услышал обиженный вопрос:

— Да что ж я плохо пахну что ли?

— Что она говорит? Переведи, это мы от всего сердца, — трясла меня за плечо Брижит.

— Совсем не то... — не мог сдержать я улыбки. — Духи для всех женщин, и молодых и пожилых. У духов особый запах, радостный, праздничный.

— А не обидится она, — старушка быстро глянула на Брижит, — если я для дочки своей возьму? Мне-то куда? А дочка на ферме работает, за скотиной ходит. Ей они пригодятся. Дух отбить.

Я осторожно перевёл. Поняв желание старушки, Брижит поколебалась несколько мгновений, просветлела лицом и внезапно её поцеловала.

— Ну, тогда по-русски, — ответила та троекратным поцелуем и с поклоном взяла подарок.

— Она совсем как монашка. Настоящая русская «бабушкá». Я и мечтать не могла, что когда-нибудь такую встречу, — Брижит на ходу всё оглядывалась на монастырь и надвратную церковь с мёртвыми, заколоченными окнами.

— У неё лицо, как на иконе, — восклицал Филипп. — И вообще всё это невероятно. Совершенно невероятно. В государственном музее — часовня, иконы, свечи. На Западе это просто невозможно представить.

— Немыслимо, — Брижит довольно мотала головой и улыбалась. — Абсолютно.

— Так это же Россия, — не смог я удержаться. — Теперь понимаете, что люди здесь по-другому верят? Что даже неверующие под Богом ходят?

Вечером во Дворце культуры Череповца, похожем на провинциальный театр с античным сталинским портиком, нас ждала организованная властями «встреча с городской общественностью». Тема публичной дискуссии «Церковь и культура» была заявлена заранее и привлекла множество людей. На сцене располагалась моя рабочая группа и другие «возрожденцы». Я рассказывал о письме в «Литгазете», о необходимости создания «церковных музеев» и российского закона о свободе совести, который должен сменить советский. Потом выступали другие, говорили о церкви, вере, государстве, культуре... Из зала задавали вопросы, выкрикивали несогласия и протесты:

— Надо возрождать культуру и приобщать к ней народ! А вы вместе с церковниками хотите затолкать всех в невежество и средневековье. Не стыдно? Двадцать первый век наступает.

— Но может и не наступить! Если наступит конец человека, наступит конец всему! Только вера может нас спасти!

Не помню, кто это говорил. Многие из присутствующих могли бы повторить эти слова. И тут на опустевшую сцену вышла Маргарита Терехова. Её сразу узнали. Она подождала, пока утихнут аплодисменты, слегка пошатываясь, спросила, и голос показался неприлично пьяным:

— Кому из нас, из вас... нужен Кирилло-Белозерский «музей»? — последнее слово она громко и театрально прошипела. — Кучке партийных чиновников и музейных тёток? Конечно, музейщикам следует низко поклониться! Всё, что можно было спасти, они спасли, сохранили камни и даже иконы. Но зачем сохранили, если вокруг люди спиваются, молодёжь дичает? Нам всем не музей, а монастырь нужен! Мне он нужен! Не для того, чтобы на стены да на иконы глазеть, а чтобы душу спасти... — повернулась, пошатнулась и нетвёрдо пошла за сцену, у самых кулис разрыдалась.

Разразилось молчание такой силы, что шёпот Брижит показался громом:

— Что она сказала? Почему заплакала?

— Потом. Потом объясню. Если смогу.

Всё, что говорилось после на сцене, в зале и на улице, уже не имело значения.

Во время всего путешествия Терехову не воспринимали всерьёз. С первого до последнего дня она «не просыхала». Её издали жалели, вблизи сторонились. Я подходил к ней несколько раз, здоровался, в голове вертелся умный, сложный вопрос: «Вы не думаете, что сюжет „Соляриса“ — это рассказ о посмертных мытарствах души, о прозрении и покаянии? Правда ли, что в фильмах Тарковского актёры сообщая составляют душу человека, играют совесть?». Задать этот вопрос я так и не решился. Не знаю, что бы она ответила. До сих пор жалею.

В один из вечеров в верхнем корабельном зале показали документальный фильм Виктора Косаковского «Лосев», снятый в самом конце жизни философа и богослова. Последний представитель русского религиозного возрождения обращался к нашему поколению с духовным завещанием. Всего несколько слов об онтологии свободы и судьбы: Бог — носитель абсолютной свободы, человек — носитель судьбы... Лосев не объяснял, лишь подводил к тому, что из этого следовало. Младенческая душа целиком подвластна судьбе. Лишь вера, разум и воля вместе ведут её к совершенству, к освобождению. Судьба и свобода сливаются в религиозной вере.

Я пытался по ходу что-то объяснить парижанам, но так и не смог. Рядом сидела Татьяна и тоже молчала, пока не закончился этот фильм-проповедь. Прощальное целование и похороны Лосева особенно потрясли французов:

— Во Франции закон требует закрывать лица умерших. А вы в России хороните их с открытыми лицами, целуете, как живых. Почему?

— Потому, что суть православия — воскресение из мёртвых, Пасха! — с жаром воскликнула Татьяна. — Без этой веры христианство немис-

лимо. В католицизме главный праздник — Рождество, боговоплощение. Но у вас лишь «альфа», а у нас — «омега», которая включает в себя всё! Кончина для православного — только начало новой жизни, в ином теле.

Я лихорадочно подбираю слова:

— Понимаете, в миг смерти лицо становится ликом, душа обретает зримый облик, уподобляется телесной иконе. Но это в идеале. К своему последнему образу христианин возвышается всю жизнь. На вере в преображение, в обожение плоти основана вся мистика православной иконописи. Иначе икону не понять. А католицизм заменил её живописным портретом Бога и святых. Потом фотографий...

Мои друзья молча кивали, и мне подумалось, что мы обидели или разочаровали их нашими объяснениями. Перед лицом смерти различие двух ветвей христианства оказалось слишком велико.

После ужина в том же зале Алла Александровна, вдова поэта, читала на память стихи Даниила Андреева. Несгибаемая, не имевшая ни тела, ни возраста. Только глаза и голос. Мне лишь однажды довелось по слепой машинописи немного познакомиться с христианской поэзией Андреева, которого все считали внерелигиозным «эзотериком». Удивительные строки воспламенялись в мозгу. Вновь вспоминались отрывки из поэмы «Русские боги», из «Двенадцати Евангелий» и эта пронзительная, «гулаговская» молитва:

Единимся бодрящим гимном,
Задышаемся... Помогите нам,
Хоть на миг бетон расторгая,
Всемогущая! Всеблагая!

В последнюю ночь перед Москвой я и несколько французов оказались на палубе рядом с Элемом Климовым. Он был ощутимо пьян, глубоко вдыхал холодную речную сырость, вглядывался в пустынные берега и мучительно молчал. Мы пошептались и решили оставить его одного.

— Не уходите! — он резко повернулся. — Прошу вас, переведите им... Пусть смотрят в эту тьму. Пусть вместе с нами пытаются разглядеть в этой бедной, искалеченной стране когда-то великую Россию. Что мы, русские, можем теперь для неё сделать? Многое и почти ничего. Чтобы возродить эту землю, нужно возродить её народ, а чтобы возродить народ, должны возродиться наши души. В этом смысл нашей акции, понимаете? Нам самим нужно возродиться, нам! Всё остальное потом. Мы никогда не станем русской интеллигенцией, если не покаемся. Наши предки были первыми большевиками, мы должны стать последними, похоронить большевизм в себе, вокруг себя. Нет другого пути. Если у нас есть вера, хоть капля веры, есть и будущее. Только тогда наша страна очнётся. Я знаю свой народ. Я верю в него! Скажите им: я верю!

Климов нахмурился, махнул рукой и ушёл на носовую палубу. Пропал в темноте. Больше я никогда его не видел. Менее, чем через год Советская Россия исчезла. Шумная, искренняя, прекраснотдушная, интеллигентская акция под названием «Возрождение» закончилась. «Религиозно-философский» теплоход вернулся на родину. Чтобы соединились эпохи и когда-нибудь началось наше всеобщее, мучительное возрождение.

Наши святыни

Моя работа над статьями и книгами была на время забыта. После плавания вглубь России меня не оставляли мысли о важнейшем общем долге, о восстановлении цельности отечественной культуры. Казалось, что настало время для возрождения святынь русского православия силами всего «христианского мира». На наших глазах будто повторялась эпоха Ивана III. Россия, едва освободившись от власти монгольской орды, возвращалась в полуродную и полузабытую Европу. Русская самобытность рождалась в спорах с Западом, а не в войнах с Евразией. Тогда итальянцы-католики помогли возвести сердце «третьего Рима» — Московский кремль и его соборы. Теперь Россия вновь обретала свободу. Ослабленная, терзаемая изнутри бесчисленными бедами и смутами, она нуждалась в помощи. Распад советской системы угрожал миру всеобщей катастрофой. Я был убеждён, что воссоздание народовластия может начаться лишь с исцеления народного духа — с возрождения религиозных святынь. Многие из них находились под охраной ЮНЕСКО, но пребывали в самом плачевном состоянии. Я решил во что бы то ни стало найти средства для «эталонной реставрации» хотя бы нескольких, самых выдающихся памятников церковной культуры. Вокруг этой идеи попытался объединить известнейших людей Запада, совместно с ними создать международное сообщество и, преодолевая сопротивление советских чиновников, действовать под его эгидой.

С такими намерениями я пришёл на Первый Международный конгресс памяти Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека», проходивший 21-25 мая 1991 года в гостинице «Россия». Выступления гостей с разных континентов меня не вдохновили: все они были посвящены политической борьбе с советским тоталитаризмом. Удивляло, как мало общего было у них с Солженицыным, насколько равнодушны были эти международные защитники прав человека к защите прав верующих. Важнейшим из этих прав я считал «право на религиозные святыни». Подмывало уйти, но я всё же решил испытать судьбу до конца. Михаил Бахтин назвал бы моё поведение отчаянной попыткой осознать «пределы наивности». Не только я, все, кроме рьяных коммунистов, в те годы были заражены, заряжены верой в общечеловеческое единство, в конец эпохи «национально-демократических» революций, «освободительных» войн и классовой борьбы.

Вечером вместе с гостями конгресса я пошёл Большой зал Консерватории на концерт памяти Сахарова. Билета у меня не было, но я рассчитывал на удачу. В консерваторском фойе среди толпы сразу узнал выступавшего на конгрессе Витторио Страда из Италии. Подошёл, извинился и сходу рассказал об идее создания ассоциации для возрождения памятников русской православной культуры. Показал заранее заготовленное письмо на трёх языках. Страда внимательно прочел, взгляделся в меня и... сказал, что поддерживает. Рядом стояла его русская жена и одобрительно кивала головой. Он тут же подписался под письмом, более того, провёл меня за собою в зал и усадил неподалёку от себя, на свободное гостевое место в первом ряду. Стало ясно, что Страда был на конгрессе далеко не последним из приглашённых.

Я сидел в десяти метрах от правительственной ложи. На крайнем кресле плечом к плечу со мною высилась атлетическая фигура. За пару минут до поднятия занавеса в ложу вошёл Горбачёв с супругой. Зал стоя приветствовал их аплодисментами. Выступали выдающиеся артисты, но я запомнил лишь виолончель Мстислава Ростроповича, его лицо, уплывающее в беспредельность. Не помню, почему у меня в парадном пиджаке оказалась открытка с иконой Владимирской Богородицы. В канун Нового года она была издана при моём участии эфемерным московским обществом «Икона». В антракте я вынул открытку, показал могучему соседу и спросил, можно ли подарить её Горбачёву. Тот оглядел открытку со всех сторон и сказал: «Можно».

Я подошёл к ложе:

— Михаил Сергеевич, наше общество «Икона» недавно издало первую в СССР открытку с изображением Богородицы. Спасибо за эту возможность. Хочу вам подарить открытку. Вы не против?

— Что это? — Горбачёв небрежно глянул на меня, взял открытку и молча передал жене.

— Красиво у вас поучилось! — улыбнулась она, голос прозвучал приветливо. — Спасибо.

Я кивнул и рассеянно сел на место, рядом с пугающе внимательным соседом. Ну, а что я желал услышать от Горбачёва? Ведь для него советская открытка с иконой Богородицы, церковные сокровища да и сама религиозная свобода не более, чем неизбежные, пусть и нежелательные последствия его либерального курса.

На следующий день в гостиницу «Россия» я шёл на правах официального гостя. К лацкану пиджака был приколот бадж участника, за просто полученный в секретариате. Приветливая женщина быстро впечатала мою фамилию в какой-то список, даже не спросив паспорта. Меня это потрясло: советская система здесь не действовала. Вся гостиница на несколько дней превратилась в посольство западных демократий. Без труда я узнал, в каких номерах остановились знакомые мне по самиздату Роберт Конквест, автор книги «Большой террор», и историк Ричард Пайпс. Их я решил привлечь к поддержке вслед за Страдой и на ходу обдумывал

дальнейшие возможности. Тут меня постигла полная неудача, которая поначалу казалась успехом.

Вечером, после окончания второго дня конгресса, я поднялся на верхние этажи гостиницы и пошёл вдоль одинаковых, глухих, почти кабинетных дверей, мимо холлов, обставленных со скучной интуристской добротностью, и консьержек с пристальными взглядами. Конквест не сразу отозвался на стук, внезапно открыл дверь и удивлённо глянул на меня. Я объяснил ему мою цель, он кивнул, жестом пригласил войти и указал на кресло перед журнальным столиком. Сел напротив, углубился в чтение письма, затем поднял голову и произнёс, с интересом глядя на меня:

— Для современной России это неплохой проект. Может быть, даже нужный проект. Но я агностик, — мне показалось, в его голосе скользнуло извинение.

— Жаль, что вы не поддерживаете эту идею. В проекте могут участвовать люди разных убеждений, разных религий. Главное, чтобы они разделяли его конечную цель.

— Я вполне разделяю ваши цели. Но чем я могу помочь православных христианам в России?

— Своим именем и авторитетом. Вашу книгу десять-пятнадцать лет назад мы читали в самиздате. Тогда она была столь же опасна, как «Архипелаг Гулаг» Солженицына и публицистика Сахарова. Вы писали о «большом терроре», одной из главных жертв которого явилась Русская Церковь. Мне всегда казалось, что её свободная деятельность стала бы важным признанием гражданских прав большинства населения, а не только инакомыслящих из интеллигенции, таких как я.

— Хорошо, я подпишу ваше письмо, — Конквест поставил подпись, встал и пожал мне руку. — Желаю вам успехов. Я на вашей стороне.

В дверях он даже улыбнулся и прощально махнул рукой.

Не останавливаясь и не переводя духа, я отыскал номер Пайпса и постучал. Его полемика с Солженицыным по вопросу о национальной предрасположенности русской революции была мне знакома, но я не разделял его фаталистской концепции. В начале XX века сошлись вместе традиции русского бунта и западная революционная идеология, военные поражения и успешный военный заговор... Но приходилось осторожничать.

В номере никто не отозвался. Я подождал и постучал ещё. И в тот же миг услышал за спиной вопрос, заданный по-русски с лёгким акцентом:

— Что вам угодно? Вы кого-то ищете?

— Да, я хотел бы поговорить с господином Пайпсом.

— Здравствуйте, это я. А вы?.. — он оборвал вопрос и наклонил голову чуть набок, настороженно меня разглядывая. Запомнилась сухопатость, черные с проседью волосы и серые с жидкой голубизной глаза.

— Я вчера говорил с Витторио Страда и только что — с Робертом Конквестом. А теперь пришёл к вам.

— Хорошо, заходите. Но у меня очень немного времени. Через двадцать минут я должен уйти.

Мы сидели за журнальным столиком в точно таком же номере, как у Конквеста. Через пару минут Пайпс меня прервал и неожиданно спросил:

— Вы москвич? Расскажите немного о себе.

Просьба удивила, я принялся рассказывать о своих юношеских злоключениях, поисках веры, конфликтах с гэбистами, о желании вернуть Церкви её достояние, чтобы укрепить в России демократию и избежать отката к коммунизму. Пересказал разговор с Конквестом, протянул письмо с красноречивыми подписями. Пайпс пробежал глазами текст, кивнул своим мыслям и неожиданно принялся рассказывать о себе, о детстве в Польше, бегстве в США перед войной, учёбе, давнем интересе к русской истории и культуре, преподавании в американских университетах. Казалось, он никуда не спешил.

— Польский и русский языки я знал с детства. Это очень помогло мне в дальнейшем, при изучении русской истории и поисках её законов...

В наступившей паузе я попытался нащупать свой шанс и повернул разговор к самому началу.

— Хорошо, я, пожалуй, подпишу ваше письмо, — он сделал неторопливый росчерк и поднялся, протягивая мне листок.

— Спасибо. Но у меня к вам вопрос. Допустим, я соберу ещё десять-двадцать подписей известных во всём мире людей. А что дальше? Не представляю свой следующий шаг.

— Я бы на вашем месте организовал рабочую группу, разработал программу действий, собрал международную конференцию, пригласил тех, кто вас поддерживает и прессу.

— Но для этого нужны деньги: аренда помещения, билеты, гостиницы и так далее.

— Не такие большие. Пять тысяч долларов, думаю, хватило бы для однодневной конференции человек на двадцать.

— Даже если её организовать в Париже?

— Да.

— Конечно, таких денег у меня нет. И это — главное препятствие. Вы не думаете, что для такой цели можно попросить содействия у кого-то из очень богатых людей? У таких, кто немного знает Россию? Например, у Сороса? Сделать его попечителем ассоциации?

— Вряд ли Сорос согласится стать попечителем. А деньги дать может. Попробуйте. Сейчас особое время, время возможностей. Советский Союз стремительно меняется. Попробуйте. Вы ничего не теряете.

На этом мы расстались. Я медленно шёл по длинному коридору и обдумывал происшедшее. Шансы получить от Сороса денег для моего проекта были совершенно ничтожны. Для этого требовались чьи-то рекомендации, просьбы, хлопоты. Пайпс попросту отмахнулся от меня, подмахнув письмо... На 15-е июня у меня был уже куплен авиабилет в Париж. Но Сорос в эти дни

находился в Москве. Мне даже удалось узнать, что он проживает в «Президент-Отеле» на Якиманке. Время на попытку ещё оставалось. Если она окажется удачной, поездка в Европу обретёт совсем иной смысл. Появятся деньги на организацию конференции в защиту шедевров православной культуры. Я даже придумал для неё звучное название, не подозревая о его нелепости: «Русские святыни и демократия».

На следующий день с баджем сахаровского конгресса на пиджаке словно бывалый детектив я уверенно прошёл через открытые ворота на широкий гостиничный двор и твердым шагом направился к центральному подъезду. Меня никто не окликнул. В холле небрежно спросил охранников:

— Я с международного конгресса Андрея Сахарова. Как найти администратора?

Меня с ленивой невозмутимостью отослали к приёмной стойке. Накрашенная женщина выслушала, оглядела с головы до лацканов пиджака, кивнула, когда я протянул ей письмо на английском и сказал, что должен срочно передать его господину Соросу.

— Господин Сорос уехал на целый день. Когда вернётся, не сказал.

— Но может быть, вы можете мне оставить это письмо в его номере?

— Нет проблем. Я сейчас позвоню старшей горничной. Поднимайтесь на восьмой этаж, она вас проводит.

Зеркальная просторная шкатулка для живых людей плавно поплыла вверх. Раскрылась в широкий светлый холл. Элегантная, похожая на киноактрису улыбчивая женщина встретила меня, проводила по коридору, открыла дверь и вошла следом в просторные комнаты. Кажется, их было три или четыре.

— Ваше письмо лучше всего положить на этот столик в салоне. Господин Сорос обязательно его заметит.

Я так и сделал. Поблагодарил и неспешно спустился вниз, вышел во двор, затем на улицу. Усмехнулся. Мой визит к миллиардеру напомнил мои юношеские приключения с прохождением на спор в «Националь» и «Метрополь», минуя бдительных швейцаров-гэбистов. Видимо, мой вид продолжал внушать доверие. Или, скорее, советская система дала очередной сбой.

Провалом закончилась и авантюра с хождением к Соросу. Ответа на письмо я так и не получил. Ни до, ни после отъезда. Ясно, что восстановление в России православных святынь не входило в его проект «Открытого общества». Вряд ли оно входило и в иные американские или европейские проекты. На Западе я потратил почти год, чтобы привлечь к своей идее известнейших людей. На листке с обращением красовались подписи Президента Французской Академии Элен Каррер д'Анкокс, писателя Жана д'Ормессона, православного богослова Оливье Клемана, Мстислава Ростроповича, Никиты Струве, Дмитрия Шаховского, Бориса Бобринского, Ирину Иловайскую и многих других — из русской эмиграции, из США, из разных стран Европы...

В конце июля 1991 года парижская «Русская мысль» опубликовала мою многострадальную статью «На ступенях русского храма». Без со-

кращений, почти на целый разворот. В редакции, вручая пачку авторских номеров и чек на немислимый в моей жизни гонорар, какая-то женщина, может быть, секретарь, указала на последний абзац лежащей перед нею статьи:

— Значит, вы из Москвы? Вы вот написали: «перед дверьми этого храма понимаешь, что он подобен человеческой душе, что между ними всегда существовала непостижимая связь». А вы верите, что советские люди изменятся и смогут восстановить храмы? Ведь они там почти всё разрушили.

— Не все изменятся и не всё восстановят, — я замялся, чувствуя в её взгляде непонятный упрёк или обиду: — Но для России это единственный путь в будущее.

— Я тоже в юности верила. Хотя мои родители едва в живых остались и бежали из страны. Многие из нас верили, так нам было легче...

Мы молча кивнули друг другу. Я спустился со второго этажа в нестерпимо опрятный дворик огромного дома и остановился. Публикуют и не верят. А как верить в невозможное? В революцию наоборот? В воскрешение благостной и набожной царской России? Да и была ли такая на свете?.. Опять те же мысли, что и год назад. Статью «Размышления на паперти» я разорвал. И вот опять, уже в Париже, нагнал тот же страшный образ: нищие у порога ими же разрушенного храма, пьяно клячат мелочь «на хлеб». Кто они? Неужели мы и наши бесчисленные руины — одно? Россия поистине выстрадала христианство. Православие, а вовсе не марксизм. Станет ли она сама собой?

Посреди ликующего Парижа я перечитывал статью годичной давности и горевал. Горчайший кофе останавливался в горле. Ничего с тех пор не изменилось. Было яснее ясного: за последние десятилетия наши сокровища стали нашим позором. С каждым годом цифры потерь становятся страшнее. И всё же многие храмы «даже и в нынешнем, полуразрушенном и поруганном состоянии принадлежат не только России... Святость и красота не признают национальных границ». Дальше шла недопустимая фраза, дописанная мною уже в редакции «Русской мысли»: если древние церкви и «при обновлённом народовластии будут продолжать разрушаться, нравственным долгом отечественной интеллигенции станет обращение к мировой общественности за поддержкой. Потому что дальнейшая равнодушная жизнь среди руин прежней культуры и растоптанных народных святынь уже невозможна».

Что ещё можно было сделать в одиночку? Пачку газет, взятую в редакции, я раздал по немногим знакомым, разнёс по нескольким церковным приходам. Поразились их домашней теплоте. Уюту ветхих стульев вдоль стен, бедным иконам. Простецкому чаепитию после службы — для всех желающих. О моей статье уже слышали, кто-то её уже читал. Знаменитые в эмиграции люди благосклонно кивали, жали руку, благословляли на дальнейшие шаги: Борис Бобринский, Николай Лосский, Николай Озолин, имена других стёрлись из памяти... Я ждал едва ли не

всеобщего отклика на Западе и в России. Был уверен, что буря негодования всё сдвинет с мёртвой точки. Или я ждал чуда? Статью из «Русской мысли», изменённую и приглаженную, уже после моего отъезда еженедельник «Новое время» напечатал в России под названием «Мой дом домом молитвы наречется...». И разослал по миру на нескольких языках. О проекте написал парижский журнал «La France Catholique». В сентябре «Русская мысль» опубликовала на русском и французском обращение «Вернуть святыни русского православия верующим!». Под ним было собрано уже два десятка известнейших имён. Интеллектуалы Запада и России поддержали идею. Но всё оказалось тщетно. На глазах потрясённой планеты перед тысячами телекамер магниевыми вспышками взрывался и рушился СССР...

Что-то неумовимо изменилось в окружающем мире. Католики, протестанты и светские организации в разговорах со мною ограничивались «пониманием проблемы». Я предлагал создать международный фонд «Русские святыни», объявить сбор средств на «эталонную реставрацию» шедевров церковной архитектуры под эгидой ЮНЕСКО и Международного совета по охране памятников культуры — ИКОМОС. Предлагал привлечь к работе крупнейших реставраторов из разных стран. Мой проект читали. Соглашались с его важностью. Меня слушали, но не слышали. Я не являлся чиновником и представлял не государство или церковь, а лишь русскую интеллигенцию. И мне, и другим приверженцам единой «христианской Европы» ещё предстояло понять главное: русские святыни должны восстанавливать те, кто их разрушил. Или их потомки.

За неделю до отлёта в Париж я начал собирать чемодан. Какие из вещей нужны для поездки в неизвестность? Что нужно увезти с родины и что оставить в надежде вернуться? Я закрыл на два замка московскую квартиру и запер в ней прошлое. Замкнул в памяти годы отчаяния. В Москве оставалась лишь мама, несколько родственников и друзей, которым трудно было объяснить, как я хочу жить дальше. Я и сам ничего не знал и не хотел знать. Я покидал не Россию, а лишь её крошечный уголок: кладбище, где похоронил многолетний страх, творчество и любовь. Чтобы познать себя, мне нужно было выйти за границы прожитой жизни. Шагнуть навстречу свободе и судьбе. В небольшом чемодане вместе с бутылкой водки, банкой чёрной икры, нелепыми «сувенирами» для французов и бытовой чепухой я увозил в будущее пустоту. Самое ценное я вёз в ином месте, и предназначалось оно лишь для меня одного. Надежда и вера.

2014 г., Нормандия

Юлия Шоломова
(Россия, Санкт-Петербург)

Родилась под Новый год в маленькой уральской деревне и была старшей дочерью в многодетной семье. В шестнадцать лет села на поезд и уехала в Санкт-Петербург, где поступила в два университета, один из которых окончила с отличием. Попробовала себя в разных профессиях, в том числе работала дизайнером-конструктором-проектировщиком мебели и торгового оборудования, журналистом и редактором на телевидении, специализируясь преимущественно на криминальной хронике. Весьма полезным считает опыт работы в новостной программе на федеральном канале. В перерывах между работой и учебой посвящала время семье. Ныне старший сын окончил школу, младший пока ходит в садик. После рождения второго ребёнка Юлия сменила бесконечные новостные авралы на скромную должность менеджера по рекламе в компьютерной фирме, что позволило больше времени уделять литературной и художественной деятельности. Рассказы опубликованы в различных газетах, журналах и сборниках. Сейчас Юлия работает над третьим романом, живёт в историческом центре Петербурга и каждый день ходит по крыше книжного магазина, ибо он расположен прямо под её квартирой. Юлия верит, что однажды в этом магазине появятся и её книги.

Поцелуй ветра

«**К**ругом одни идиоты! — думала Наталья Борисовна, пытаюсь со-
брать со стола шарики ртути. Дети опять градусник разбили, но,
разумеется, ни у кого нет глаз, чтобы это заметить!»

Она сидела в закутке тёмного коридора при свете настольной лампы и
заполняла бланки для утренних анализов, когда увидела между бумагами
глянцевую лужицу. «Ослепли все, что ли? Видимо, пока им градусник о
лоб не расшибёшь, даже не почешутся!»

А ещё — другие медсёстры позволяют себе во время дежурства при-
лечь на кушетку, но только не она! Больница-то детская, мало ли что.

Совсем маленькой Наталья Борисовна жила в блокадном Ленинграде с
мамой и старшим братом. Транспорта не было, и мама каждый день два часа
шла на работу через весь город, потом обратно... А им тут лишь бы прилечь!

Из глубины коридора слышались всхлипывания. Наталья Борисов-
на пошла на звук. В её смену дети себе капризов не позволяли. Все знали,
что с ней шутки плохи.

Кто-то плакал в тринадцатой палате. Уже у самой двери неожиданно
кольнуло сердце. Боль выстрелила в левое плечо. Наталья Борисовна ох-
нула. Вот ведь старость не радость... Она решительно шагнула в темно-
ту — некогда загибаться! А то все окончательно распоясаются.

Шмыганье раздавалось от левой угловой кровати. Туда сегодня по-
ложили новенького.

Ох, сейчас этот безобразник получит на лимонад! Не хватало ещё всех побудить.

Она устремилась в тёмный провал между кроватями и вдруг вспомнила — этот мальчик из детдома. Тем более странно, что сквозь всхлипывания слышалось «ма-ма». Никакой мамы у него нет и быть не может!

Ну ничего, сейчас он раз и навсегда усвоит здешние порядки.

— Мама? — спросил ребёнок.

Наталья Борисовна вздрогнула. Показалось, будто сверху, из темноты, на её давно морщинистое лицо опустилась большая тёплая ладонь — погладила, расправив сдвинутые напряжённые брови, сжатые губы, сведённые скулы. Лицо обмякло. Сердце отпустило. Пальцам отчего-то стало щекотно.

Неожиданно для себя она наклонилась к нарушительно спокойствия и погладила коротко стриженую голову.

Руку обхватила маленькая ладошка.

— Ты услышала?

— Услышала-услышала, — ворчливо отозвалась Наталья Борисовна. — Спи давай.

Она села на край кровати и позволила мальчику держать руку. Прерывистое дыхание ребёнка постепенно выравнивалось.

Завывал ветер. Деревья за окном танцевали, перебрасываясь отблесками уличных фонарей. Пахло не по-больничному — чем-то тёплым. То ли сухой травой, то ли булкой, то ли пуховой шалью. Вспомнилось — так пахнут спящие дети...

Наталья Борисовна фыркнула и растерянно заморгала. Впервые за годы работы она сидела на детской больничной койке, не понимая, как допустила такую фамильярность.

Вообще-то все говорили, что у нее скверный характер. Так считали и дочери, и их мужья, и внуки. Каждая встреча заканчивалась руганью. Стоило ей посоветовать что-то дельное, как они тут же одёргивали: «Хватит ворчать!»

Конечно, на работе она могла отвести душу и ворчать, сколько угодно. Тем более на этих незадачливых мамаш и папаш, чьи бедные отпрыски лежали в больнице. Ведь всё по халатности родителей! Не уберегли детей, недоумки, а теперь бегают — то режим нарушают, то микробов на отделение тащат. Да если она будет молчать, то их больные дети так и не вернутся домой!

Наконец послышалось сопение. Дыхание мальчика стало ровным и глубоким.

Наталья Борисовна отцепила от руки маленькие пальцы и, крикнув, поднялась.

Двинулась было к двери, но вернулась — натянула одеяло до подбородка, подоткнула по бокам, как когда-то — своим детям.

Утром она несла градусники в тринадцатую палату и у двери остановилась. Звучал смутно знакомый голос.

— У меня есть мама. Она приходила ко мне сегодня ночью. Раздался звонкий девчоночий смех.

— Вот тупица! Никакая это не твоя мама, а обычная медсестра. Старая к тому же.

— Нет, она моя мама. Я позвал её, и она услышала.

Лицо окаменело. Наталья Борисовна вошла и принялась раздавать градусники.

— После завтрака все на процедуры! — строго велела она.

Оказавшись возле левой угловой кровати, Наталья Борисовна подала градусник ночному безобразнику.

Мальчик старательно ловил её взгляд. Она столь же старательно смотрела в сторону. Обойдётся! Ишь чего выдумал!

— Спасибо, мама, — шепнул он.

Наталья Борисовна сделала вид, что не услышала. Двинулась дальше. Девочка с соседней койки захихикала.

Процедурный кабинет неизменно успокаивал. Расставляя и раскладывая по местам бесконечные ампулы и пробирки, стерилизуя всё подряд, она словно стерилизовала и очищала — голову. Даже недавние семейные ссоры переставали казаться такими возмутительными. Только на этот раз, сколько ни гремела металлическими инструментами, сколько ни сортировала лекарства — не думать о мальчике не получалось.

Прежде чем уехать домой, она долго копалась в бумагах пациентов, после чего отправилась к врачу и услышала то, во что верить не хотелось:

— Неоперабельная злокачественная опухоль.

— Но что-то ведь можно сделать? Попытаться спасти.

— Наталья Борисовна, вы же слышали диагноз. Никто не возьмётся. Да и деньги какие. Его сюда-то к нам определили, потому что никому не нужен.

Внезапно в комнате потемнело, и в открытую форточку ворвалось шипение. Это тысячи дождевых спиц вонзились в асфальт, кипя и пузырясь. На оконном стекле заплескали водяные фигурки.

Наталья Борисовна тяжело поднялась и вышла. У кабинета какой-то мальчишка отковыривал со стены фотообои. Увидев её, маленький вредитель кинулся бежать. В подобных случаях Наталья Борисовна бросалась следом, но на этот раз — села на скамью.

— Вот поганец, — равнодушно промямлила она, прижав руку к груди. — Ещё раз увижу, уши надеру.

Следующее дежурство снова было ночным. Молодые не любили оставаться ночью — у них семьи, дети, личная жизнь, а у Натальи Борисовны весь этот букет в прошлом.

Вопреки обыкновению она пришла раньше — в часы родительских посещений. Повсюду мелькали мамы с детьми — бродили по коридорам, сидели на кроватях, копошились в общем холодильнике.

— Грязи-то нанесли, — по привычке пробормотала Наталья Борисовна.

В тринадцатой палате на угловой левой койке сидел мальчик, похожий на бездомного котёнка — тощий, взъерошенный. Казалось, ещё

чуть-чуть — и пронзительно замыкает. Наталья Борисовна закатила глаза и раздражённо причмокнула — она никогда не любила кошек.

Увидев её, ребёнок дернулся, а потом — да-да, не показалось — настороженно прижал ушки.

— Ты пришла ко мне?

— Пришла, — согласилась Наталья Борисовна. — Вот держи. Это бублик. С маком.

Мальчик принял в обе ладони румяное в чёрную крапинку кольцо и откусил. Послышался звук, напоминающий мурлыканье.

Детские воспоминания снова просочились сквозь толщу лет. Брат был такой же худенький, взлохмаченный... Целая жизнь прошла после блокады, а рисунки памяти не стерлись, не помутнели, наоборот, будто бы обозначились чётче, объёмнее. Как-то брат принёс лакомство — тёмно-рыжие пузатые бусины. Липовые почки. Она подставила ладошку — бусины оказались тёплыми, мягкими и вкусными. Наталья Борисовна и по сей день по весне, проходя мимо дворовой липы, срывала пару почек и жевала, глотая слёзы.

Брат всё время не доедал, оставлял свои крохи ей, младшей сестрёнке, лукавил, мол, не хочется. А однажды утром — больше не проснулся. Так и лежал прямо на полу в одеялах. Мебель-то всю сожгли...

— Чего бы тебе хотелось? — спросила Наталья Борисовна и вдруг добавила: — Из того, что нельзя.

Он перестал жевать, помолчал пару секунд и выдал:

— На улицу. Погулять. Я раньше в другой больнице лежал. Давно не гуляю.

Наталья Борисовна приложила палец к губам.

— Тс-с... Иди за мной.

Они вышли на улицу, за ворота больницы. Там и сям почерневшими зеркалами разливались лужи. Мальчик приблизился к самой большой, долго смотрел в глянцевую поверхность и вдруг прыгнул в воду, побежал.

Наталья Борисовна дернулась и поперхнулась криком, закашлялась. Вот паразит! В таких сомнительных ботинках моментально промокнет, простудится!

А потом она услышала смех мальчика, и перед глазами всплыла картинка из прошлого. Галдящая детвора скачет по лужам, и она, зажав в руке подол перепачканного платица, стоит по щиколотку в воде и хохочет. Навсегда позабытое ожило и запрыгало солнечным зайчиком по мутным зеркалам, заискрилось в брызгах, летящих из-под сомнительных ботинок.

Наталья Борисовна поняла, что хихикает вместе с мальчиком, только когда рядом раздался резкий голос:

— Сразу видно, не родная бабушка, а няня! Разве можно ребенку такое позволять! Он же у вас заболит!

«Что за выдра лезет не в свое дело?» Наталья Борисовна вскинула брови и повернулась. На неё презрительно смотрела очкастая старушенция в вязаном берете.

— Это мой сын, — отчеканила Наталья Борисовна. — И он уже — болеет.

Старушенция нахмурилась и пошла прочь, бормоча:

— Совсем с ума посходили, на старости лет рожают...

Мальчик обернулся и помахал. Штаны — по колено мокрые.

Нет, она не станет его ругать. Хотя в воскресенье, когда дочь привезла внучек, Наталья Борисовна кричала за ужином: «Убери локти со стола! Не чавкай! Чему вас мать учит!»

От салата отказались, привереды. В блокаду быстро бы горор свой позабыли! Тогда и траву ели. Только вылезет, а её уж рвут с утра, кто успеет. Потом сварит мама в подсоленной воде, потолчет, и хоть бы раз они с братом закапризничали. А тут — смотри-ка, от салата носы воротят, боярыни.

«Мам, не хочу больше ездить к бабе, она плохая», — сказала внучка. А этот глупыш — «мама»... Вот ведь как.

После отбоя Наталья Борисовна подошла к тринадцатой палате и замерла, приоткрыв рот. Вместо обычного гомона в палате звучал единственный детский голос — теперь уже хорошо знакомый.

— Сегодня мама водила меня гулять.

— Врёшь! — выкрикнул хриплый басок.

— Не вру. Вон мои штаны на батарее... Там была лужа, и в ней висели дома. Я заглянул внутрь, хотел узнать, сколько в этой луже места, где оно кончается... А оно не кончается! В этой луже целая улица. И небо. Я бросил камень, и облака слопали его! А потом по облакам скользила птица. Она исчезла у меня под ногами. Тогда я тоже прыгнул прямо в небо и побежал, разбрызгивая дома...

— И тут-то тебе влетело! — вставил звонкий девчоночий голос.

— Нет, не влетело. Мама добрая. Она засмеялась.



© Художник Елена Любович

— Сколько тебе повторять, тупица? Нет у тебя мамы!

Наталья Борисовна вошла в палату.

— Сынок, давай-ка я тебя укрою, — сказала она, выразительно глядя на девочку с соседней кровати, глазищи которой поблескивали в темноте, как у хищного зверька. — Спокойной ночи, сынок.

К предстоящему дежурству пришлось многое успеть. На банковской карте накопилась внушительная сумма. И пенсия капает, и зарплата, а тратить, в общем-то, не на что. Утром она сняла со счёта все деньги.

Придя на работу, не переодеваясь, отправилась к врачу.

— Этого хватит?

— Деньги здесь дело десятое. Даже если и хватит, шанс мизерный. Да не переживайте вы так, Наталья Борисовна. Это же чужой ребёнок. Нас мало, а их много.

— Не чужой.

Когда стемнело, и даже редкие смешки в палатах стихли, послышались лёгкие шаги.

Он пришёл.

Наталья Борисовна непременно возмутилась бы, вздумай колобродить другой ребёнок.

А этого что ругать? Пусть себе не спит подольше — ему и так мало осталось. Некогда спать.

Мальчик забрался на кушетку.

Она поднялась из-за стола и пошла к нему.

Хмыкнула. Должно быть, забавное зрелище: внушительная тётка и щуплый мальчонка сидят бок о бок в пустом коридоре.

Лампа светила на стену. Наталья Борисовна вспомнила детскую игру с тенями, подняла руку и зашептала:

— Привет, я гусёнок!

Мальчик ахнул, увидев, как глазастая птица на стене открывает клюв.

— Научи меня так же!

— Смотри. Складываем пальцы вот так...

— Почему у тебя грязные руки? — перебил ребенок. — Помой.

Наталья Борисовна потерла кожу, испещрённую тёмными пятнами.

— Это не грязь, это время. Когда у человека заканчивается время, его тело меняется.

— Оно становится грязным?

— Нет, оно становится старым, изнашивается.

— И руки?

— И руки, и лицо, и всё, что внутри. И однажды человеку придётся покинуть своё тело.

— И куда он тогда пойдёт?

— Он полетит на небо.

— А как он полетит без тела?

— Душа может летать и без тела. Она отправится на небо, но в любой момент сможет прилететь обратно и наблюдать за тем, кого любит.

— И они могут говорить и обниматься?

Холодная ладошка легла на её руку.

— Нет, не могут.

— Но этого человека, который умер, можно увидеть?

— Нет.

— Значит, никак нельзя узнать, что он рядом?

— Можно. Он дыхнёт. Вот так. — Наталья Борисовна наклонилась и подула мальчику на лоб. — Ш-ш-ш...

— Как ветер?

— Как ветер.

Мальчик зевнул изо всех сил, даже с подвыванием.

— А ну поднимайся! Гляди-ка, едва челюсть не свернул.

Он послушно встал, ухватился за её руку и позволил отвести себя в палату.

На обратном пути грудь стиснуло. Незнакомое ощущение. Наталья Борисовна остановилась и оперлась о стену. Вот до чего жалость доводит. Так и заболеть недолго.

К столу не пошла.

Впервые решила в ночное дежурство прилечь на кушетку.

Дерматиновая обивка была ещё тёплой. Она положила руку на то место, где недавно сидел ребёнок, закрыла глаза и улыбнулась.

Может, это и не жалость вовсе, а другое?.. Любовь, например.

Утром мальчик проснулся внезапно, словно от громкого крика.

В палате царил тишина. Одежда на кроватях вздымалась неровными белесыми холмами. Остальные ещё спали.

Он на цыпочках выбрался за дверь. Захотелось поговорить с мамой, а то скоро её смена закончится.

Несмотря на ранний час, в конце коридора сустились взрослые. Сердце заколотилось. Мелькание людей в зелёных костюмах, как туман, мешало рассмотреть Наталью Борисовну. Потом он увидел.

Тучная фигура в белом халате возвышалась над кушеткой.

Вдруг двое мужчин подняли её и совсем не осторожно переложили на каталку.

— Мама!

— А это ещё кто? — раздался над ухом тревожный голос. — Уведите ребёнка!

— Пойдём, пойдём, нечего тебе тут делать.

Кто-то крепко ухватил за руку и потянул обратно, в сонный коридор.

— Что с моей... — Он запнулся. — Что с Натальей Борисовной?

— Тебе это знать не обязательно.

— Нет, обязательно! Она моя мама!

Мальчик отчаянно старался не заплакать, но голос предательски дрожал.

Женщина остановилась.

— Она уснула.

— А когда она проснётся?

— Никогда. Она навсегда уснула.

— Значит, умерла?

— Иди сюда.

Незнакомка притянула его к себе. Обняла. От её халата пахло чем-то резким, лекарственным, и сигаретами. Совсем не так, как от мамы.

Он вышел на крыльцо очередной больницы вместе с двумя женщинами.

Одна из них была врач, а вторая — тётя Лена из детдома.

— Мальчик вполне окреп после операции, — говорила врач. — А вообще... удивительно. Мне сказали, что всё это заслуга какой-то старой медсестры, мол, она оплатила безнадёжную операцию. Можно сказать, подарила жизнь. Надо же, никто не верил, а он спасся. Видимо, кто-то этого очень хотел.

Тётя Лена забирала его обратно. Туда, где дети только и делают, что мечтают о мамах.

Мальчик шёл по асфальтовой дорожке и смотрел вверх. На пронзительно голубом холсте заплелись в узорах чёрные ветви. Редкие жёлтые кляксы вздрагивали, готовые в любую секунду сорваться.

Лишь берёза ещё совсем не облетела, будто чего-то ждала.

Он остановился.

Подул ветер. Янтарные плети затрепетали. Чёлка пощекотала лоб.

— Мама?

Ветер дунул сильнее.

Над головой зашумело, зашуршало, зашептало.

Жёлтые клочки разметались и замельтешили вокруг. Один из них, кружась, коснулся носа. Он был влажным, и показалось, будто это поцелуй. Кто-то легонько поцеловал в нос.

Он кивнул.

— Да, я понял!

— Что ты понял?

Тётя Лена обернулась.

— Понял, о чём говорила мне мама.

— Фантазёр.

Она пожала плечами и нетерпеливо взяла его за руку.

Да, совсем скоро он окажется там, где дети только и делают, что мечтают о мамах.

Только это больше не про него.

Его мама всегда рядом.

Михаил Озмитель
(Киргизия, Бишкек)

Родился в 1957 году в Киргизской ССР, г. Фрунзе. Выпускник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Переводчик, преподаватель английского языка.

Археологическое



© Фото Александры Отважной

Кружевница

Е.С.

...Под Воронеж мимо выгонов в снегу
мимо белых крыш и чёрных деревень
я не слышать стук коклюшек не могу
сквозь вагонную мирскую дребедень
то коклюшки стук-постук-да-перестук
узловых и перегонов переплёт
из туннелей вырывающийся вдруг
ледяной — до гор уральских — небосвод
стук-постук коклюшки вздох и перескок
кружевница заплетает кружева
чёрных речек дальних муромских дорог
вяжут вязко ворожеины слова
здесь у вязов воронёные стволы
а на окнах здесь чугунное литьё
в темноте твои запястья светлы
тянет ворона на горькое житьё
на огнище там горелая вода
под Воронежем бы ворону пожить
да коклюшки всё стучат и поезда
стук-да-стук-постук растягивают нить...

На объездной дороге Бишкек — Рыбачье

На этой дороге не очень заглянешь в себя:
сто двадцать — не меньше, но вдруг замечаешь:
душа не болит, а глаза равнодушно следят,
как лента колючая кольца теснее сжимает,
как мимо и пристально смотрит казахский солдат.
И давишь на газ, и опять обо всём забываешь.

Граница. Таможня. Дунганки собрались к родне —
как ярко одеты! Им рядом совсем — через речку.
смеются, нарядные... Нужно подумать и мне
о том, как одеться, когда соберусь недалеко...

...какие таможни меня ожидают, и что мне надеть
пред встречею с тем, перед кем непременно предстану,
а слева колючка, нейтралка... и мысли. Но думать не смей,
что можешь, как раньше... Не смею. Не стану.

Жужжит потихоньку бэушный помятый «ниссан»,
по правую руку торгуют уйгуры — с полей и дешевле!
А слева — запретный теперь для меня Казахстан,
когда-то мы жили иначе: печальней, душевней.

А справа — всё пустоши, дальше — Китай,
но это чужое, а здесь всё такое родное:
звонящий от зноя и высохший трижды курай,
а там далеко угасает закат над Окою...

Когда-то здесь жили другие, и всё-таки — мы:
теперь города их под дикой, нетронутой глиной,
как зёрна, укрыты они — от кочевников и от чумы:
но мы прорастаем незримо, неукротимо.

Здесь время не знает границы, хотя и оно
всего лишь граница. Он вечностью целой владеет.
Он ждёт, что взойдёт и поднимет свой колос зерно,
которое Он у дороги проезжей настойчиво сеет.

Так надо... Прощайте, мои тугай¹.
прощайте, туранги² седые косицы:
пора тормозить — скоро точка ГАИ.
Мне нечем и незачем с ними сегодня делиться.

¹Тугай — пойменный лес в Средней Азии

²Туранга — разновидность тополя, произрастающего в Средней Азии

Вокзальное послевоенное

Мы припомнимся после, наверное,
как по Каме ночной пароход;
на эстраде девчонка манерная
с караоке навзрыд пропоёт

эту грустную, горькую, русскую
про убогое наше село.
Человек, повтори без закуски мне, —
что-то мало меня забрало.

Не томи ты так, милая, жалостью, —
уравнения наши просты:
птичка Божья на гроб опускалась,
и чирикнув, летела в кусты.

Ах, как птички поют спозаранку нам —
видно, Бог сохранил и помог;
видно, сбилась прицельная планка:
отстрелялся и этот стрелок.

Мы его подорвали гранатою
и присыпали сверху слегка
без церковного пенья, без ладана,
без всего, чем могилка крепка.

Этот воздух свидетель — подошвами
свой он путь проложил в пустоте, —
пулеметчик, чечёточник, в крошево
положивший невинных детей.

Вещество его мной не допрошено,
да и как допросить вещество?
В неизвестной могиле заброшенной
чепчик черепа — чаша его.

Пусть гранит покрывается наледью,
пусть стоят на земле холода, —
мир родной, весь пронизанный памятью,
не покинет меня никогда.

Подноси, наливай, не отчаливай.
За окошком стучат поезда.
Пусть поёт она песню печальную, —
привокзальная наша звезда.

К Чаадаеву

— Спасти Россию может только Рим,
глупы Сенатской площади затеи!
Но византийский дух неистребим... —
и платье приказал подать лакею.

Германия в его проникла кровь
с масонской каплей яда от де Местра.
Он был возлюблен, но его любовь
была предупредительна и пресна.

Ах, Шеллинг, Шеллинг, что же сделал ты?
что нашептал, картавя по-немецки!
Какие выстроил, какие сжёг мосты
мальчишке, ратнику и лысому повесе?

...И вновь Россия. Осень. Енисеем
шуршит шуга, но заберегов нет.
и хариус клюёт на лорелею:
забвенье, водочка, лорнет.

Борису Р.

Ты задыхаешься, подводник:
в глубины эти солнца свет
сквозь снег, сквозь сумрак новогодний
не пробивался много лет.

Фонарь со временем погаснет,
и станет тёмною вода,
слова, исполненные страсти,
взлетят отсюда в никуда.

Освобождённые от речи,
легки, как летом мотыльки,
они на свет летят беспечно —
от губ умолкших — пузырьки.

Они до светлого дотянутся,
перезимуют, вмёрзнут в лёд.
В апреле девочка-проказница
твой выдох с радостью вдохнёт.

Воробушек

Ах, слова эти, как воробьи в луже;
солнышко расплескали; клювик открытый;
бабулька на скамейке знай перебирает спицы —
вяжет, птичке рада, что свяжет — не знает:
то ли пинетки внучке, то ли петлю зятю;
губами шевелит, считает — не ошибиться б.
— А Нюрку-то сдали в дурку, — ей говорит соседка.
Всё знает соседка, да только вязать не умеет, —
в детдоме не научили, а чему научили — не скажет,
давно это было, вот и мелет мельничка, мелет,
словечки, как воробышки, крылышки, с крыш каплет.
Митилены царь молот на мельничке этой.
Вот и солнышко расплескалось, Пасха скоро,
вот и верба готова к Вербному воскресенью,
радость будет. Христос в Иерусалим на ослати,
а мы вербой ему помаваем — на смерть Он едет.
— А Нюрка кому мешала? — Никому не мешала,
зато квартиру её, — увидишь, — сынок её спустит.
Вот и мелет мельничка, воробышек притомился,
притомился воробушек, на солнышке пригрелся.
Радость-то какая! На смерть Он едет.
В луже искупался, на столбик забрался;
ворбон не видно; тепло ему, хорошо, не знает,
что Питтак молот на мельничке этой,
ему бы в Митилену — зёрнышек поклевал бы,
ведь Нюрку забрали в дурку, и никто воробья не накормит,
никто его, сироту, не окликнет, не приголубит,
ключевой водой не напоит, не пожалеет.
ничего не знает воробей, только солнце,
что тельце его скудное греет.
Ах, как спицы мелькают, Христос уже близко,
пора вербу срезать, встречать Его будем,
пора вербу срезать, на смерть Он едет,
и клубок в кошёлке, как живой, копошится, —
так быстры бабулькины спицы.

Знание

Ты брошенных послушай, в их глаза
вглядишь, последуй их шагам и мыслям,
пей с ними чай, кури их сигареты,
приметь и то, как прерывают
бессоницу безжалостные сны.
Не спать — всё лучше, хуже — пробудиться
и вместо узких и родных ладоней
ночь целовать и задышаться, как пловец,
что слишком глубоко нырнул за счастьем —
за нежной раковиной сжатых губ —
теперь же рад вернуться, пусть с пустыми
руками, но вдыхать
отчаянья горчичный воздух.

Покинутым внимай. ты их узнаешь
по осторожной, вдумчивой походке,
по их умению читать следы,
ведущие с упорством неизменным
туда, где им сказали: — я сейчас,
я на минутку, шумно здесь,
один звонок...
они подобны птицам перелётным:
всё продолжают кочевать на юг,
хотя давно сменились полюса.
они безукоризненны в пространстве
и тщательны при исчислении сроков.

К отвергнутым иди: утраты полнота
им ведома, и потому легки
шаги их; строги, молчаливы,
они покажут, как крепки
и неприступны райские врата.

Теперь ты знаешь всё. умри счастливым.

Братское

Каин — Авелю

Соль горчит, и небо осыпает
глину в чёрную могилу.
Вот прошёл неторопливо
скорпион, как быстро-быстро
запеклась под солнцем кровь.
— Где ты, Авель?
...Нет, не отвечает.

Авель — Каину

Здравствуй, Каин! Здравствуй, добрый брат!
Вижу, снова Библию листаешь.
Зрение слабеет, и года...
Сколько лет тебе? Я здесь со счёту сбился.

Милый Каин, ты меня прости,
козы обглодали ветки яблонь, —
виноват, был мёртв, недоглядел,
впрочем, ты давно сады забросил.

Оторвись от книг, в кондитерской купи
apple pie и каплю бренди к чаю....
Господи! Как шумно там у них —
я кричу, а он меня не слышит.

Сон

Ты на вершине тёмной колокольни,
как ласточка, готовая взлететь.
Бегу к тебе. К тебе мне не успеть:
всё тот же сон — и день с утра надломлен.

Чем слаще звук, тем горестней уста,
так колокол медовым звоном тает,
ажурный росчерк чёрного креста.
Я всё бегу, а ласточка взлетает.

Куда, кому доставить этот день?
В нём сон, как метка смертная в конверте...
Бегу по лестницам — ступенью за ступень,
Но ласточка стрелою небо чертит...

Юрию Олеше

Мой Заратустра, подросток в пальтишке на вырост,
 дрожью — по Фрейду — измучивший свой тюфячок,
 снова Суок-веселушка, волшебница снилась?
 Снова над ярмаркой горний звенящий волчок?
 — Да, — бредит Ницше, —
 Молись, — молит Ницше,
 пусть Бог уже умер,
 пусть уже стрелы твои расстаются с твоей тетивой.
 взойди над собою,
 иди по канату,
 мой маленький фюрер,
 смотри: паутинка натянута чёрной вдовой.
 Ты сомневаешься, просишь опять про молитвы?
 Ты просыпайся и день ото снов отделяй,
 но осторожней, смотри, не поранься оккамовой бритвой,
 самоубийцам у них не дозволено в рай.
 Ты Расскажи, где бродил там один
 переулками строчек?
 Ну же, проснись и встряхнись, не пришёл ещё срок.
 Ты перепрыгни себя и молись, чтобы звёздной ночью
 не за тобой приходила девчушка, дружок Суок.

Иссык-Куль

Ах, вода в Иссык-Куле прозрачная, —
 не дыши! — запотеет стекло.
 Чыйырчык, эта птичка невзрачная:
 даже он уже встал на крыло.

Этот вечный песок переплавливать:
 будет золото, будет вам ртуть,
 был уран, но об этом помалкивать...
 Ох, ещё бы разочек вздохнуть.

Ох, ещё бы... да всё тут проплачено, —
 лишь затвор успевай... да пригнись;
 иссык-кульской водою горячею
 ты умойся, милок, и уймись.

Археологическое

Ночь без луны.

Звёзд столько в этом мире,
что у подножий дальних гор
река Нарын
звенит, как Млечный Путь,
а Млечный Путь над головою
мерцает, как река Нарын, —
они текут в иное измеренье
и там впадают
в океан Вселенной.

Ни звука нет, ни тени,
ночь прозрачна,
ладонь ласкает тело
тёплой глины.
Ни ветерка. И глаз не оторвешь
от дальнего холма, —
там огонёк чирáка
у входа в каменный мазар,
что над могилой
местного каджи.

Два дня назад
они вскарабкались туда:
кто помоложе —
быстро и с дровами,
баран, казан.
А вот старухи, старики
на выцветшем от солнца склоне
полдня чернели.
Все собрались у мазара,
молитву прокричал молдо,
зарезали барана и сварили,
молились снова,

а потом
я бил шурфы
и ничего не видел и не слышал.

Мальчишка мне принёс в раскоп
борсоков дюжину,
кусок баранины, лепёшку...
Сказал, что старшие сказали,
чтоб он... ну, то есть ты,
молился богу русскому, — у них
беда: четвертый год живут,
детей всё нет,
и вся надежда на святого
(и, получается,
что на мои молитвы тоже),
а муж с женой три дня
и, соответственно, три ночи
спать у могилы будут,
отдыхать, молиться
и снова зачинать ребёнка.

Всем помогает! — так сказал пацан.
— Конечно, помолюсь, —
заверил я его,
и он торжественно пожал мне руку.

...Сегодня третья ночь.
Безлунно. Звёзды. Вечность.
Чирак лампадкой на холме.
Тепло земли —
как радость материнства.
Я на коленях,
я Его прошу:
— Господь, дай счастья этим людям!
Ты можешь!
И ребёночку здоровья...

Елена Кондратьева-Сальгеро
(Франция)

*Родилась в Москве. Окончила МГПИИЯ им. М.Тореза.
С 1990 г. живёт во Франции. Публикуется в русскоязычных изда-
ниях Франции и России.*

С радугой на плече (отрывок из книги)

...сквозь чугунные перила
я котлету уронила...

Ю. Архангельская

Из всех начал историй, которые мне когда-либо довелось прочесть, мне больше всего понравилась самая первая фраза из библиотечной книги, ни автора, ни названия которой я не помню. Всего содержания тоже не помню. Помню районную библиотеку, на первом этаже стандартной девятиэтажки, невнятное пятно унылой библиотекарши за потёрто-лакированным столом, тепло-лохматые корешки нетолстых книг. Эта книга тоже была нетолстая и не слишком затёртая. Как и начало.

«Когда мне было три года, я умер от скарлатины»...

Я села на корточки между тёмными стеллажами и сразу всё прочла. Он действительно умер. И уже остывал, пока вокруг горячились рыдающие родственники, а расстроенный доктор утирал руки чистым полотенцем. И в этот момент... И тут, внезапно... Как вдруг... Когда неожиданно... Распахнулись двери... Развернулись рты... глаза... небеса... И в два прихода, три прихлопа, в комнату вихрем влетела... грузно ввалилась... лихо вломилась... бабушка. Того, который только-только, но уже умер.

Бабушка что-то такое воскликнула, на тему: «Что ж вы все тут стоите, а он лежит!» И захлопала в ладоши, по щекам и по другим местам тому, который умер от скарлатины, и его родителям. Как-то она всех взбудоражила и увлекла, начала что-то растирать у него на груди, куда-то нажимать, будто кнопку какую искала. И так здорово это у неё получилось, что тот, который умер, всё-таки передумал и полез обратно... И вылез. И потом книжку написал. Вот это всё я помню.

Мне вообще всегда нравилось, когда приятную исповедь собственных воспоминаний начинают каким-нибудь весёленьким эпизодом. Как-то сразу входишь во вкус и готовишься приятно провести время.

«Когда мне было пять лет, я упала с качелей...», «Хорошо помню, как мне впервые надрали уши...», «Больше всего на свете я не любил жареную капусту и учительницу физкультуры...», «Свой первый зуб я потеряла за столом, при гостях...», «Это началось в тот страшный день,

когда у Мишки умерла морская свинка, и рыдал весь подъезд, а Сашкина бабушка говорила, что лучше бы умерла Витькина собака...»

Одна несдержанная учительница литературы в средней школе всегда нас поторапливала перед сочинением: «Начните как-нибудь, а потом оно само пойдёт...» Эта же учительница имела обыкновение говорить: «Власова и Сычёва! Выйдите обои из класса!»

Потом её сменила другая учительница, которая утверждала совсем обратное: начинать как попало не стоит, а Власова с Сычёвой выходили из класса обе и продолжали прерванный разговор в коридоре.

Мне тоже всегда казалось, что начать важно не как попало. Я иногда задумывалась, как бы я сама начала собственные воспоминания, и эта в общем-то неглубокая мысль неизменно приводила меня в некоторое расстройство.

С качелей я не падала. Уши мне не драли. Капустой меня до смерти напугали в юности, убедив, что от неё вырастает неуёмная грудь, как у баб в кокошниках на картинах Венецианова. Лет до двадцати я чуралась капусты, как чумы, и к сорока сильно об этом пожалела...

Учителя физкультуры звали Григорий Соломоныч (конечно, «Гришка»). Он был славный и умный, знал наизусть, у кого когда месячные, в каждом классе. Отмечал в отдельной тетрадочке и потом сверял с заявлением девиц, желавших получить незаконное освобождение, три раза в месяц... Мы его любили, но начинать воспоминания с него как-то не хочется.



© Художник Елена Любович

Вот у моей двоюродной сестры был учитель физкультуры по фамилии Гирия. Вот это — да. Это — колорит. Здесь даже доштриховка не требуется. Его, правда, всё-таки к пятому классу уволили из-за болтливой малышни, которая дома всё рассказывала родителям : «Опять наш Гирия пьяный пришёл!..»

Зубов на данный момент я растеряла уже столько, что вспомнить, который из них был первый, мне так же невозможно, как вспомнить первый шаг.

Морских свинок не было, были рыбы и попугай. Собаку мне так и не купили.

И всё-таки одно событие в моей жизни, возможно, определило моё дальнейшее продвижение в люди по тернистому пути различного рода неприятностей. И было оно — как раз в самом начале.

Двух недель отроду, меня торжественно принесли в деревянный дом, с только что отбеленной известью печью, водной колонкой в центре двора и всеми удобствами между двух сараев.

Вся эта экзотика ещё тихо доцветала не так далеко от теперешнего центра Москвы, тогдашнего центра вселенной — на Преображенке. Со всем недавно я осознала, что имею полное право сказать: «я родилась в прошлом веке, в деревянном доме», и это звучит гордо.

Правда, родные и близкие мои в тот момент так не считали. Бегать до сарая, топить дровами, таскать воду из колонки и плескаться в тазу за ситцевой занавесочкой снова стало входить в моду не так давно, когда ословелые от комфорта горожане заново открыли удивительный мир первородных истин, понакупили дач, временно поразъехались и поокупались с головой в самое оно... А тогда пределом самых взыскательных мечтаний были шлакоблочные, малогабаритные.

Пеленальный столик для меня соорудили из старой невысокой стремянки, с намертво приколоченной к ней дверкой от кухонного шкапа. Это удобное сооружение покрыли тремя слоями ватных одеял и поставили к белоснежной и разогретой печи, согласно вечной паранойе «не застуди ребёнка!»

Говорят, что впервые увидев печь, я открыла рот и больше уже его не закрывала. Орала бесперебойно, трое суток, и даже умудрялась это делать в незначительных перерывах между глотками материнского молока. Мои молодые неопытные родители, любимая бабушка Сима и незабвенный дед Лёня сникли и даже перестали перебрасываться взаимными обвинениями в неумелом обращении с младенцем. Все единодушно решили, что в моём неокрепшем организме где-то что-то не в порядке и поволокли меня к доктору, прямо по сугробам. Сама я думаю, что орала просто так...

Но доктор был старый, «фамильный», опытный. В его незаурядных способностях никто давно уже не сомневался, с тех самых пор, как он, прямо с порога, не вымыв рук и не заглянув в рот пациентке, поставил безошибочный диагноз о «воспалении среднего уха» Толиковой свекрови. Говорят, что после такого диагноза Толик окончательно побросал все надежды на светлое

будущее и оставил только вредные привычки невнятного настоящего, обнаружив, что «у неё ещё и среднее ухо имеется...»

Доктора я, конечно, тоже оборала. А он помял мне живот и ковырял пальцем во рту. Да ещё и заявил, что у меня внутри «газы» и вообще много всего. Что необходима клизма. И он пришлёт медсестру, прямо на дом.

Она пришла, молодая и белоснежная. С высоким «шиньоном» на гордой голове. Но бабушке не понравилось, «как они младенцев грубо переворачивают, будто валенки швыряют». Мне вообще ничего не понравилось, но меня не спросили.

А я ответила. И, между прочим, вполне впад. Ещё вот так говорят: «промеж глаз». Я именно туда и попала, как только она вытащила клизму и не успела увернуться. Она была молодая и не ожидала. И никто не ожидал. Я сама не ожидала, что смогу так быстро и ловко всё уделать, за один, как говорится, присест. Всё что под рукой и кое-что в отдалении. А поскольку «столик пеленальный» ставили к самой печке, то одновременно с отделкой фасада медсестры, я также организовала простенький барельеф на только что выбеленной поверхности...

Чтобы отмыть медсестринный фасад, пришлось бежать за водой, к колонке. А печь и мою скромную репутацию отчистить так и не удалось.

Всё это намертво вписалось корявыми буквами в моё личное дело, и до сих пор ещё здравствующий, но уже единственный уцелевший свидетель регулярно напоминает мне о смаке вдаль утекших дней.

В общем, хоть кроме как от страха за обнаруженные прогулы уроков математики в 9 классе средней школы я никогда не умирала, и в моих закромах имеется, по сусекам, удачное начало творческой деятельности.

Но я пока ещё не решила, стоит ли с этого начинать. Я пока ещё в раздумье... Мне почему-то кажется, что начать следует с сада и реки. Они были там задолго до меня.

Часть I. Над тёмной рекой

There we worked, revising mythology, rounding a fable here and there, and building castles in the air for which earth offered no worthy foundation.

Henry David Thoreau

...В глубине сада, между двумя старыми яблонями, прислонившись к зарослям крыжовника, врос по щиколотку в сочную траву вагончик «Красного Креста».

В войну здесь стояли немцы. Сад вырубил, дом спалили. Всё как водится — война. А вагончик оставили, отступая. Сходивший до Берлина и вернувшийся обратно хозяин, дом отстроил и сад засадил. А вагончик, почему-то, никто и не подумал сдвинуть с места, хоть у него тогда ещё были целы все четыре колеса.

Ко временам моего детства, колёс и след простыл, а вот все стёкла оставались целы и мелодично звенели, когда испуганно вскрикивал под ногами вошедшего осевший пол.

Снаружи цвет кофе с молоком морщинисто растрескался сетью ржавой паутины, а внутри матово потёртые кожаные кушетки вдоль стен шершаво шелушились на ощупь и на взгляд. Пахло пылью и яблоками.

В вагончике хранили кое-какой садовый инвентарь и пустые ящики различного назначения. С середины июля троюродный брат Вовка с приятелями ночевали там, на нагретых за день солнцем кушетках, свалив на полу заряженные солью ружья, в ожидании визитов неместной ребятни за плодовыми дарами.

Вовка с приятелями хлестали парное молоко, заедая краюхами бородинского хлеба, резались в карты при свечах, перекидывались анекдотами и страшными историями и, конечно, ухом не вели ни на какие попытки потенциальных воришек проникнуть в сад через частокол у дальних лип, где лаз был наиболее удобный. До Вовки с приятелями, в том же возрасте, те же ночёвки в вагончике устраивали когда-то его отец со своим двоюродным братом — моим отцом.

Во времена моего детства, ежегодных «летований» в деревне, мне, конечно, ни разу не разрешили сообразить в вагончике что-нибудь подобное с местными подружками, Иркой и Майкой. Но я не особенно и настаивала: залезать туда я вообще не любила. Днём там пахло нагретой солнцем, непрветренной старостью, вечером — влажнеющей грустью, с каким-то аптечно-яблочным привкусом. Я до смерти боялась пауков и сильно брезговала пыльной, липнувшей к пальцам стариной.

К тому же, чтобы отвести нас с маленьким Серёжкой от «их» места, Вовка сказал, что по вагону регулярно болтаются призраки немецких солдат, умерших в страшных муках на этих вот кушетках, и даже устроил гнусную провокацию на заходе дня, пригласив нас в темнеющий сад послушать на расстоянии, как «они» стонут и воют внутри...

Много лет спустя, прочитав у Маркеса о немоте только что сотворённого мира, где вещи ещё не имели названия и на них приходилось показывать пальцем, я вспомнила, как называла вещи в собственном мирке, обновляя их суть. Вагончику я тогда почему-то дала имя «Берта».

Как же так случилось, что этот старый, ржавый, всем привычный тогда и никому не интересный вагончик, который я видела каждое лето и к которому никогда не испытывала иных, кроме брезгливости, чувств, снится мне по ночам, долгие годы, натягивая какую-то болезненную ниточку из самой глубины моих потрохов, за которой, из ершащегося во все стороны клубка намертво перемешанных воспоминаний, тянется Память?..

Сон с Большой Буквы

Время представлялось мне тёмной рекой с тяжёлыми и мутными волнами, медленно и совершенно беззвучно текущей в тоннеле из тёмно-зелёных, лаково блестящих сплетений бушующей зелени. Тяжёлые и сочные гроздья матово белых цветов свисали до самой воды и отражались на поверхности мягким дрожащим светом.

Это видение, как галлюцинация, приходило ко мне в снах, в течение нескольких лет, завораживало и наполняло блаженным параличом, ощущением бесконечного покоя. Я парила в потоке, не плыла, а именно парила, в медленном течении какой-то удивительно мягкой и плотной воды, в полном молчании всего окружающего мира. Ни звуков, ни запахов, ни прикосновений.

Неба я не видела, но точно знала, тем вечным пониманием без начала и конца, которое всегда присутствует в снах, что оно сверху, там, за густым сплетением сочно зелёных ветвей. Оттуда шёл свет.

Я видела, что тоннель впереди расширяется, раскрывается, воды растекаются в свете, а меня несёт к правому берегу, к белым, гладким камням и россыпям гальки. Доплыть туда мне никогда не удавалось. Сон всегда прекращался в ту самую минуту, когда из-за поворота появлялась тихая бухта — светлый песок под нависшими ветвями.

Сон этот преследовал меня много детских лет и даже получил в моём мире название «Сон». Мама говорила, что видеть во сне чистую воду — хороший знак. Но моя вода не была ни чистой, ни мутной, но густой и непроницаемой. И глубина оставалась невидимой, неизвестной...

Сепия

В нашей семье так никогда и не прижились альбомы с фотографиями. Вечно беспорядочный ворох с «карточками», запихивался в мутные от постоянных сминаний целлофановые пакеты, вместе с какими-то желтеющими письмами и бахромящимися по краям открытками «С Новым Годом!», «Мир, Труд, Май!», «Ленинград, здание Государственного Эрмитажа», «Озеро Селигер», «Международный женский День 8 Марта!».

Всё это вместе безжалостно томилось на антресолях или в каких-нибудь второстепенной важности ящиках, из которых, всё это вываливалось, по случаю поисков чего-то другого, ко всему этому отношения не имеющего.

И начиналась совершенно мне в детстве неинтересная взрослая шарманка: «Нет, ты только погляди!.. Боже мой!..А это кто высовывается, из-за бабушки, Виталик, что ли? Какой Мишка! Говорю тебе, Виталик! Где Валентин? Какой же это Валентин! Это Ксенина подружка, за которой ухаживал тот алкоголик! Серёжка с ребятами ему камни в кузов кидали, чтоб не пылил своим грузовиком..Тётя Маруся, смотри какая молодая!Ой, а Клавдюшка-то, Клавдюшка!Ты на шляпу посмотри -звезда экрана!...»

Я скучала. Меня не забавлял вид моего трёх-летнего дяди, с вывернутыми коленками, кислой миной и, за его спиной, щедро «лыбившееся», от уха до уха, прямо в объектив сморщенно-печёное лицо чьей-то бабушки.

Как следует отличать родню со стороны отца от родни со стороны мамы я стала, мне кажется, годам к двадцати. До тех пор, все вокруг меня вращались беспорядочно и душевно, не уточняя, кто чей двоюродный

брат или троюродная тётка. Многих друзей семьи и просто хороших знакомых я тоже долгое время считала родней.

Мне казалось, что родовые гнёзда моего человечества уютно теплеют в четырёх основных точках вселенной: на Преображенке, где жили «мамины дед и бабушка», в Сокольниках, где обитала «папина бабушка», в деревне Огороково, где обосновалась опять же «папинская» часть родни и наконец, на берегу самого Чёрного в мире моря, откуда (как я поняла в семилетнем возрасте, впервые туда попав) вообще началось Сотворение мира.

На самом деле, один пра-прадед по отцовской линии жил в Петербурге и даже имел какое-то отношение к решётке Зимнего Сада: не-то, он её ковал, не то работал на заводе, где её ковали. Детали давно и прочно погребены в бегах, под усердным забвением, в пылу и тылу революций, войн и прочих жизненных беспорядков. Зарегистрированным в семейной памяти остался только факт, что из-за болезни лёгких, прадед этот был вынужден оставить питерскую сырость и переехать с семьёй в места где ему легче дышалось и слаще спалось.

А вот почему они все уехали так далеко в калужском направлении, никто, конечно не запомнил. Но отстроились и поселились в деревне Огороково, ещё до революции, в том самом доме, где в дальнем конце сада, за частоколом шумели липы, посаженные прадедом моим, который стал лесником.

Об этом прадеде рассказывали много, разные люди и всегда только хорошее. Говорили, что его сильно уважала вся округа — за честность и порядочность. Прямо так и говорили. Особенно говорили, после того, как набрёл в лесу на незаконную вырубку и велел виновникам, которых узнал (а было их трое), идти за ним разбираться, куда следует. Ходил он, как водится, с ружьём, может, потому они его на месте и не тронули. Пришли все в трактор, послали за кем следует и сели пить чай. Кроме чая и колодезной воды, кстати, по всем свидетельским показаниям, прадед мой никогда ничего не пил.

Потом хозяин трактора лично рассказывал, что, де, те трое долго лесника уговаривали, совали деньги, шептали, глаза таращили. Ничего не взял. А когда лесник выходил, те трое за столом его так и копошились, а что ворожили, неведомо. Только вернулся лесник, сел, чай допил, ещё и самовар не остыл, а ему вдруг плохо стало. Упал лицом в стол и умер. Поначалу думали, сердечный приступ. Но кто-то что-то видел, кто-то догадывался, а когда взяли тех троих, один сразу признался, что отравили, хотели убить единственного свидетеля, двое поначалу упирались, но скоро сдались.

Жене его, прабабушке Арине решили так сходу не говорить, постепенно подготовить, послали к ней с вестью местного доктора. Была она тоненькая, как девочка, казалась слабенькая, оказалась несокрушимая: девяти-терых детей родила, последнюю дочь, Ксению, в 47 лет. Очень спокойная, добрая, работающая, и голоса никогда ни на кого не повышала и о ней никто слова дурного не сказал. Страдала сильными мигренями, в родне думали, сердечница, на самом деле, мучала её щитовидка, но и только.

Про Аринину семью ходили самые насыщенные романтикой слухи: говорили, бабка её приютила затерявшегося с наполеоновских войн француза, да так и оставила у себя. После революции семейство постаралось все слухи по сусекам разместить и из избы выместить, поэтому, большего чем слухи и в горстку не собрали, да и Бог с ними.

Когда отравили мужа, было прабабушке Арине 48 лет. Старшие сыновья, среди коих дед мой, Константин, уже к тому времени взрослые, прочно стояли на ногах и семью и дом вытащили, и сами «честно в люди вышли», никого горем не завалило.

Дед мой Костя рано уехал в Москву, учился, работал на строительстве московского метро, как вся «ответственная» тогдашняя московская молодёжь. Перед самой войной, был директором автобазы, куда пришла сдавать на права, да так и осталась работать, красавица Клавдия, тоже с длинным шлейфом семейных тайн и трагедий.

Бабушка Клавдия чудом сохранила несколько красивейших семейных фотографий своих родителей и некоторых своих сестёр. Отец её, Симеон, поляк, красавец с роскошными усами, был дирижёром. Мать, точная до мурашек копия бабушки моей, Клавдии, говорят, чудно играла на рояле. У этой четы прямо-таки царская осанка. На оборотной стороне обретшего пергаментную патину фото, бабушки Клавиным остроугольным почерком писано линиялыми чернилами: «Это мои мама и папа». Оба несказанно и туманно хороши.

Все пять их дочерей, судя по сохранившимся изображениям (и моим детским воспоминаниям о старшей бабушкиной сестре, Катерине)— красавицы. Все с характером. И всё у них вроде бы должно было сложиться в один большой семейный портрет, как вдруг, одна из старших сестёр умерла неожиданно и трагично, совсем молодой. Отчего, мне так и не удалось узнать. Потому что, когда ещё жили вокруг меня те, кто мог ответить, вопрос этот меня, нерадивую и беспечную, как вся юность не интересовал. А когда начало тянуть за память-ниточку загадочное прошлое, уже не осталось никого, кто мог бы достоверно хоть что-нибудь рассказать.

Знаю только, что когда это случилось, бабушке моей Клаве было три года. Знаю также, что мать её совсем ненадолго пережила трагедию, а отец совсем ненадолго пережил мать, потому что в четыре года, бабушку с сёстрами приютила какая-то их московская тётка, у которой они все и выросли, рано повзрослев. Тётка сумела научить их рассчитывать только на себя, не тратить времени на ерунду, работать, работать и работать, подачек не принимать, вольностей не допускать, до конца никому не верить, даже Богу, которого, очень может статься, вообще и нет и не было. Учебой тётка особо не интересовалась.

Старшая сестра, Катерина, выучилась на медсестру. Двоих средних я совсем не помню. Младшая, Клавдия решила стать шофёром. Очень ей нравилось, чтоб на колёсах и с ветерком. Она пришла на автобазу, устроилась там

сначала в секретариат, но очень скоро сдала на все нужные права и добилась, чтобы ей доверили государственный автомобиль. Всю жизнь была ударницей. Работала, работала и работала. Как все в этом семействе — на добросовестный износ. Но деда Костю всё-таки заметила, замуж за него вышла и любила его одного, до самого конца и бесконечно после. Он один, говорят, умел усмирять её неуёмную вспыльчивость спокойным тихим словом: «Клава!»

Дед Костя, как бывший «метростроевец», получил квартиру в Сокольниках, на 4 Сокольнической улице, на втором этаже серо-сталинского гранитного строения, с аркой во внутренний двор. Прямо под квартирой, на первом этаже дома располагалась маленькая булочная, на крыше которой, как на балконе, можно было держать санки, сумки, вазоны с цветами и банки с маринадами.

Маринады бывали покупные или подаренные. Сама бабушка Клава готовила только по необходимости накормить семью, в редких передышках бесконечной работы, работы, работы. Выше всего на свете она чтит чистоту в квартире, а кухня всегда занимала сугубо проходное место в списке её приоритетов. Поэтому, в доме одинаково блестели как наводненные листья фикусов, подлокотники кресел и половицы паркета, а в холодильнике, в белой пустоте, сияли бутылки с кефиром и что-нибудь совсем свежее, до ближайшей кормёжки. Никогда ничего про запас.

Вот здесь, в этом доме, с привкусом серо-сталинской архитектуры, с уютом широченных мраморных подоконников, за двойными рамами, в зелени теснящихся цветочных горшков, в лёгком дыхании кружева занавесок цвета слоновой кости и шелесте страниц (любимое место для чтения — между фикусом и геранью, с ногами у окна, привалившись к стеклу коленками), начинается история моего отца, поколения шестидесятников, проросшего после одной революции и двух страшных войн, гражданской и отечественной.

Может быть, они потому и были такими, какими были, что после закалённых сталью времён, времена настоящие казались передышкой, перед веками грядущими, золотыми.

У них было мало комфорта и много вкуса. Ничего про запас. Это было счастливое поколение...

Отец мой периодически вёл дневники.

С самых первых откровений (1946 г, 9 лет), с неловкой каллиграфией и хромоющей стилистикой, с аккуратными повторениями в конце каждого буднего дня («потом пришла мама, мы поели и легли спать») и свежее наивными ляпами («я бегал нагишом: в одной рубашке и трусах»; «пока Вовка играл на гитаре, я играл в коридоре»), до самых последних набросков, спонтанно написанных мастерски, десятилетия спустя, после перерыва в целую жизнь — отец мой оставил, как я теперь понимаю, ценнейшее свидетельство о том самом периоде, споры о котором не утихнут теперь уже никогда.

Как можно целую эпоху обозначить лишь в нескольких словах, не извратив ни сути её, ни издержек, я в своё время поняла на примере самого забитого из клише — «мрачное средневековье», штамп, обрекающий целые столетия жизни и судеб, оставившие миру прочнейший запас духовности и красоты, из которого разветвилось Возрождение, и который, как мне кажется, от усиленной возрожденческой витиеватости, с тех пор значительно выветрился и серьёзно полинял. А главное, который с тех пор так незаслуженно и так прочно заплевали...

Поколение моего отца оставило нашему редкую закалку — некий остов, удержавший в равновесии всю морально-этическую конструкцию, когда многие, казавшиеся незыблемыми сваи, вместе с дрогнувшим фундаментом, начали уходить всё глубже в земное забытие.

Что это было? Целый мир, намертво сцементированный страхом и иллюзиями, рождённый ужасами тоталитаризма, державшийся на его объёмных но глиняных ногах и судорожно цеплявшийся за добровольную ложь?

Или просто — мир как мир, обыкновенный, как любая затертая монета, с орлом и решкой, с оборотной стороной медали. Не хуже и не лучше предыдущих и последовавших.

Что бы это ни было, они жили там и прожили достойно. Потому что сумели вырастить нас, с не вечной, но цельной и крепкой закалкой.

Мы этим миром мазаны.

Его стоит запомнить. О нём стоит рассказать. Я попробую...

Под сачком

Небо над площадью было так густо исчерчено паутиной проводов, трамвайных и разных прочих, необходимых для нужд большого города, что казалось, люди там жили, накрытые одной сетью. Или сачком. Как рыбы или бабочки.

И никого это не смущало, потому что людям в городах вообще редко приходится внимательно смотреть вверх. Если, конечно, не воздушная тревога.

Сокольническая площадь. Та самая, с пожарной каланчой. От площади разбегаются врассыпную улицы, улочки и переулочки. Прямые и кривоватые, параллельные и перпендикулярные. 1-я Сокольническая, вторая — и далее. Моя история сложилась на 4-й Сокольнической.

Отец родился в марте 37го. Семимесячным. Бабушку Клаву привезли в роддом прямо с автобазы и (по её собственным утверждениям) оборали дважды : «какие роды, где живот?!» и «почему с такими схватками и на работе?!»

— А Юрочка был такой бледненький, но крепкий! — рассказывала бабушка Клава на семейных обедах уже в мою бытность, — его сразу обернули ватой и положили...

— ...В коробку из под ботинок, — добавлял отец.

Я до сих пор не уверена, где кончался отцовский юмор и начиналась она — великая сермяжная. Может, он и впрямь полежал сначала в коробке, но это нисколько и нигде его не ущемило.

В 1939г родился брат Вовка. Брат Мишка обождёт целых десять лет и явится миру в 1949г.

За всё это время, придёт и уйдёт война, оставив отцу одно смутное, но сильное воспоминание. Осенью сорок первого, бабушке дали пропуск и разрешение на выезд из Москвы на служебной машине с автобазы, где она работала, чтобы отвезти маленького сына к родственникам, в деревню Окроково, Калужской области.

Отец помнил идущих вдоль дороги людей, нагруженных вещами, колонну грузовиков, утренний туман, раздражение бабушки, которая не могла обогнать колонну. Помнил нарастающий, ещё незнакомый шум, сверху. Гудки, визг тормозов, крики людей. Бабушка срывает его с кожного сиденья, хватет в охапку, бросается в кювет, на землю, прикрывает его собой: «Тихо, тихо, мы в порядке!» Хотя, какое уж там «тихо», когда вокруг огонь и дым. И столько шума. Но он помнил, что не кричал.

Он помнил, как мать сжимала зубы и всё пыталась что-то разглядеть на дороге, сквозь дым. Потом серьёзно посмотрела на него, четырёхлетнего и сказала:

— Если со мной что случится, тебе придётся возвращаться самому. Понял?

— Понял.

— Я научу тебя : ты всегда всё сможешь сделать сам. Понял?

— Понял.

— Я научу тебя водить машину. И не бояться, когда один дома. И готовить еду. И ждать, когда кончится война. И не убегать, когда страшно, потому что если убегать, то будет ещё страшнее. Понял?

— Понял...

Он конечно мало понял, но всё запомнил. Ему только показалось, что она с ним говорила, чтоб он поменьше слушал, что творится вокруг, под бомбёжкой. А когда всё закончилось, она его охапкой вынесла из кювета, положила на заднее сидение не пострадавшей машины, накрыла каким-то пальто, велела не поднимать головы и не смотреть в окно. Помнит визг тормозов и кочки — ухабы — кочки — и снова гладкая дорога. Но не помнит, куда же они всё-таки доехали, в Москву или в деревню.

Потом, была и прошла война. Войну пережили. И уже восхищались ею, мечтали о ней и играли в неё, как все настоящие мальчишки, особенно настоящие мальчишки тех лет.

Жизнь в серо-каменном доме на тенистой улочке в Сокольниках наладилась по законам мирного времени и пошла-поехала-поскакала-полетела к пятидесятым, зализывая раны на ходу и не особо, в общем удручаясь...

Владимир Вереснев
(Россия, Москва)

Псевдоним автора, который, будучи священником, пожелал в литературной сфере не раскрывать своего настоящего имени. Родился в 1953 году в Подмосковье. После школы служил в армии, работал в театре мастером по свету, художником-оформителем, предполагал стать рок-музыкантом. Однако в возрасте 30 лет оставил мирскую жизнь, поступил в семинарию и стал православным священником. Почти уже 30 лет служит в Москве.

Группа крови

1

Печь пироги Надя умела как никто, и теперь она затеяла стряпню, обещавшую большое удовольствие языку и желудку. Одно только настораживало: жена была явно не в духе.

— Ну, чего посматриваешь-то? — спросила она, колко взглянув исподлобья. — Говори уже...

— Надь... Я чего тебя спросить-то хотел... — начал Василий Никитич, внимательно следя за руками жены. — У тебя группа крови какая?

Жена перестала раскатывать скалкой тесто и пристально посмотрела на Василия Никитича. Взгляд этот был ему хорошо знаком и не предвещал ничего хорошего. Надя сурово молчала.

— У всех обычно разная... Редко совпадает, — слабо улыбнулся Василий Никитич, желая смягчить жену. Та, наконец, отложила скалку в сторону и, не отводя тяжёлого взгляда от мужа, проговорила:

— Кровопивец... ещё же и спрашивает, интересуется... Мало ты кровей из меня за все годы выпил, так тебе теперь ещё издеваться надо?!..

— Надь... ну ты, это... зря ты так-то, зачем...

— Зачем?... А зачем ты, бездельник и пьяница, про кровь спрашиваешь, а?... Что она тебе? Мало тебе её, что ли, крови-то моей?..



© Фото Александры Отважной

Василий Никитич медленно передислоцировался к двери, хорошо зная жену в таком состоянии.

— При чём здесь?.. Я ж из чисто научного интереса спрашиваю...

— Вона как... научного, — разогревала себя Надежда.

— Да... Я вот тут статью это в журнале прочёл. И сказано там, что четвёртая группа, к примеру, самая редкая.... А у меня как раз она и есть. Я когда анализы-то сдавал прошлый год, мне медсестрёнка сказала. Так что вот так.

— А я тебе, обалдуй, так скажу: какая у меня группа не знаю, а только уж точно не четвёртая, потому что я с тобой, иродом, ничего общего иметь не могу.

— Ну оно и видно, — слегка обидевшись на жену, сделал выпад Василий Никитич, — шибко разные мы с тобой люди, Надежда... Нет в тебе ничего этого... оригинального...

— А ты, конечно, особенный такой, редкой породы петух, значит... Кровь у него, вишь, не как у нормальных всех людей... Может, у тебя вообще кровя голубые?

Надежда при этих словах вернула себе скалку, и Василий Никитич, в сердцах плюнув, поспешно покинул поле словесного боя.

2

Выйдя из дому на улицу, он присел на лавку подле ворот, мысленно продолжая гордый монолог с женою. Справа показалась приметная фигура Витьки Воронова. Витьку, сына своего соседа Николая, умершего лет десять назад, Василий Никитич знал с самого его детства. Теперь парню было под тридцать, вымахал он верзилой, но всю жизнь отличался худобой и сутулостью. Был Витька неразговорчив, хмур лицом и почти всегда мусолил в углу рта дымящуюся папиросу.

— Здорово, Витёк! — улыбнулся ему Василий Никитич, когда Витька поравнялся с ним.

— Здорово, дядь Вась, — молвил младший Воронов, щурясь от дыма и деревянно протягивая руку.

— Куда путешествуешь-то? Присядь, посиди чуток, — Василий Никитич подвинулся на скамейке. Витька присел, с удовольствием облокотившись костистой спиной о штакетник.

— Да так, дружка проведать иду, — затягиваясь папиросой, глухо отвечал Витька.

— Дело, — похвалил Василий Никитич. Они помолчали.

— А скажи, Вить, — начал снова Василий Никитич, — вот у тебя, к примеру, какая группа крови?

— Чё? — слегка повернул к нему хмурое лицо Витька, не вынимая папиросы изо рта.

— Группа, говорю, крови какая?.. Она у всех людей есть своя, но часто — разная. Вот я и спрашиваю.

— А, ну да... Первая у меня. Точно, ещё в армии проверяли, у всех и на гимнастёрках нашивки делали, чтоб, если что, знали. А тебе зачем?

Василий Никитич довольно улыбнулся.

— А у меня, слышь, четвёртая...

— И чё? — Витька снова вернулся в свою меланхолию.

— А то, Виктор Николаич, что четвёртая — самая что ни есть редкая у людей на всём, понимаешь, планете нашей. Вроде как процента полтора-два от всего населения, да...

— Ну ты даёшь, Никитич, — не то изумился, не то усомнился Витька. У него даже папираса погасла, и Витька снова полез в карман за спичками. — Это ж дело обмыть требуется. Кровь, шутка ли... Дак чё, я могу сходить...

Витька поднялся, вопросительно глядя сверху вниз на Василия Никитича.

— Так ты ж, вроде, к дружку шёл...

— Да куда он денется... Дело не срочное.

Василию Никитичу и самому захотелось вдруг выпить. Но деньги были в доме, а возвращаться туда теперь было совсем не резон. Рассчитывать на Витьку не приходилось, он был известный по округе стрелок.

— Вот что... Пойдём до сельмага, я у Райки в долг возьму, она даст, — решительно поднялся и Василий Никитич, и оба соседа, маленький плотный обладатель четвёртой группы и худосочный верзила с дымящей папирсой во рту бодро зашагали на другой край села.

3

У магазина в этот час народу было немного, зато чуть в сторонке под раскидистым вязом стояли трое завсегдааев — Митяй Мосякин, Гаврила и Шпрот. Из всех окрестных мужиков эти были наиболее частыми клиентами вино-водочного отдела, и поэтому Василий Никитич мог даже не сомневаться, что встретит их именно здесь. В руках у Гаврилы поблёскивали уже две бутылки, ещё не распечатанные.

— О!.. Никитич! — сипло пробасил Митяй, рыжий и краснорожий толстяк с лиловым фингалом под глазом. — Никак Надька за печеньем послала?..

Все трое вяло засмеялись шутке, но Василий Никитич, сделав укоризненное лицо, сказал только.

— Брехло ты, Митяй, и мало тебе в глаз-то дали, дурошлёпу...

Но Митяй, мужик незлобивый, не обиделся, а напротив, пригласил даже Василия Никитича раздавить с товарищами «пару пузырей». Тот с достоинством приглашение принял, но сказал, что они с Витьком тоже не нахлебники и сейчас внесут свой честный пай.

Продавщица Рая баба была добрая и весёлая. Местные мужики ценили эти её качества, никак не покушаясь на прочие, поскольку замужем она была за трактористом Степаном, а Степан на спор мог забивать шиферные гвозди кулаком. Мужики, любившие выпить, но не имевшие для этого стабильной финансовой основы, частенько брали водку у отзывчивой продавщицы в долг, а гарантом своевременной оплаты опять же выступал Степан, которого все безусловно уважали.

— Здравствуй, Раиса Никифоровна, — ласково поклонился Василий Никитич, подходя к прилавку. — Ой, цветёшь всё, бабы-то все, поди, от зависти синеют.

Рая в ответ расплылась в сладкой улыбке. Она уж знала Василия Никитича не первый год, и когда тот начинал с имени отчества, то понимала, зачем к ней пожаловал. Клиент он был ответственный, аккуратный да к тому же всегда добрый и обходительный.

— Доброго здоровья, Василий Никитич!.. Как Надежда Матвевна поживает?

— Да чего ей... Хорошо поживает, Раечка, грех жаловаться, — Василий Никитич слегка насупился при упоминании жены.

— Одну? — Рая покосилась на Витьку, стоявшего возле двери с отсутствующим видом. — Две?..

— Две, Рая, две, — смиренно попросил Василий Никитич, — и, там, хлебца буханочку, огурчиков можно пяток... Во вторник пенсию принесут, так что...

— Да не беспокойтесь, дядь Вась, я ж знаю, вы человек надёжный и меня никогда не подведёте.

— Раиса Никифоровна! — Василий Никитич прочувствованно приложил руку к груди и благодарно склонил плешистую голову. Рая снова заулыбалась.

— Я, Раечка, ещё вот спросить тебя хотел... У тебя какая группа крови, знаешь?

Рая вопросу удивилась, но ответила с готовностью школьной отличницы.

— Третья... Резус отрицательный... Мы ведь регулярно должны проверяться, потому и знаю... А зачем вам?

Василий Никитич чуть заметно улыбнулся и сказал снисходительно:

— У меня-то четвёртая...

— Редкая, кажется? — участливо сказала Рая.

— Самая что ни на есть, — подтвердил Василий Иванович, забрал товар и двинулся к выходу.

— А ты, Воронок, чего здесь раздымился, а?.. — Рая сердито окликнула Витьку. — Тебе тут что, забегаловка, что ль, какая?..

Витёк только хмыкнул, перекинул папиросу во рту из угла в угол и вышел на улицу вслед за Василием Никитичем.

4

Честная компания решила расположиться на свежем воздухе, для чего спустилась к реке, где местными алкашами давно было оборудовано нечто вроде клуба. Это был чей-то заброшенный сарайчик. Доски из него большей частью растащили, их заменили ветками с засохшей листвой, и потому сарай имел скорее вид шалаша. Здесь было несколько ящиков, служивших столом и стульями. Шпрот извлёк откуда-то несколько замызганных стаканов, один из которых и вовсе был бумажным. Пока Митяй разделявал на газетке нехитрую закуску (кроме хлеба и огурцов нашлось несколько варёных яиц, три помидора и слипшиеся в комок карамельки без фантиков), Гаврила твёрдой жилистой рукой разливал тёплую водку. Тут же встал вопрос, за что пить. Но выпить, наконец, всем хотелось так, что вопрос решился быстро и демократично — «за-нас-за-всех!». Выпили, слегка закусили, тут же налили и со словами «ну, будем!» выпили по второй. Наступила та самая пауза, во время которой участники, сбросив напряжение пролога, с удовольствием расслабляются и потихоньку предаются беседе. Разговоры пошли о насущном: кто чего слышал, где чего стряслось, кому и за что набили морду, и всё в таком роде. Шпрот, испитой мужик лет сорока, уже отсидевший за хулиганство и потому вдоль и поперёк татуированный, чаще других украшал речь матом. Он и сам уже едва ли помнил настоящие свои имя и фамилию, очень гордился тюремным прошлым и остальных собутыльников искренне и свысока считал фраерами, то есть людьми, реальной жизни не нюхавшими. Гаврила был немым от рождения, работал на МТС, был силен как бык и кроток как барашек. Митяй Мосякин после Афгана вернулся с контузией, жил в основном за счёт стариков родителей и до страсти любил подраться. Про Витьку Воронова добавить уже нечего, разве только то, что у него было два любимых занятия – беспрестанно курить и рыбачить на неширокой мелкой речке. Василий Никитич, которому почти вся эта братва годилась в дети, был единственным среди них, кто хоть иногда заглядывал в газету или журнал, регулярно смотрел новости по телевизору, а потому испытывал к «непутёвым» искреннее отчуждение. Он любил выпить, но выпить больше было не с кем.

Третью, как положено, выпили, не чокаясь, за покойников. Помолчали, жуя хлеб с огурцами. Снова потекли вялые разговоры ни о чём, и Василию Никитичу стало вдруг до ужаса скучно. Он дождался паузы и заговорил, пристально глядя в мятую яичную скорлупу.

— Вот вы мне скажите... Чем вы все отличаетесь друг от друга?.. Нет, я не про то, у кого какое лицо или кто чем занимается. Я про сущность спрашиваю...

— Ты чё, Никитич? — чуть осовело повернулся к нему Митяй. — Ты это... закусывай давай...

— Про сущность я! — возвысил голос Василий Никитич, скорбно и в упор глянув на багровую рожу Митяя. — Вот, учёные говорят, что характер человека и его, так сказать, душа напрямую связаны с его кровью... То ись, какого состава кровь в человеке, такой он сам и есть... По-латинскому, например, кровь будет «сангвис», да... И что? А то, что вот, допустим, бывает человек санг... сангвиник. Это что значит? А это значит человек шепутной такой, которому не сидится всё, всё он, значит, во все дела лезет, всё чего-то хочет, покоя ему, вишь, нет...

— Нарывается, — авторитетно заключил Шпрот, кивая, — я таких не люблю, таких сразу вырубать надо...

— Или вот, к примеру, у кого кровь жидкая, — продолжал Василий Никитич, — и кровь эта в нём течёт... вон как речка наша, в час по чайной ложке... Это вот типичный хлегматик. Вот, как Витька наш Воронов... даром, что на речке этой днями торчит.

— Ты, дядь Вась, это... не оскорбляй, — сплюнул зажёванную папиросу Витька, — ты хоть и пенсионер пожилой, а не надо!.. Речка, понимаешь, ему наша плоха...

— Да ты, Витюша, не обижайся на меня, старика... Я ж ничего обидного не сказал. Просто характер крови у тебя такой, ты ж не виноват...

— И чё, про меня тоже можешь сказать? — настороженно проговорил Шпрот, искоса поглядывая на Василия Никитича.

— Ну, ты-то, пожалуй... если по-учёному говорить, скорее холерик будешь...

— Ты, Никитич, за базар-то отвечай..., — сверкнул глазами Шпрот, — за холеру и схлопотать можно... Несмотря на пенсию... (по понятным причинам здесь опущены отдельные части речи, употреблённые Шпротом).

— Вот опять, — плеснул руками Василий Никитич, — опять непонимание. Да никакая не холера, а хо-ле-рик... Ну слово такое латинское, означает тип характера, и ничего обидного... Человек, значит, нервный, шустрый такой...

— Эточно, — оттаял Шпрот, — это про меня уже... А будешь, мать вашу, нервным, когда жизнь такая... (и т.д.).

— Про тебя, Митяй, сложно сказать, потому ты — только не обижайся — на голову-то маненько контуженный, значит, а всё одно и у тебя всё в пределах, так сказать, науки.... С Гаврилы тоже какой спрос, он ить как дитя... Только что водку горазд глушить вёдрами.

Митяй резко и дураковато рассмеялся, а вслед за ним беззвучно, тараща глаза, всохотнул и Гаврила.

— Ну, теперь-то, дядь Вась, про себя нам поведай, — снова закуривая, хитро осклабился Витька, — что ты-то за птица у нас...

Василий Никитич смерил Витьку надменным взором; Витька один пока знал тайну его крови, и теперь Василию Никитичу предстояло посвятить в неё остальных. Но тут Гаврила вдруг беспокойными жестами

дал понять, что за разговорами все позабыли про водку, и компания снова выпила, закусила, выпила и закусила... Всех понемногу стало развозить; Витька, позабыв во рту папиросу, даже сидя задремал. Василий Никитич, напрягая волю и речь, стал развивать перед собравшимися преимущества четвёртой группы крови, а поскольку его слушатели вообще не имели о предмете никакого понятия, он преуспел настолько, что заключил монолог словами.

— И все вы, все как один, никуда не годные балбесы... И мать-природа на вас отдыхает... Конечно, нет в том вашей вины, что вы такие вот и родились на свет Божий... и кровь у вас не кровь, а простокваша... И мне, человеку с редкой группой... мне...

Тут Василий Никитич вынужден был прерваться, поскольку как-то внезапно протрезвевший Шпрот схватил его за грудки, подтащил вплотную к себе, и страшно сверля глазами, молвил.

— Ты ж всё-таки гнида, Никитич!.. Долго я терпел тебя, фраера, но сейчас уже утоплю!..

Шпрот было всерьёз потащил обмякшего Василия Никитича к берегу речки, но тут вскочил, пошатываясь, Гаврила, и вцепился в Шпрота, что-то мыча ему в озверевшие очи. Следом поднялся, держась за спящего Витьку, Митяй и стал отрывать Василия Никитича от цепких, досиня разукрашенных рук Шпрота. Проснувшийся Витька бросился в общую массу тел и началась, как говорится, «картина маслом»...

Закончилось всё это миром, никто никого не утопил, никому ничего не сломали, разве что Митяй ради симметрии обзавёлся вторым фингалом. Уже смеркалось, когда вся пьяная компания, обнявшись, нетвёрдыми стопами двигалась вдоль села, оглашая окрестности нестройным хоровым пением.

Много разбойники пролили
Крови честных христиа-а-ан...

5

Василия Никитича, едва державшегося на ногах, перехватила возле дома жена Надежда и, отругав для порядка крепкими словами, заботливо уложила спать. Однако, ночью бесшабашному муженьку стало плохо, и Надя, стуча зубами от ужаса и отчаянья, бросилась к соседке Шуре, у который был мобильный телефон. Неотложка на удивление приехала из райцентра быстро, и Василия Никитича увезли в больницу с гипертоническим кризом. Надежде разрешили сопровождать мужа. Больной был отправлен в реанимацию, и жене через полчаса сообщили, что опасности нет, «но могло быть и хуже».

Через неделю Надя приехала за Василием Никитичем. Она встретилась с доктором и попросила его, нельзя ли определить у больного груп-

пу крови. Доктор ответил, что они сделали все необходимые анализы, в том числе определили и группу. Он полистал бумаги на столе.

— Ну вот... вот, пожалуйста: Василий Никитич ваш... вторая группа, резус положительный... Можем ему в паспорт пропечатать.

Надя смотрела на доктора молча и с недоверием.

— Что? Что-то не так? — спросил доктор.

— А... а ему в прошлом году в здравпункте нашем медсестра сказала, что четвёртая группа...

Доктор устало улыбнулся.

— Ну, в здравпункте... Хотя, конечно, и там надо бы повнимательней. А у нас ошибки быть не может — аппаратура последнего поколения, месяц назад только пробили...

— Так значит, вторая всё-таки? — просияла вдруг Надежда, поднимаясь со стула. Доктор с некоторым беспокойством взглянул на странную женщину.

— Вторая, уверяю вас... А в чём дело-то? Что вас так обрадовало? Многие всю жизнь знать не знают, какая у них группа крови...

— Спасибо вам, доктор!.. И правильно делают, что не знают! — продолжая загадочно улыбаться, Надежда поспешно вышла из кабинета.

3-4 Июля 2014

Григорий Марговский (США, Бостон)

Родился в 1963 г. в Минске. В 1990 г. окончил дневное отделение Литинститута (поэтический семинар Е. Винокурова). Публиковался в журналах «Смена», «Юность», «Студенческий меридиан», альманахах «Поэзия», «День Поэзии», «Латинский квартал». Работал ответственным секретарем газеты «Литературные новости». Эмигрировал в 1993 г., живёт в Бостоне. Одно время самостоятельно редактировал и издавал бостонский поэтический альманах на русском языке «Флейта Евтерпы». Автор трёх сборников стихотворений: «Мотылёк пепла» (1997), «Сквозняк столетий» (1998), «К вам с игрой – игрой игр» (2008, Москва-Владимир, «Транзит-Х»).

Обратный путь



© Фото Александры Отважной

Повестка

За тобою пришли, одевайся.
И уйми эту дрожь.
Никакого, запомни, девайса
Ты с собой не возьмёшь.
Безмятежный сей мир не резинов,
Возмутитель умрёт.
Осторожнее будешь, разинув
Независимый рот.
Сколько раз ты, родившись в сорочке,
Получал под ребро?
Сколько раз на запрос об отсрочке
Отвечали «добро»?
Думал, век не сноситься шарниру
С головой без царя?
Поздно, батенька, реинкарнируй
За леса, за моря!
А останется ль тот неизвестен,
Кто в герои пролез, —
«За» и «против» на крылышках взвесьте,
Вертухаи небес.
Ведь размолвку со всею вселенной
Нелегко оправдать,
Даже если твой опус нетленный
Для иных благодать.
Взгляды скользки, пожатия липки.
Ты фантом для людей.
Только ангелу смерти улыбки
И хотелось твоей.

Замысел

Когда умру, куда я денусь?
 Люблю за то, что ты молчишь.
 Есть неба неприкосновенность
 И с чёрной шапочкою чиж.
 Пока свои фиоритуры
 Выводит в клетке чародей,
 Утаивают тучи, хмуры,
 Часть мироздания от людей.
 А мы, вдали от вертограда,
 Пичуге тихо подпоём:
 Для нас и то уже награда,
 Что мы не знаем ни о чём.

Прогульщики

Какая в городе погодка тихая!
 Мобильник вырубил и побродяжь.
 Таможня бывшая, часами тикая,
 Возьмёт прогульщиков на карандаш.
 Туда, где весело, угрюм и тощ, иди,
 Где ёлки ряженой искрит смарагд,
 Мощёной улочке, старинной площади,
 Слегка кружащимся, кивая в такт.
 Манят витринами, к баблу привыкшими,
 Бутики модные, салоны спа, —
 Ты ж невидимкою меж велорикшами
 Скользни задумчиво в балетном па.
 Торговцы хриплые с пучками брокколи,
 Сыры швейцарские и рыба-меч:
 А нам ведь главное, чтоб нас не трогали,
 Храни нас, Господи, от лишних встреч!
 Там Санта-Клаусы и взмахи феины,
 Огни бенгальские, залива гладь...
 А мы за пропуски судьбой отсеяны,
 И летней практики нам не видать.
 «Зачем же в синьке вы бельё полощите,
 Ветра Атлантики?» — ревет трамвай.
 А ты с улыбкою по этой площади,
 Угрюм и тощ, иди да напевай.
 По этим офисам, громадам каменным
 В земную сессию нам незачёт:
 Пора готовиться к иным экзаменам,
 Тоска предвечная к себе влечёт.

Шарманка

Весна. Такие в барах лица,
Такая трескотня сорочья,
Что хочется прибарахлиться,
Простушкам голову мороча.

Уже обнажены коленки,
Воспряли взоры, блеск обретши,
И, рассуждая о Пуленке,
Хихикают музыковедши.

И ощущает математик,
Отвлечшийся от интеграла,
Значительность иных тематик,
Поскольку молодость взыграла.

Блажит весёлая орава,
Браслетами бряцает дева,
Студентам факультета права
Нетерпится сходить налево.

Забив на кафедру, теолог
Балдеет, заказав мохито,
Хотя демарш его недолог,
Да и за стойкой всё забито.

Спешит патологоанатом
Прижать сильнее Иродиаду
И сальсы огненной фанатом
Стирает со скулы помаду.

А гарвардским библиотекам
Осталось дуться сиротливо,
Небесным утоляя млеком
Святую жажду нарратива.

И, как освищенный апостол,
Весь вывернутый наизнанку,
Маэстро, возвращаясь в хостел,
Волочит по полу шарманку.

Рухлядь

Как любил я подростком
Чердаки и подвалы!
Пробираясь по доскам
И шепча «елы-палы»,
Натыкался на кресел
Подлокотники в страхе
И во тьме куролесил,
Примеряя папахи.
Не коллекция сабель
Рядом с чучелом лисьим,
Так заброшенный штабель
Фотоснимков и писем,
Где для розовых щёчек
Мадригал вдохновенный
Сочинял пулемётчик,
Пожираем гангреной.
Не фонарик предавний
И с зазубринкой ножик,
Так собрание преданий,
Вееров и застёжек,
Да серёжек, что в ухе
Золотились картинно
Одинокой старухи,
Умиравшей без сына...
А теперь мне ни в подпол,
Ни наверх неохота;
Прожил день, смену отбыл,
Подроспела суббота.
Что за радость нам в хламе,
Грызунам на съеденье,
Прозябать меж чехлами
Для передних сидений?
Наклонюсь над кроватью,
Чтоб подушку припухлить:
Ни с какою загадкой
Ты не связана, рухлядь.

Обратный путь

Из городов здесь только призраки,
Ландшафт приближен к идеалу:
Несёшься — и любой каприз реки
Рулём обводишь по лекалу.

По радио орет Led Zeppelin —
Всепоглощающее ретро;
Холмы упруги, вечер пепелен,
Разнуздан грех дождя и ветра.

Не о сударынях и сударях
Сусальный сериал тягучий —
Соитие до слёз, до судорог,
Бунтарство в приступе падучей!

Лети и в памяти прокручивай
То элегическую негу,
То алчность выпада паучьего,
Предшествовавшего ночлегу.

Вдруг, резко тормозя за кручею,
Перед обзорною площадкой,
Выходишь: а зачем я мучаю
Себя и близких ложью сладкой?

Так, норовя секреты вынюхать,
Каурого коня пришпоря,
Лазутчик перейдёт на иноходь
Вблизи враждебного подворья...

Замри, окинув незнакомую
Округу, с дозой яда в вене,
И тёмною платя истомою
За варварское исступление.

Соло

Отроком я чурался мата,
Гриппом болел, читал Жорж Санд.
Пастой зубною пахла мята,
Бредил маслятами десант.

В небе ночном стыкуясь, модуль
Изображал триумф орбит.
Жался к забору я поодаль,
Слыша, как жахает карбид.

Сколько ей втечь, а сколько вытечь,
Знала из алгебры вода.
Вождь семинолов Гойко Митич
С виду был сокол хоть куда...

Так бы и шло, когда б секретца
Не разгадал в пятнадцать лет:
Любо со сверстницей согреться
В хвойном лесу, без нужды плед.

Ну, а затем — одна, другая,
Чаще втроём: завидуй, класс!
Алиготе лилось, сверкая,
Старый задачник не указ.

Мчал среди прерий, отбивался,
Больше не думал о грибах,
Пару стыковок в ритме вальса:
В гипоталамусе — бабах!..

Вот и тяну свое бельканто,
Выбившись начисто из сил:
Ни Консуэло, ни таланта,
Этих отверг, а тех взбесил.

К сессии зимней заменю я
Голосовые связки — чтоб
Зал помягчел, экзаменуя
Соло, улёгшееся в гроб.

Татьяна Громова
(Россия, Санкт-Петербург)

Родилась в Ленинграде. Окончила дошкольное педагогическое училище с красным дипломом, затем — факультет дошкольной педагогики и психологии ЛГПИ им. А.И. Герцена.

Работала воспитателем, методистом, психологом в детских садах и Доме ребёнка, техническим редактором в журнале «Медный всадник», газете «Земля русская»; ответственным секретарём в журнале «Невский альманах» и газете «Собственное мнение». В настоящее время — сотрудник издательства «АураИнфо». Член Союза писателей России, член Многонационального Союза писателей, ответственный секретарь Совета Беляевского фонда поддержки и развития литературы.

Без чёртика — ни на шаг

Ислучаются же удивительные события! Пришло по электронной почте письмо — глазам не поверила: приглашают зайти в издательство на предмет выпуска в свет моей книги! Надо сказать, что и рукописи-то у меня на тот момент не было, и не рассылала никуда своих опусов, заранее зная, что до издателей хрен достучишься... Да и пишу такое, что в литературных кругах неуважительно называют «неформатом»... И вдруг — на тебе! Чудеса!

Разве могла я отказаться?!

И в назначенное время явилась пред светлы очи редактора — средних лет дядечки, седеющего, лысеющего, с обозначившимся брюшком и при очках, важно восседающего за столом, заваленным кипой бумаг, и после традиционного рукопожатия вручившего мне визитку, где значилось: Алексей Петрович Веселов, заведующий редакцией издательского дома «Огузков».

— Располагайтесь, — хозяин широким жестом указал на свободный стул, едва уместившийся в маленьком кабинете. — Чаю? Кофе? Может, коньячку?

— Кофе, если можно.

— К сожалению, только растворимый, «Якобс монарх», — Алексей Петрович переложил часть бумаг поверх уже возвышавшейся справа от него пачки и водрузил на освободившееся место кофейную пару, вынув её из необъятных глубин своего стола. Оттуда же появились и две банки: гранулированного кофе и сахарного песка, бумажные салфетки и чайная ложечка — одна за всё про всё. Небольшой металлический электрочайник урчал на подоконнике, готовясь закипеть.

— Спасибо, «Якобс» — как раз мой любимый...

— Вот и чудненько. Печенье, увы, кончилось, — мой визави наполнил чашки кипятком, вернул чайник на место и продолжил: — Спасибо, что пришли. Вы, уверен, удивлены нашим предложением, но всё очень просто. Во-первых, вас порекомендовала дама (не буду называть имени),

закончившая вместе с вами курсы «Литератор», а во-вторых, я слышал ваше выступление по радио, и прочитанный фрагмент текста дал вполне ясное представление о стилистических особенностях, авторском языке, интонации и об уровне мастерства. Мы решили ломать стереотип взаимоотношений авторов с издателями, — чтоб не думали, будто сидим на небесах и заботимся исключительно о прибыли. Вы же понимаете, что «вообще издателей» не существует — так же, как неких раз и навсегда определенных «военных», «учёных» или «шахтёров». Люди разные, и те, кто почему-то оказались издателями, в той же степени. Вот и ваш покорный слуга грешен: люблю рассказы. Короткие реалистические рассказы. И уговорил босса на новый проект — запустить серию сборников молодых авторов, специализирующихся именно на рассказах. Главный ориентир — качество текста. Так что с вас, голубушка, причитается десять авторских листов. Курсы заканчивали — знаете, что это за объём.

— А сроки? — пискнула я.

— Максимум три месяца, — он уткнулся в календарь, — а именно: двадцатого октября сего года, жду вас на том же месте, в тот же час!

Из кабинета я вышла озадаченная и окрылённая.

Стоит ли говорить, чему были посвящены ближайшие дни? Естественно, напряжённой работе над рассказами: из уже имеющегося отобрать и во второй, третий раз отредактировать, сызнова вычёсывая блох, тараканов, мух и — о ужас! — слонов. Однако из старого, спасибо слонам, большую часть пришлось выкинуть. Но как за такой короткий срок настрочить семь листов (а один лист — это сорок тысяч знаков), короче, сто сорок страниц текста?! Если больше, чем по одной в день, хоть убей, не пишется, как за девяносто дней родить сто сорок? И когда я в тысячный раз задала себе этот вопрос, маленький чёртик, мой верный спутник жизни, что сладко дремал между мозжечком и гипоталамусом, наконец проснулся и хихикнул: «Тоже мне, бином Ньютона! Девяносто дней да пятьдесят ночей — и дело в шляпе!» Кому-то может показаться странным, а мне этот совет очень помог!

В общем, титанический труд был завершён вовремя, и двадцатого октября в полдень я стучалась в кабинет редактора и была крайне удивлена, обнаружив на его месте мощную тётку с химическими кудряшками, мясистым носом, накрашенными сиреневой помадой губами и недобрым взглядом.

Больше того, тётка завершила меня, что сидит на этом редакторском стуле аж десять лет, ни про какого Веселова Алексея Петровича слухом не слыхивала, а упоминание о проекте короткого реалистического рассказа завершилось приступом гомерического хохота.

— Милочка, да вы с ума сошли, — загремела дама, отсмеявшись. Нам нужна крупная форма: романы известных авторов — дамские, со смелыми любовными сценами — эту серию как раз я и веду, детективы, истории с попаданцами... А вы кто такая? И заберите вашу рукопись. Работать мешааете.

На этом аудиенция закончилась, но прошло ещё немало времени, покуда я поняла, что весёлый человек Алексей Веселов меня попросту

разыграл. Зачем? Зачем? — теребила я спасителя-чёртика, и тот не заставил долго мучиться, откликнулся: «Первый раз, что ли? Никто не разыгрывал? Не верю! А сама — белая и пушистая, да? Никогда не ломала комедию, не подначивала, не хохмила? Пораскинь мозгой-то!»

И я пораскинула...

...Заря туманного детства. Солнечный весенний денёк. Я стою на кухне, прижавшись носом к оконному стеклу, и наблюдаю за событиями, происходящими на крыше соседнего дома, который ростом не вышел — ниже нашего на целый этаж, и это предмет моей гордости и Борькиной зависти, потому что я живу на последнем — пятом — этаже, а Борька — тоже на последнем, но четвёртом, в доме напротив. И пусть не хвастается, что он старше и выше — всё равно я из своего окошка всегда смотрю на него сверху вниз и высываю язык. Но теперь Борькина физиономия показывается не на его этаже, а в проёме чердачного окна. В руках он держит маленькое зеркальце, ловит им солнечный луч и наводит на меня... Я знаю — это условный сигнал, надо спуститься во двор и встретиться с Борькой, но зайчик скользит по лицу... Нестерпимое сверканье, словно в каждый глаз попало по маленькому солнышку... я зажмуриваюсь, трясую головой, хочу пожаловаться...

В кухню всплывает бабушка и говорит каким-то «неправильным», слишком уж сладким голосом:

— Иди-ка в горницу, на подоконник погляди, там для тебя бананы лежат.

Я забываю о Борьке и стремглав несусь в просторную квадратную комнату, которая служит нашей семье и спальней, и детской, и гостиной, и кабинетом, спотыкаясь о домотканый половичок и падаю, звонко шлёпнув ладонями по крашеному полу. В глазах всё ещё пляшут чёрные круги от борькиного зайчика. Случись такой казус в другое время — непременно бы разревелась, но сейчас некогда: меня ждут бананы! Интересно, сколько их в грозди — пять? Шесть? Ну уж точно, не меньше четырёх. Да неважно, только пусть будут жёлтыми, тогда не придется заворачивать в газету и ждать, пока созреют. И наверное, бабушка разрешит сразу съесть хотя бы один... Я сама освобожу его от кожуры и, наслаждаясь ароматом, вгрызусь в податливую мякоть...

Обшариваю глазами подоконник и, не доверяя зрению, ощупываю гладкую прохладную поверхность, на ней остается светлая дорожка. Рука становится грязной. Щели в окне заткнуты посеревшей от копоти ватой. Между рам — большая муха; лежит сверху брюшком, лапки поджаты...

За спиной слышится смех.

Поворачиваюсь и в полном недоумении смотрю на бабушку.

— С Первым апреля! — улыбается она.

Обида неизмеримо велика, я безутешно плачу.

— Иди-ка погуляй, — говорит бабушка, — Борька давно заждался, всё зеркало, небось, на «зайчиков» израсходовал. И прекрати выть, а то глаза навсегда, как у китайки, останутся!

Разочарованная в жизни, выхожу во двор.

— А я чего звал-то тебя, — говорит Борька, в руках у него тряпичный мешок с ручками, — мы переезжаем завтра... Недалеко, на Петровскую на-

бережную... Ну, в тот большой дом, где Белоусова с Протопоповым живут... Раньше не говорил — мама не велела, сплзнуть боялась... Я к тебе играть приходил буду, и в одном классе останемся... Знаю, ты любишь... Вот, — и протягивает мне мешок. Я беру, заглядываю внутрь... А там — связка бананов.

...Заря туманной юности. На адрес комсомольской организации нашей школы пришло письмо из Казахстана. Девочка Зоя захотела переписываться с мальчиком из Ленинграда, ответ написать поручили моему кумиру и соседу по парте Борьке Калинин, но тот абсолютно не заинтересован в переписке и выбросил конверт. Мне жалко разочаровывать незнакомую Зою, да и над Борькой подшутить не прочь. А чёртик резвится, толкает пяткой в бок: «давай-давай, тренируйся — писательницей станешь!»

И, вообразив себя богиней правосудия и справедливости, вытащила из урны конверт, пришла домой и, даже не пообедав и не переодевшись, уселась за письменный стол, достала из верхнего ящика тонкую тетрадь в клеточку и, покопавшись, извлекла со дна того же ящика лист синей копирки... Вырвала из тетради две страницы, проложила между ними копирку и, меняя почерк, с наклоном в левую сторону, написала, что зовут меня Борисом, увлекаюсь боксом, собираюсь стать каскадёром, люблю кино и мороженое и готов переписываться. Извиняюсь за дурной почерк и жду ответа, как соловей лета...

Зоя оказалась очень аккуратным корреспондентом, и наша переписка, ставшая пусть не шедевром, но весьма забавным образчиком эпистолярного жанра, длилась несколько лет, а копии из-под копирки (я сохраняла их, чтобы ненароком не завратиться) вместе с казашкиными ответами скрупулезно складывались в большую папку с завязками.

С Борькой мы дружили с пелёнок, поэтому, зная его, я сносно справлялась со взятой на себя обязанностью писать от его имени.

И вот на заре туманной молодости, когда я, студентка педагогического института, строила дерзкие планы создания семьи с ленинским стипендиатом университетского физфака Борисом Александровичем Калинин, будущим доктором наук и профессором, казашка Зоя приехала учиться в город на Неве, благополучно поступила в кулинарный техникум (там общежитие иногородним давали) и на голубом глазу за явилась к Боре в гости. Естественно, по моему адресу. Святая простота!

Пришлось представиться Бориной кузиной, а его самого срочно депортировать — да хоть на спортивные сборы! Спровадив нежданную гостью, я кинулась к Борьке, всё рассказала и умоляла помочь выпутаться из этой истории. Вот когда пригодились копии писем от его имени! Хоть и стыдно было невероятно...

Борис, конечно, показал себя истинным джентльменом, настоящим другом: после недолгого раздумья и простил, и сказал, что выручит, и впрямь выручил, но... с тех пор, иначе как сестричкой, не называл, а не прошло и полгода, пригласил на свадьбу. Нетрудно догадаться, невеста — моя подруга по переписке.

«Да уж, — резюмировал чёртик, — воистину ни одно доброе дело не остается безнаказанным!»

Обижаться на Борьку? Или, тем более, на Зойку? Какой смысл — сама виновата, врать не надо, Варенуха. Обиделась на чёртика. И, сжав зубы, принялась готовиться к празднику. Не пойду, — думала я, — поздравлю телеграммой... Нет, пойду... Но телеграмма пусть будет... План созрел неожиданно.

«Подсказать?» — услужливо высунулся чёртик.

«Отстань, поганец. Из-за тебя все неприятности. Сама справлюсь».

Отыскав несколько образцов и добыв на почте чистый бланк, нашла подходящую бумагу для имитации телеграфной ленты (выбор был, ибо мама работала в типографии, и дома всегда хранился запас), напечатала текст на доставшейся в наследство от бабушки здоровенной чёрной пишущей машинке «Москва», нарезала строчки узкими полосками, наклеила их на бланк... Со штемпелем на обороте пришлось повозиться, но опыт подделывания печатей имелся со школьных лет. Принцип действия множительной техники собственного изобретения был прост. Я взяла лист фотобумаги (глянцевой, тисненая не годится), поднесла к носику кипящего чайника, чтобы размягчить и увлажнить, плотно прижала нагретым эмульсионным слоем к задней стороне настоящей телеграммы, где стояла печать почтового отделения, — на фотобумаге появился оттиск в зеркальном отображении. Теперь дело за малым: не теряя времени, пока «клише» не остыло, шлепнуть его на обратную сторону фальшивки, как следует растереть чем-нибудь твёрдым и гладким (подойдёт ручка столового ножа) — и копия печати готова! Результат оказался вполне удовлетворительным, и в день торжества псевдотелеграмма незаметно присоединилась к другим письменным поздравлениям.

Когда очередь дошла и до них, Борис, возвышаясь над столом, начал вытягивать из пачки по одной телеграмме и во всеуслышание зачитывать пожелания от родственников и знакомых, не сумевших попасть на застолье.

И вот глазам новобрачного предстало моё творение (кстати, бережно сохранённое им до сего времени, так что при желании можно полюбоваться шедевром в подлиннике):



Новоиспечённый муж резво и громко отбарабанил текст, а подписью чуть не подавился, и на лице его явственно и последовательно читались непонимание, удивление и наконец — веселье, согнувшее его пополам.

— Кто-о-о... — выдохнул он, давясь хохотом, — ...кто это сделал?

Гости, покатываясь со смеху, дружно ринулись полюбоваться телеграммой от самого Генерального секретаря любимой и родной компартии. Конечно, будь я поопытнее, знала бы, что правительственные телеграммы отправляются на специальных бланках, и, если такой добыть, глядишь, и впрямь поверили бы...

«Ну что, дура? — злорадствовал чертик, — не вышло у тебя розыгрыша. Так, вялая шутка. И нечего думать, Карнега несостоявшаяся, что умеешь делать из лимона лимонад. Однако, если с другой твой жених шуры-муры, то неизвестно, кому повезло. А ну, сыграем со смертью в жмурки! Давай-ка, завязывай шарфиком глаза... Да поплотнее, нечего подглядывать! Теперь я тебя раскручу как следует: раз-два-три-четыре-пять, иди искать! Ну, марш-марш отсюда на улицу!»

И я, спотыкаясь и плохо соображая, двинулась вслепую куда ноги понесут...

Хотелось утопиться, сгнуть под колёсами грузовика, провалиться в люк, чтобы навсегда растаяло навязчивое видение: Зойка в свадебном платье, марш Мендельсона и счастливый Боря, прилюдно целующий теперь уже законную жену...

Ночь крушения надежд, брачная ночь со смертью...

Голова кружится, тушь потекла и нестерпимо щиплет глаза...

Визг тормозов и резкий запах палёной резины, чистейший русский матерный, кто-то трясёт меня за плечи, срывает шарф и залепляет увесистую пощечину:

— Кретинка! Мать твою в коромысло! Если тебе жить надоело, хоть бы о других подумала!

Первое, что запомнилось, когда пелена с глаз была сорвана — не злобный мужик, а серебристый олень, готовый в прыжке сорваться с капота и пронзить меня насквозь, защищая хозяина. А тот, спустив пар, продолжал уже спокойнее:

— Мне, к примеру, ни на кладбище, ни на скамью подсудимых ни сколько не хочется. Послал Господь подарочек. А ну, залезай быстро в машину, а то по шее надаю!

И я поняла: надаёт, если не подчинюсь, а после оплеухи цвет жизни почему-то стал меняться. И я умостила на заднем сиденье «волги», — единственной марки, безошибочно определяемой мною даже ночью, — размазывая остатки туши по щекам никуда не годным для этой цели шарфиком.

— Родители есть? — водитель повернул ключ зажигания, и мотор мягко замурлыкал.

— Есть... — и тут я осознала, каким ударом и для мамы, и для отца была бы моя безвременная смерть.

— Живёте с ними? — машина тихонько поехала по Петровской набережной. — Адрес?

— Здесь недалеко, Чапаева, одиннадцать, угол Пинского переулка.

— Меня зовут Андрей Андреевич. А вы, неудавшаяся самоубийца, как именуетесь?

— Думала, Фемида, а оказалось — Мойра...

— Что так?

— Да вот, стала жертвой собственного розыгрыша...

И, сама не зная зачем, я поведала первому встречному свою грустную и поучительную историю.

— Да уж, судьба, — усмехнулся Андрей Андреевич, — Мойра...

Но всё повернулось с точностью до наоборот, и очень скоро марш Мендельсона исполнялся уже в нашу честь, потому что судьбой, моей судьбой, оказался именно Андрей Андреевич.

«Ну что, — хихикал чёртик, — зря тебя, что ли, вёл? Знал — куда. Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!»

Но моё замужество — уже совсем другая история, и к розыгрышам, как мне тогда представлялось, она не имеет никакого отношения.

Впрочем, как всегда, я ошиблась.

И если вернуться к «Огузкову», получается, и к чёртику ходить не надо, чтобы понять: в издательстве-то меня разыграли неспроста! Ведь и страшные десять листов осилила в заданные сроки, и книга-таки, назло редактрисе-матроне, аж в Москве увидела свет. Вот она — читайте на здоровье!

Розыгрыш в этой ситуации оказался очень полезным: и адреналин с эмоциональным всплеском сгенерировал, и ущерба ни морального, ни материального не принес, и весёлым оказался. Это ответ на вопрос «зачем?»

А кому это понадобилось, кто придумал и срежиссировал спектакль, я, пошарив по сусекам извилин, вычислила. Кто хотел, даже больше меня самой, чтоб я расписалась, то есть вошла во вкус, перестала лениться и начала сочинять прозу? Отвечаю: моя судьба, муж, Андрей Андреевич. Ведь он, между прочим, — писатель. Фамилию называть не буду, сами догадайтесь. А не сумеете — спросите вашего чёртика. Уж он-то знает.

Анна Просветова
(Россия, Москва)

Писатель, сценарист, 33 года ; родилась в Сибири, живёт и работает в Москве; замужем, воспитывает собачку.

Дело врачей (рассказы из готовящейся к публикации книги)

Месть

Женечка Вальштейн раньше был такой скромный мальчик, что его даже не приглашали на детские праздники — ведь знали, что он всё равно не будет играть, а забьётся в угол тихонечко и ножичком разрежет какую-нибудь лягушку или мышь. Мама его, Ида Сергеевна, очень волновалась. «Как же, — спрашивала мама, — наш Женечка познакомится с девушкой, если он такой скромный застенчивый мальчик?». Но волнения её были напрасны — юный Вальштейн вырос, поступил в медицинский и начал знакомиться с девушками легко и изящно: подходил к ним в кафетерии и предлагал сходить на экскурсию в морг. Однажды таким образом он познакомился с девицей Пируевской, которую прямо



© Художник Елена Любович

раз при встрече на кухне советовала Пируевской идти, откуда пришла. Чтобы избежать конфликтов, Женечке даже понадобилось проявить характер и увезти семью от мамы в Америку, где теперь он уже много лет трудится успешным хирургом, вставляя за деньги искусственные груди. При этом у девицы Пируевской оказалась хорошая память, и она никогда не забывает пригласить Иду Сергеевну к себе в гости, чтобы показать ей козью морду.

зуб

Георгий Вагинакис — прямой потомок древнего и благородного рода критских Вагинакисов. Папа его, Анастас Вагинакис, в молодости много путешествовал и там завел изрядное количество романтических знакомств. Юные девицы любили Анастаса, как мухи мёд. Мама Георгия, Микаэла Геворкян, тоже пала лёгкой жертвой его нечеловеческого обаяния, следствием чего и стало рождение пухлого Гошика. Примирённый с действительностью, благородный папа Вагинакис женился на маме Геворкян, но жизнь их была лишена покоя — стоило маме отвернуться в одну сторону, как папу тут же клонило в другую.

Средь частых семейных бурь юный Вагинакис рос ребёнком застенчивым и слабым. На верхней губе его уже начал пробиваться пух, а он всё не смел осечь родителей или хотя бы потребовать добавки в обед. На-



© Художник Елена Любович

следственное обаяние папы Анастаса не коснулось его нисколько, и все награды жизни он зарабатывал тяжёлым трудом. К счастью, профессор медицинского института Александр Македоныч Зильберман разглядел в долговязом первокурснике Вагинакисе недюжинные способности к ортодонтии и принял личное участие в его судьбе. И вот уже всего несколько лет спустя изящные прикусы, волшебным образом исправленные в частном кабинете доктора Вагинакиса, распространились по всему побережью, словно саранча. Часто бывало, что в одном и том же, например, ресторане, за соседними столами сидело сразу и двое, и трое, и даже четверо пациентов Георгия, и каждый держал во рту крупную кость.

В революцию жизненно поднатеревший Вагинакис-младший быстро узрел в происходящем гнилой корень, и, не дожидаясь конца, погрузил своё семейство и стоматологический стул на пароход во Францию. Практика его в Ницце вскоре сделалась знаменитой и расцвела лучше прежней, а бури подагрических уже родителей его, напротив, заметно ослабли. И всё было бы хорошо в жизни Георгия, если б не коварство любви. Девушки не чувствовали к Вагинакису никакой страсти, и, обретя новый прикус, рвались из его объятий, словно зубы. Больше того — даже и за деньги одарённый ортодонт не мог снискать женской ласки, отчего, в результате, и закусил губу на весь мир. С этого момента посещать врачебный кабинет любовно закушенного Георгия Анастасовича стало для пациентов настоящей пыткой — мужчинам он так и норовил подрезать нервный канал, а девушкам пихал в рот распорки.

И только врачебное сообщество высоко ценило профессиональный рост Георгия Анастасовича и дважды присуждало ему Каннскую Награду Золотого Зуба.

Судьба призвания

Айседора Шмуэлевна Лапидот всегда мечтала стать медсестрой. В детстве маленькая Айседора только и делала, что лечила кукол, выкармливала котят, тушила муравейники и ставила уколы апельсинам, да так хорошо, что даже и папенька её, Шмуэль Яковлевич, пускал скупую отеческую слезу и прочил дочери блестящую карьеру. Кончив гимназию, Айседора на следующий день уже была студенткой медицинских курсов, где её выучили накладывать швы и гипс, менять повязки и утку, мягко улыбаться выздоравливающим, скорбно — умирающим, а также профессионально звенеть склянками, ругаться с сиделками и флиртовать с хорошенькими врачами.

Прекрасное будущее Айседоры стояло на пороге — по окончании курса дипломированная медицинская сестра Лапидот А. Ш. была направлена на работу в крымский санаторий, волнующееся море и палящее солнце которого обещали ей богатый урожай из утонувших и обожжённых, а изобилие фруктов и рыбы подразумевало неостановимый поток

отравившихся. Торжественно въехав в кабинет санаторной медсестры, Айседора Шмуэлевна не могла сдержатъ нетерпения и готовности своей к приёму пациентов: под белоснежной марлей уже дремали стерильные скальпели, за стеклами шкафа готовились к змеинному прыжку тугие мотки бинтов, йод и камфора ждали своего выхода из кожаной шкуры аптечного короба, а на заострённом конусе Айседориной груди нетерпеливо вздымался стетоскоп.

Санаторное утро Айседоры Шмуэлевны всегда начиналось одинаково: выходя на завтрак, она благосклонно озирала отдыхающих, как если бы пастух смотрел на глупых коз своих — и в каждом из них виделась Айседоре будущая травма, или ангина, или, на худой конец, грибок. Но день проходил за днём, и ни одно утреннее обещание не сбывалось — и даже наоборот, на санаторных хлебах отдыхающий жирел, свежел, покрывался здоровым загаром и наливался силами, словно крымский персик, чтобы на исходе двадцать первого дня уехать домой полностью оздоровлённым, оставив после себя лишь пустые бутылки «Дюшеса», смытые волной песочные замки да разбитое сердце местной медсестры.

Так, сезон за сезоном, прошла, словно сон, целая жизнь. Давно истаяли в крымском закате карьерные планы Шмуэля Яковлевича, а вместе



© Художник Елена Любович

с ними растворились в солёной морской воде и мечты самой Айседоры. Дни её состояли теперь из советских газет, неторопливых санаторных сплетен, графика горячей воды, обсуждения меню, погоды, киновыпусков, замеров давления скучающим да редкого насморка, который плохо поддавался лечению и без него проходил лучше, чем с ним. И сама Айседора вся как-то постарела и оплыла, и белый халат стал ей туг, и мало кто теперь мог узнать в ней ту пылкую медсестричку, которая подавала большие надежды лет тридцать назад. А когда наступило и прошло последнее крымское лето Айседоры, то вслед за ним, в бархатном сентябре, настала пенсия. Айседору проводили с почётом, как положено, и на прощанье пили за её здоровье хорошее вино, и дарили ей чайный сервиз, и фото её печатали в газете «Крымская Заря», где все слова были лишь о труде и пользе, и ни слова — о несбывшихся медицинских мечтах. Всё примирилось в жизни Айседоры Шмуэлевны Лапидот, и больше не было ни горько, ни грустно, а наоборот, правильно и точно — таким, каким и должно было быть.

И только на следующий день после, когда уже и сама санаторная жизнь Айседоры превратилась из данности в воспоминанье, сразу двое отдыхающих сломали ногу, ещё один — руку, а маленький мальчик расскёк себе камнем бровь.

Пил во время чумы

Целых 45 лет Сергей Иудович Шеин работал детским врачом в поликлинике на Пролетарской улице. Бесчисленные поколения коклюшей, простуд, сопливых носов и высоких температур были вылечены под чутким руководством Сергея Иудовича, который никогда не боялся даже самых тяжёлых случаев и слыл отменным диагностом. Мамаши и бабушки очень доверяли мнению доктора Шеина — несмотря на заверения других врачей об отсутствии у ребёнка симптомов оспы и присутствии только слабых симптомов отравления компотом, взволнованные дамы всегда настаивали на личном осмотре Сергея Иудовича, который один только мог их полностью успокоить.

Неудивительно, что такое доверие со стороны окружающих заметно подрывало личную жизнь доктора Шеина — множество раз случалось, что счастливая избранница его только ещё разливала борщ по тарелкам, как Сергей Иудович уже бежал из-за стола на работу, не откушав и салат. Избранницы от такого нечеловеческого отношения, конечно, скучнели, и многие из них вскоре находили счастье в объятьях иных, пусть и не заслуживших народного признания докторов.

Вот отчего печальная старость застала Сергея Иудовича в одиночестве, не скрашенном спутницами, салатами и борщами. Соглашалась жить с Сергеем Иудовичем лишь только его старая собака Гоша, кото-



рую Шеин страшно баловал и кормил огузками всякий раз, как приходил с работы домой. Но и терпеливая Гоша не могла долго выносить постоянного отсутствия Сергея Иудовича и в результате всё-таки сдохла от нехватки человеческого тепла и переизбытка огузков. Это событие подкосило доктора Шеина сильнее других. Теперь он, скажем, нездоров. Теперь он, скажем, запил. В таком состоянии Сергей Иудович совершенно плевать хотел на медицину и отказывается являться в поликлинику, в результате чего на одной только Пролетарской улице последнее время ежедневно ставится от двух до четырёх неверных диагнозов, а совсем недавно был зафиксирован случай чумы.

Глаза и судьбы

Зинаида Рудольфовна Шнейдерсон всю жизнь презирала евреев. Папа её, старик Шнейдерсон, порицал еврейскую нацию за суетность и торгашество и с детства учил Зинаиду отрицать свои корни. В доме у Шнейдерсонов поощрялось всё русское, слушался Глинка, подавались бублики к столу, и висел образок, но несмотря на эти усилия, сам Ру-

дольф Давидович всё же не смог побороть судьбу и умер не столько от больших почек, сколько от еврейской тоски.

После смерти папы наследственно тоскующая Зинаида записалась в литературный кружок, где по понедельникам с выражением читала вслух своего любимого русского поэта Пушкина, а по четвергам принимала оживлённое участие в беседах о судьбах России. Именно в четверг, под портретом тоже хорошего русского писателя Салтыкова-Щедрина, Зинаида Рудольфовна познакомилась со Львом Аркадьевичем Гильштейном, который показался ей интересным собеседником и привлекательным мужчиной.

Как и Зинаида Рудольфовна, Лев Аркадьевич любил русскость и русское и дома имел внушительную коллекцию икон и обширную библиотеку. Мама Льва Аркадьевича давно умерла, и ничто не мешало Зинаиде Рудольфовне обрести в холостом Льве Аркадьевиче своё счастье. Кстати, сын их, Святослав Львович Гильштейн, стал впоследствии средней руки глазным хирургом и однажды испортил Зое Ясоновне Носик совершенно здоровый глаз.



© Художник Елена Любovich

Балет

Талантливая балерина Анжелика Копельянц живет одной лишь сценой. Пока другие увлечены глупой суетой, все мечты и стремления Анжелики сосредоточены в искусстве. Лучшей Джульетты, Авроры, Китри, Медоры и Никии, чем Копельянц, не сыскать в целом свете, а другой Жизель и вовсе не может быть. Отточенный стиль, утонченные движения, редкий талант, огромная душа – всё есть у Анжелики для того, чтоб стать богиней танца.

В дни премьеры где мы найдём Копельянц? Правильно, в Большом. Готовая лучше всех и взволнованная, сидит она в восьмом ряду партера, сжимая букетик в руках. Скоро-скоро подымется занавес, и на сцену выйдут те, кто недостоин и пальца её ноги. Станут они танцевать, но всё пустое – Анжелика бы сделала это лучше. И фуэте, и па-де-дё, и антраша, и всякая позиция выйдут у неё чище прима-балерины. Импресарио мира много теряют тем, что незнакомы с Копельянц – скажем так, Савва Афанасьевич Карсавин-Мерзуев, знаменитый антрепренёр и покровитель искусств, многое бы отдал за то, чтоб открыть миру Анжелику, которая не только божественна на сцене, но и одна могла б спасти его от разоренья и карточных долгов. А, скажем, наследственный князь Антон Петрович Кукушкин-Кацитадзе, стоило бы лишь представить его Анжелике, стал бы непременно влюблен, и стрелялся б с каждым, кто поднёс ей цветы. Или Варвара Оганесян-Цэцэ, львица света. Ей одной хорошо, что Анжелика не танцует. Варвара и так посредственность, а на фоне блистательной Копельянц её б и вовсе ждали забвенье и кордебалет. Или мать Анжелики, Элеонора Моисеевна Ганибот. Та б тратила дочкины деньги на лошадей. Да что там говорить.

Откуда, впрочем, им всем знать, что этуаль и сенсация работает скромной медсестрой в отделении гнойной хирургии, где времени на танец почти совсем не остаётся. И женихов там тоже не найти. Так и сгниёт талант.



© Художник Елена Любович

Наталья Богдановская
(Франция)

Родилась в Красноярске. После окончания университета по специальности «русский язык и литература» работала журналистом на ТВ. В 2005 г. приехала во Францию учиться в Парижской школе кинематографии (специальность «режиссура художественных и документальных фильмов»). Снимает документальные, короткометражные игровые, а также рекламные фильмы. Фотографию считает неотъемлемой частью своей профессии режиссёра.

Черубина, или Дневник её подруги

(Окончание. Начало и продолжение в №5 и №6)

25 мая 20** г. Париж

Ещё в метро Вера пыталась осторожно заглянуть за аляповатую обёртку компактной, но тяжёлой коробки. Бесполезно: чёрный скотч-«гаффёр», из тех, которым киношники смиряют к полу хаотический бурьян проводов и кабелей, добросовестно запаял все возможные просветы. Дома, бормоча комментарии непослушным рукам, она разорвала бумагу в клочья. Керамическая плита с глубоко прочерченными крест-накрест линиями смотрела из обрывков двумя недобрыми окружностями с вырезанными по краю зубцами, как бисквиты петибёр. Все геометрические фигуры были раскрашены в яркие цвета и являли собою, по первому впечатлению, некий шаманский атрибут. К подарку прилагались две страницы убоистого рассказа о создании этого эксклюзивного произведения босым ивуарийским супрематистом: за считанные минуты и, если можно так сказать, в домашних условиях полутёмной глинобитной хижины. Изделие, как повествовала сопроводительная записка Оливье, представляет его собственный портрет с натуры. Изюминку подарка скрывал последний абзац: подобные штуки на некогда колониальном Берегу Слоновой Кости местные жители вешали над дверью на счастье. Оливье подошёл к поверью творчески, усмотрев здесь параллель с листками-«окнами» отрывного календаря. Читая пляшущий у края письма чернильный заборчик, Вера наслаждалась той жадностью, с которой Оливье дышал идеей Черубины отрывать виртуальные странички этого календаря с каждым подарком, медленно приближаясь к Рождеству: дню, по определению, исключительному и волшебному, а значит, дню первой встречи Прекрасного Принца Оливье с Таинственной Незнакомкой Черубиной под вуалью Всемирной Паутины, которой вот уже два месяца успешно скрывалась его «бывшая» в последней попытке вернуть «Оливчика» таким изощрённым способом. Пока, под майским цветом парижских каштанов, они дошли лишь до «8 декабря». Впереди было ещё 16 дней, 16 подарков.

И 16 возможностей не добраться до цели. Хотя... в конце своего письма Оливье сказал Незнакомке нечто такое, что он за все пять Вериных лет никогда не писал и не говорил. Черубине, которая нашла его на сайте фривольных знакомств, которая ни разу не открыла в фотографиях своего лица, которая писала ему пером и чернилами стихи и запечатывала их сургучом, именно ей, а не Вере он писал здесь, запинаясь многоточиями: «...и знаете, я хотел Вам сказать... я начинаю чувствовать к Вам что-то очень глубокое... — его буквы приплясывали, подгоняемые внезапным озарением, — ...поймите правильно... это не только желание Вас увидеть... но настоящая необходимость в Вас... и в той теплоте Вашего присутствия, Вашего существования, с которой мне теперь так хорошо...».

Прочитав эти строки, Вера снова испытала смешанные чувства: торжество от удавшейся мистификации и лёгкую ревность к своему двойнику-отражению Черубине: «Как он мог все эти годы не понять, не увидеть, не разглядеть? Всё, что ему нужно, о чём он здесь сейчас пишет, есть во мне?!»...

Похоже, не только женская душа имеет право на многократно описанную «загадочность» и «нелогичность». Всего три месяца назад Оливье заявил Вере об их разрыве, а теперь практически ей же, т.е. её качествам, уму, тонкости, изысканности, вкусу он поёт дифирамбы!

15 июня

Приближался пятидесятый день рождения Оливье, и Вера рыскала по Парижу в поисках того особенного, напичканного смыслами и только ей известными намёками предмета, который даст возможность оторвать девятый лист их виртуального декабрьского календаря. В богатом на забавные вещицы квартале Маре, однажды уже спасшем её поиски архаичной канцелярской атрибутики, она набрела на книжную лавку. С ироничной мыслью-клише «Книга — лучший подарок» и потому с полной уверенностью зайти туда лишь из правила последних дней — не пропускать ни одной двери — она почти сразу обнаружила на нижней полке совершенно запылённый, но всё-таки новый, альбом о Жаке Бреле. Обложка соблазняла редкими фотографиями, обещая особый шарм издания.



© Фото Натальи Богдановской

Скучающий владелец магазинчика сразу согласился участвовать в несложной игре: передать пакет с книгой симпатичному брюнету, который назовёт имя Черубины де Габриак.

После удачной охоты настроение влекло в неспешную прогулку. Хотелось дойти до моста Кристоф-Мари, всем телом лечь на его холодный камень, свеситься, нестрашно балансируя центром тяжести, позировать бесчисленным фотовспышкам с туристических парходиков, изучать, словно хиромант, на четырёхвековой каменной кладке сплетения линий, ложбинок и царапин, представляя, что одну из них вполне мог оставить д'Артаньян — прототип того, книжного, гасконца и персонажа, по которому в студенческие годы Вера запоздало сходила с ума. Скорее всего, она была уже на полпути к любимому мосту, когда внезапная гроза заставила искать укрытия под крышей со сказочным названием «В некотором царстве...». Его витрина завораживала полупрозрачными нимфами, полупризрачными феями, остроухими эльфами, ангелочками всевозможного размаха крыльев и весовых категорий и прочими невероятными существами, коих в любой лавке игрушек, особенно накануне Дня всех святых, бывает огромное изобилие. Рассеянно теребя муслиновое крыло эльфа, Вера вдруг невесело подумала, что вот, может быть, уже очень скоро Черубине придёт время искать самый главный, рождественский, подарок. Трудно предсказать, когда их виртуальный отрывной календарь утончится до заветной даты 24 декабря: может, в жарком, опустошённом отпусками, августе, а может — промозглым дождливым ноябрьским днём. Но Вера, которая любила всё делать если не заранее, то вовремя, уже теперь начинала мучиться вопросом, что вернёт Оливье то его детское ожидание рождественского чуда, о котором он проговорился Черубине в начале их переписки.

Говорят, что мысли материальны. Хозяин сказочного магазинчика как-то вдруг вынырнул из-за спины огромного эльфа. Казалось, он и сам уже вобрал в себя черты своих крылатых персонажей. А может, он был просто одним из них?.. С таинственным видом он поманил Веру в глубину зала, где скрывалась ещё одна дверь. «Вы ещё не были в нашем подвале? — лукаво сощурился, заметив, что дама под впечатлением от не всегда безобидных обитателей его витрины не решается спуститься в неизвестность, — не бойтесь: вы увидите нечто такое, что вряд ли найдёте где-нибудь ещё в это время в Париже!» Он открыл тяжёлую дверь и тихонько подтолкнул Веру к крутой лестнице. Осторожно, почти на ощупь спустившись на несколько ступеней, она обернулась: эльф-оборотень оставался наверху и, если бы это был эпизод фильма ужасов, то именно теперь он должен со зловещим раскатистым хохотом захлопнуть тяжёлую дверь. Но тот лишь ободряюще улыбнулся: «Я сейчас включу свет в нижнем павильоне». И в тот самый момент, когда Вера миновала последнюю ступень, темнота ожидающей её комнаты вдруг озарилась россыпью разноцветных гирлянд, вальсированием света, а посередине... по-

середине зала — великолепно убранная... рождественская ёлка! Целая рота Пер-Нозлей на полу, бесконечно праздничный блеск новогодних игрушек на полках. Казалось, здесь даже пахнет свежей хвоей! Хозяин был прав: найти в Париже в разгар лета рождественскую атрибутику так же невозможно, как подснежники в декабре. «А вот здесь, — приподнял он, довольный произведённым эффектом, лапу ели, — здесь вы найдёте рождественские сапожки для подарков всех фасонов и размеров!» «Вы — волшебник?» — вырвалось у Веры: настолько невероятно всё совпадало с её недавними мечтами. «Да что вы! Я скромный и послушный налогоплательщик... Заходите, мы открыты всё лето».

17 июня

До дня рождения Оливье остаются считанные дни, но Вере теперь кажется, что для «9 декабря» одного фотоальбома с Жаком Брелем от Черубины будет недостаточно. Вечером, без всяких серьёзных намерений, она зашла в цветочный магазин: он попался на пути к дому и с порога окутал тем особым ароматом свежести, который бывает только в цветочных магазинах. Вера обошла букеты и остановилась возле ничем не приметного маленького оливкового дерева.

— Интересуетесь?

— Нет, так просто...

— У нас это последнее осталось — с каким-то отеческим сожалением произнес пожилой цветочник.

— И в чем же популярность?

— Неприхотливо... изящно... и потом, оливковое дерево у древних было символом верности.

Последняя фраза решила судьбу оливы: на следующий день деревце красовалось на витрине «Кофейни» верного связного Гастона. Одну из веток украшал блестящий конфетный фантик-«папийон». Внутри него — записка с точным указанием адреса книжного магазина, где Оливье найдёт подарок ко дню рождения. Дата — 8 декабря. Подпись — Черубина де Габриак.

20 июня

Летняя ночь неслышно спускалась на временно притихший Париж: его благополучные жители, отужинав в свои неизменные «с 20-ти до 22-х», готовились встретить уикенд по давно заведённому укладу. Для добропорядочного парижанина нет большего наказания, чем провести выходные в своём городе. «Что же вас гонит?...» — спросил бы лермонтовским слогом опьянённый прекрасной столицей турист. И удивился бы ответу: «Этот Париж так утомителен! Эта суета... Это неизбежное мелькание повсюду Эйфелевой башни... Каждый день одно и то же: дом-метро-работа!..» Поэтому уикенды французов стали такой же святой традицией, как круассан с конфитюром на завтрак, как обед и ужин по расписанию, как отпуск, который без тени смущения прекращает любую самую срочную работу. У нашего эмигранта это

в первое время вызывает удивление, затем насмешку, потом — завистливый сарказм, а после — круассан с конфитуром на завтрак, обед и ужин по расписанию, отпуск, прекращающий самую срочную работу... Все эти «конфликты менталитетов» с обретением жизненной стабильности довольно быстро и незаметно превращаются в собственное мировоззрение. И вот уже и он, вчерашний критик «этого странного» французского быта, спасается от «давящей повседневности пыльного Парижа» поездками за город, и ни вернисаж, ни театральная премьера, ни день рождения друга не в силах перетянуть чашу весов, на которой покоится незыблемая гиря под названием «Моё Личное Время». Даже самый отчаянный французский бонвиван, не пропускающий в обеденный перерыв откровенным взглядом ни одной юбки, в пятницу вечером забывает о «холостяцкой жизни», грузит в семейное «рено» свою среднестатистическую троицу детей и, окрылённый перспективой через четверть часа присоединиться к автомобильной пробке таких же счастличиков, ползёт на первой скорости в тихий буржуазный пригород, в аккуратно подстриженный садик любимой тёщи. Тот же, кто не успел вкусить всю финансовую практичность официального брака и гордо несёт на себе вместе с личной свободой всю полноту ежегодно растущих государственных налогов, заезжает на скутере за одной из своих подруг и мчит к каким-нибудь, пока потенциальным родственникам, лихо балансируя стальным корпусом между нагруженными хечбэками. Неудовольствие их водителей от внезапно вылетевшей из «мёртвого угла» скульптурной группы заботит его не более, чем остающиеся позади тяготы пятничной дорожной пробки.

Среди этих нарушителей автомобильного спокойствия удалялся от «надоевшего Парижа» со скоростью 200 км в час и Оливье. Коллективную радость приближения к уикенду у него омрачало только одно: смешанные чувства от наступающего шестого десятка.

В душной июньской тишине, повисшей над благополучным пятнадцатым кварталом, Вера особенно чутко ощущала движение времени. Нет, не поэтическая меланхолия гипнотизировала её взгляд на секундной стрелке: ровно в полночь, когда компьютер покажет четыре, а если повезёт с человеческой реакцией, и все шесть нулей, она нажмёт на клавишу «отправить», и тогда поздравительное письмо от Черубины придёт к Оливье первым. Идея «обнуления» была, конечно, для неё лишь ещё одним способом показать оригинальность чувств загадочной Незнакомки. Вера-Черубина с каждым своим, выверенным до запятой, письмом всё больше спутывала планы Оливье на легкое знакомство, всё сильнее волновала его мысли, всё надёжнее привязывала к сладкой неизвестности. Казалось, он лишь из приличия, в самом начале, намекнул Черубине на встречу, но, получив отказ, едва ли не с облегчением согласился с пафосным сценарием. Стрелки часов слились в единую вертикаль между 20 и 21 июня: поздравительное письмо под названием «9 декабря» ушло в виртуальный мир иллюзий Оливье.

27 июня. Москва

Маленькая олива, символ большой верности, целую неделю впитывала бодрящие ароматы кофейной лавки Гастона. Верный связной Черубины в ожидании Принца чутко оберегал предназначенный ему подарок от встречных потоков летнего воздуха, закопав горшочек с деревцем в гору необжаренных зерен на своей оконной витрине. Но Оливье все не было, а между тем приближалось святое время отпусков, и Гастон в присущей ему ироничной манере предложил поступить рационально: повесить на ветку ценник и поделить выручку пополам. Невинная шутка лишь подлила оливкового масла в огонь терзаний. Не слишком задумываясь, соответствует ли это спокойному образу Незнакомки, Вера настрочила Оливье ещё одно письмо — с подробным расписанием кофейни, мобильным и домашним телефонами владельца, схемой проезда, картой квартала, фотографией улицы, добавив для достоверности всей перечисленной информации ссылку на сайт Гастона. Чтобы понять, что мешает Оливчику забрать оливковое деревце, Вера в конце дня с букетом ирисов отправилась в его офис, по дороге для наглядности «непреднамеренного» визита заскочив в соседний супермаркет. Оливье был, как обычно последнее время, сух с ней, писал что-то в компьютере, ссылаясь на крайнюю загруженность. Рассеянно сунул цветы в кружку недопитого кофе, смиренно выслушал поздравления «с прошедшим», но на фразе Веры о желании его поддерживать всегда и во всём, вдруг ответил, что знает об этом. Вера внутренне замерла, подумала, что он догадывается о мистификации и продолжает игру лишь из желания разоблачить её, Черубину, с максимальным артистическим эффектом. Но на обратном пути она почти успокоилась, страхи улеглись, возня на кухне за приготовлением сложного соуса из анчоусов отвлекли от мучительного анализа, и поздно вечером, увидев в почте Черубины письмо от Принца, она не ожидала ничего, кроме восторженного отчёта от поездки в кофейню. Однако уже первая фраза колкой судорогой пробежала по коже, и весь недавний разговор в офисе, ответ, что он «знает» (а, может быть, он сказал, что «ВСЁ знает»?) заплесал в голове обрывками слогов, мешая глазам прочитать больше, чем первые строчки:

«Черубина,

Сожалею, что приходится Вам это говорить.... Но я Вас раскрыл! Да, да... мне очень жаль, что приходится ставить точку в нашем таинственном обмене подарками, но для меня все стало ясно...»

Она в ужасе захлопнула крышку лап-топа, словно это был ящик Пандоры, из которого вот-вот выпорхнет и медленно-неизбежно ляжет к ногам чёрная вуаль, разоблачая таинственность Черубины... Рассыпались и падали в невидимую пропасть сознания все мечты. Удаляясь, казались еще отчетливее, и оттого сильнее было ощущение их потери. Картины, лелеявшие её воображение со времён самого первого письма: его счастливое «прозрение», слезы раскаяния, глухие рыдания на её груди

и, наконец, прерывистое «Как я мог оставить такую женщину?!», рухнули тяжёлыми золочёными рамами, придавив последнюю надежду. Вера ещё долго сидела бы без движения с единственным и уже привычным вопросом в голове «Стоит ли жить дальше?», если бы не её неизменная склонность немедленно делиться происшедшим. Она снова открыла компьютер, чтобы обрушить новость на первого из списка своих друзей, кто окажется в скайпе. Первой оказалась я... Пятнадцатиминутный монолог, прерываемый всхлипами, завершился предсказуемым: «И что я теперь должна делать?». Вопрос не был риторическим. Вера красноречиво держала драматическую паузу в ожидании ответа от того, кто, по её мнению, «заварил эту кашу» (спасая, кстати, от подобного же вопроса три месяца назад).

Я попросила переслать это злосчастное разоблачение, и через мгновение уже читала письмо коварного Оливье. Опустив обглоданные ею до морфологического анализа первые предложения, я тут же заметила, что текст в действительности, несколько длиннее, чем следовало из пересказа.

«...мне очень жаль, что приходится ставить точку в нашем таинственном обмене подарками, но для меня все стало ясно.... Мой ангел хранитель, это Вы! Иначе, как бы Вы нашли все те слова, чтобы меня поддержать? Вы — подарок жизни! Цветок, проросший сквозь булыжники Парижа... Чудо природы человеческой, которое мне довелось встретить. Умоляю, верьте мне! Это оливковое дерево будет моим братом... Скажите только, как за ним ухаживать? У меня совершенно нет подобного опыта... Я жду Ваших указаний по следующему листку декабрьского календаря. И благодарю Вас от всего сердца за эти милые пожелания с днём рождения! Я не в силах ничего от Вас скрывать... Я чувствую, что я Вас... Нет! Ни слова больше!!! Мне так Вас теперь не хватает! Признайтесь, мой ангел любви, где Вы спрячете следующую страничку с датой, приближающей мой Рождественский подарок?.. В ожидании этого заветного дня я оставлю вам 1 июля мой „ответ,, в квартале Маре... »

Раскрытие Оливье нашей мистификации казалось настолько очевидным, что в первый момент Вера не поняла, чье письмо я ей зачитываю. Полнота жизни всей солнечной палитрой вернулась к ней довольно быстро, и вскоре она говорила уже о том, что неплохо было бы Черубине «исчезнуть» на недельку-другую, пощекотать нервы Оливчика внезапным молчанием, заставить поволноваться, поиграть на его чувствах. Всё, на что не хватало духа у Веры, избаловавшей возлюбленного своим бесконечно-покорным пониманием его проблем и прихотей, теперь исправляла Черубина, показывая, наконец, то женское достоинство, которое её Тень не смела проявлять в полной мере из страха упустить изменчивое расположение избранника. Нет, я не оговорила: теперь всё отчетливее становился рельеф Незнакомки, а та, кто писала от её имени ложилась на её историю Тенью придуманной жизни.

1 июля

День в офисе тянулся невыносимо долго. Телефонные звонки раздражали необходимостью сосредоточиться на работе. Едва досидев до определенного профсоюзом часа, Вера начала спешно собираться, но шеф, с утра исподлобья наблюдавший за её рассеянностью, тоже с нетерпением дожидался этого момента, чтобы «вне работы» высказать свои замечания. Он и прежде не отличался краткостью, а теперь ей и вовсе казалось, что его слова намеренно растягиваются, не имеют никакой значимости и лишь напоминают о тоскливой неизбежности менять работу. Вера была единственным штатным сотрудником этой фирмочки под управлением сердобольного японца, шесть лет назад убедившего префектуру в ценности для Французской республики такого сотрудника-эмигранта как Вера. Это дало ей возможность получить вид на жительство, страховки, далекие неактуальностью от бурлящего настоящего пенсионные гарантии, но вместе с ними и неизбежные налоги, оставлявшие в кармане лишь минимальную сумму. Эта «средняя зарплата по стране» вынуждала Веру ежемесячно тренировать гибкость ума в желании одеваться «с иголочки» и при этом не отказывать себе в гастрономических изысках. Мало кто из коренных парижан мог превзойти её по знанию географии стоковых магазинов и распродаж, где марки «Гальяно», «Жан-Поль Готье», «Клоэ», «Кристиан Диор» и «Нина Риччи» представляли прошлые коллекции с баснословной скидкой, не снившейся шоп-туристам. Её шкаф с трудом вмещал все отловленные полёты фантазий кутюрье, и время от времени юбки от «Гальяно», пиджаки от «Готье» и бижутерия от «Диор» отправлялись на родину неприятный родне, на ошалелую зависть богатым модникам города.

Утомительная лекция шефа с очередным «отеческим предупреждением», впрочем, быстро забылась, едва Вера оказалась в квартале Маре с заветным свёртком в руках. Не сдерживая нетерпения, развернула пакет на ближайшей «двухспальной» парижской скамейке. Место было свободно: клошар политкорректно сполз на теплый тротуар. На лавке пестрым натюрмортом выложились милая баночка с рождественским желе и чудесно упакованный грильяж от пафосной марки «Свадьба братьев». Вера купалась в предположениях: желе по традиции едят на утро после Рождества, а «Свадьба братьев»... ну, на братьев можно и не обращать внимания... главное — «свадьба»... Ведь нет же еще во Франции кондитерского дома с названием «Свадьба старых любовников», по аналогии с той песней Жака Бреля, которую «Черубина» отослала ранее Оливье. Он ничего не заподозрил тогда в тексте песни, а напрасно: каждая строка подходила под их отношения.

5 июля

Сегодня Вера снова нанесла визит в офис Оливье. Визит для него неожиданный, но именно на это и было рассчитано. На стеллаже его кабинета вперемешку, без хронологии, разложены подарки Черубины. Кое-где — ещё

в обрывках упаковочной бумаги. На подоконнике — горшок с оливковым деревом, щедро залитый водой. В этом болотце, в наполовину потопленном фантике с адресом книжной лавки резвятся дрозofilы. Оливье словно не замечал присутствия своей «экс», и только когда секретарь внесла на подносе две чашечки кофе, с усилием, больше внутренним, чем физическим, оттолкнулся от края стола. Чёрное кожаное кресло легко откатило хозяина к «уголку отдыха», где Вера усердно изображала заинтересованное чтение журнала новинок видеотехники. Она хотела начать с какого-нибудь умного вопроса, обсудить камеры 3 Д или то, что можно ещё поместить на сайт его фирмы, но вместо этого, не справившись с собой, вдруг игриво кивнула в сторону стеллажа: «И кто это тебе столько подарков надарил? Ой! Какие миленькие штучки! Можно посмотреть?» Оливье в первую минуту смутился, но быстро взял себя в руки и, как о чём-то самом обыденном, сообщил, что подарки от одной поклонницы, которую он никогда не видел, но которая в него влюблена. Тут уже вспыхнула Вера. Скрывая смущение, отвернулась к оливе, прогнала дрозофил, с победоносным видом извлекла из болотца фантик с адресом. Кажется, ей понравилось играть в ревность. Оливье проигнорировал «улики», посетовал лишь, что деревце начинает сохнуть, несмотря на активный полив. Вера прекрасно помнила дендрологические советы Черубины и особенно пункт «Не заливай!», поэтому участливо предложила свою помощь: забрать горшочек на пару недель для реанимации на свой балкон. Невинное для стороннего наблюдателя предложение встретило горячий, испуганный отпор.

Дома Вера нашла письмо в электронном ящике Черубины: видимо, её визит прервал ответ Оливье и он окончил его, едва выпроводил подругу за дверь. В письме он жаловался, кстати, на капризность «маленького братца», сохнущего, невзирая на регулярные орошения.

15 января 20**. Москва

— Ну что?!

Вместо ответа в окошке чата появилась интригующая фраза: «сейчас не могу описать всего — слишком много эмоций, давай завтра». Телеграфный стиль убеждал в искренности и нагонял сумбур всевозможных предположений...

Накануне вечером Вера забросала меня сюрпризами:

«Оливье в сомнениях: он не верит, что Черубина существует. Он написал, что это розыгрыш!»

«Оливье требует немедленной встречи с Черубиной!»

«Он назначил randevu через час в отеле „Риц„!»

«Что делать??? Идти?!»

Эти сообщения я прочитала слишком поздно: Вера уже исчезла из чата. Неужели она пошла на встречу с Оливье, и всё открылось? Но, может быть, Вера не ходила ни в какой «Риц», просто легла спать и поэтому молчала?.. Я

предпочла бы надеяться на последнее, ведь сценарий такой внезапной встречи не был запланирован в нашей мистификации... Пытаясь угадать, что произошло в Париже этой ночью, я перебирала в памяти последние события. Могло ли что-то заставить Оливье усомниться в существовании Черубины?

Лето их переписки вышло сухим. Они обменялись еще десятком более или менее изящных подарков, пока Принц не получил от Черубины в конце октября последний, главный сюрприз под заголовком «24 декабря». Ему надлежало найти маленький магазинчик в квартале Маре под названием «В некотором царстве...», спуститься в подвал и там... И там он сам всё поймёт. Его письмо после посещения заветного подвала в тёплый вечер бабьего лета содержало больше междометий, чем, собственно текста.

«О, моя фея!!!! Ах, если бы Вы были со мной в тот момент, когда я, смущённый многозначительным взглядом владельца этого сказочного королевства (и взгляд его стал ещё более многозначительным, когда я сказал, что пришел за подарком от Черубины!!!!), спустился по лестнице туда, куда указывал в письме Ваш прекрасный перст!!!! О, мог ли я предположить в самых смелых мечтах, что Вы проникнете так глубоко в мою душу и сделаете сказку былью?? В этот последний жаркий день осени я оказался в моих детских рождественских снах! Мог ли я знать, что игра наша в этот отрывной календарь, начавшись в марте «Первым декабря», через полгода приведет меня сюда? Когда я спустился по лестнице почти в полной темноте... вдруг зажегся свет... Я предполагал всё, что угодно, но... Я недооценивал Вас!! Тысячи разноцветных огней вдруг прямо передо мной озарили рождественскую елку!!!! Нет!!!! Это ничто по сравнению с детскими мечтами! Это больше!!! ...Я стоял бы в этом оцепенении долго, но наш добрый соучастник, догадавшись о моём состоянии, спустился вниз и указал на укромный уголок под еловой лапой... Там я нашёл Ваш чудесный рождественский сапожок, который не решался открыть до самого вечера!... Но десять минут назад я понял, как безгранично мое счастье!!! В нём Вы спрятали нашу встречу!! приглашение в замок!!! Нет... я не могу продолжать... Вы — ангел! Я прячу сапожок под подушку в мечтах о нашей встрече!!!! Ваш Прекрасный Рыцарь».

После такого письма, казалось, уже ничто не помешает счастливому финалу нашей мистификации: первой встречи Оливье и Незнакомки в замке, романтическую ночь в котором Вера заполучила благодаря щедрой маркетинговой акции в парфюмерном магазине.

Однако, несмотря на все возвышенные эпистолярные восторги Прекрасного Рыцаря, его земная суета предательски откладывала заветное randevu до критической даты: роскошный замок, построенный его владельцем на утаённые от казны Короля-Солнца деньги, ждал последних опоздавших 30 ноября. В кладовке Веры, едва ли не с первого мартовского письма Принца поселился внушительных размеров чемодан с необходимыми аксессуарами: черным плащом, белым гипюровым платьем, венецианской маской, бижуте-

рией, плеером с колонками и специально записанной для ситуации музыкой. Вера продумала всё до мелочей, даже сердечные капли для Оливье, если они вдруг понадобятся. Но теперь, когда история шла к развязке, Вера, кажется, сама пыталась оттянуть её финал, наслаждаясь состоянием влюблённости своего «бывшего», как если бы его чувства были адресованы ей, а не Таинственной Черубине. Это состояние было той стабильной осмысленной бессмысленностью, которая оказывалась всё-таки лучше, чем бессмысленный смысл их действительных отношений... Итак, они дотянули до последнего дня. Ссылки на замок были одобрены, написаны последние нежные письма. Понедельник, вторник, среда... Утром в четверг Оливье прислал извинительное письмо, сославшись на жестокий грипп, проиллюстрировав красочным описанием в лицах и репликах сцен его кашля в гулких стенах замка «в самый неподходящий момент». Вера втайне вздохнула с облегчением, но вечером всё же бросилась проверять, не молюровский ли сюжет представил больной. Грипп оказался не мнимым, хотя и не таким страшным, как в письме: Оливчик не ушёл на больничный, а его трудовой героизм демонстрировала корзина для бумаг, полная носовых платков.

Однако вскоре эти переносы вылощенного и отполированного плана с замком вдруг окутали Веру суеверным страхом. Она придирчиво искала в письмах Оливье следы первого равнодушия, словно плесень в изысканном ястве, которое не решились съесть вовремя, откладывая для более стоящего случая. Но Принц оставался безукоризненно нежен и, казалось, по-прежнему влюблён в таинственную Незнакомку. Он предлагал и свои варианты первого свидания — в шикарных отелях Парижа, — встреча снова откладывалась, и вот уже настоящий календарь опережал их сказочный, окутывая город торжественной тишиной семейных сочельников, рождественскими гирляндами за тонкими занавесками, запахами каминов и запечённых уток.

Они так и не встретились ни в календарное, ни в их сказочное Рождество: Оливье уехал на праздник к родителям, оставив Черубине скромный выбор между 26 и 27 декабря, заметив, на всякий случай, что и Новый год проведёт вдали от столицы. Вера гордо отказалась за Черубину, сославшись на аналогичные причины и затаив досаду за двоих: за Незнакомку и себя: хотя бы потому, что вот уже как шестой год новогодним шампанским она наполняет лишь один бокал.

* * *

— Ну что?

Я повторила свой лаконичный вопрос утром, едва Вера появилась в чате. Ответ был не менее краток:

— Черубина закончилась.

Всё произошло так быстро и неожиданно, что Вера, казалось, рассказывала не события минувшей ночи, а сон, сомневаясь даже в том, собственный ли это сон или описание картины Дали. Накануне вечером,

сбитая с толку внезапными сомнениями Оливье, его требованием встречи в баре отеля «Риц» и в конце концов запаниковав, она свела все свои продуманные до мелочей приготовления к первому свиданию в полчаса суетливого макияжа и спешного облачения в «городское» платье, наугад выхваченного из шкафа. Венецианская маска, длинный плащ с капюшоном, шлейф гипюра, украшения, ждавшие старинного замка девять месяцев, были теперь уже «не ко двору».

Столик Оливье отделяли от входа только несколько шагов. За три бесконечные секунды этого пути Вера была им замечена сразу, но его сознание опоздало, успев лишь дать команду машинальному приветствию:

«А, Вера! Добрый вечер!.. Вера??!!!»

Предстоящий экспромт пугал её всё сильнее по мере того, как менялось лицо приходящего в себя Прекрасного Принца. Он словно отходил от анестезии дантиста: замороженные изумлением мимические мышцы постепенно напрягались в агрессивной гримасе, что обещало спутать все роли и реплики. Когда к нему вернулся дар речи, он, щеголявший в письмах к Черубине изысканной вежливостью, изяществом комплиментов и пылкостью в описаниях своей любви, начал с обвинений в шпионаже, вероломстве и прочих коварствах, бесчисленные наименования которых всплывали из укромных уголков его испуганной памяти с каждой новой волной гнева и кривили губы рефреном: «Как ты могла?!» Эта буря безжалостно рвала на куски алые паруса красавицы бригаантины «Черубина», ломала прочные мачты всех стройных оправданий, кромсала о мокрую солёную от слёз палубу герб «Во имя любви», а сама Черубина, застигнутая врасплох стихией, уже барахталась среди обломков без всякой надежды на спасение. Наконец Оливье, поймав обеспокоенные взгляды официантов, утих и с немимым упреком погрузился в вылавливание из коктейля листика мяты. Эта пауза вернула Вере заготовленную логическую нить, и, словно Ариадна, она стала наматывать на свой клубок фразы-шажки, нанизывать аргументы-шпажки, пытаясь вывести Оливье из лабиринта заблуждений. На каждом повороте его ждала цитата из их эпистолярного романа: множественные доказательства того, что с самого первого письма Черубины Вера не скрывала своё «Я» под маской вымышленного персонажа. Ещё осенью, готовясь к первому свиданию, она распечатала всю их переписку каллиграфическим шрифтом, переплела «под фолиант», проиллюстрировала фотографиями, а во многих местах, на мой взгляд, даже переусердствовала с наклейками сентиментального содержания. Этому киллограммовому труду предназначалась миссия «контрольного выстрела», на случай «недопонимания мотива» или, при благополучном исходе, подарочного издания Лав Стори, как достойного начала их совместного семейного архива. Теперь пришло его время, и увесистый том с пафосом предстал перед Оливье. Он удивлённо листал скрипящие свежей полиграфией страницы, а Вера, зная наизусть каждую фразу письма, ловко выхватывала взглядом нужный абзац, подтверждающий его непростительную

«близорукость». «Смотри... Вот здесь... Черубина пишет о своей простуде... Ты пришёл ко мне на следующий день и видел все описанные здесь симптомы!...», «Вот песня Жака Бреля, в этом тексте всё о нас, о влюблённых, переживших за многие годы и расставания, и примирения... Неужели ты мог это связать с Незнакомкой, которую никогда даже не видел?... А вот фраза Черубины об ощущении, что мы уже давно знакомы так, как если бы были влюблённой парой в прошлой жизни?...» Оливье смущенно молчал, уголками губ невольно признавая справедливость упреков. В какой-то момент Вере показалось, что она убедила его окончательно, и вот сейчас он виновато улыбнётся, и дальше всё будет согласно первоначальному сценарию, а, может быть, и счастливое продолжение в апартаментах отеля. Но некстати подошёл официант с манерой быть любезным и предупредительным, и вчерашний Принц, словно опомнившись, снова натянул на лицо маску прокурора, подытоживающим жестом захлопнул «фолиант», попросил счёт, и Вере ничего не оставалось, как предложить подкинуть её до дома — гордо, интонацией и взглядом, вскинутым к лепнине потолка, чтобы удержать предательские слезы, — показав, что ничего большего она от этой встречи и не ждала.

В такси они ехали молча. Даже стоя в пробке на сверкающих счастье Елисейских полях, вчерашний Принц не проронил ни слова о Будущем. Таксист, чувствуя напряженность пассажиров, включил погромче радио. И тут, как по заказу: та самая песня Жака Бреля! Вера невольно коснулась руки Оливье. Он не ответил, но и не отнял, потом тихо спросил: «Всё-таки, зачем ты ЭТО сделала?». У Веры было заготовлено много фраз на этот вопрос, но они уже подъезжали к её дому, надвигалось неопределённое прощание, и она ответила коротко, есенинским: «„Лицом к лицу лица не увидать: большое видится на расстоянии“». Если ты поймёшь, что это значит, ты сохранишь и Черубину, и меня. Если нет, потеряешь обеих...»

Спустя три недели после описываемых событий, 14 февраля, Оливье появился у Веры с букетом цветов. Они отметили День влюблённых, как в прежние времена, до разрыва и до истории с Черубиной. Вера ждала, что он первым заговорит об их последней встрече в «Рице», но он молчал, будто бы ничего не было.

Так проходили дни... Первая обида от того, что вся затея с мистификацией не дала того взрывного, меняющего всю её жизнь эффекта, сменилась смиренной мыслью, что ничего, к счастью, и не ухудшилось. И в этом отношении, после пережитого ожидания, после его трёхнедельного молчания — «обдумывания всего», грозящего уже совсем окончательным «полным и безоговорочным», было всё-таки больше успокоения, чем разочарования. Они виделись редко, но не реже, чем прежде. Он так же привозил ей из командировок случайные подарки, а она по-прежнему помогала ему с оформлением сайта... Именно по этому поводу Вера за-

шла на днях в офис Оливье: хотела обсудить наиболее выгодный вариант представления в Интернете его новой видеотехники. Оливье, как всегда, был занят то монтажом, то телефонными переговорами. Расположившись перед его компьютером, чтобы переписать с флэшки фотографии, Вера шевельнула мышкой. Когда уснувший экран ожил, она увидела открытую страницу сайта фривольных знакомств, пошло декорированную пронзенными сердцами, и портрет Оливье, под которым красовалось незатейливое пояснение: «Узник приевшейся обыденности ищет родственную душу для ни к чему не обязывающих встреч».

На минуту ощущение дежавю бросило пульс в виски, в кончики пальцев, ухнуло спазмом каких-то дремавших доселе мышц... Как и год назад, Вера, наугад нащупав мышь, закрыла страницу и танцующим почерком вывела на подвернувшемся клочке бумаги записку, где, сказавшись на внезапную головную боль, предложила перенести обсуждение сайта на другой день...



© Фото Натальи Богдановской

НЕСКУЧНО О СЕРЬЁЗНОМ



© Художник Елена Любич

Фёдор Евдокимов
(Россия, Москва)

Родился, вырос и живёт в Москве, в Сокольниках. По профессии врач, кардиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, преподаватель вуза, но почти тридцать лет собирает материалы о своей малой Родине. Увлечение краеведением трансформировалось в сферу творческих интересов историка-исследователя. Автор трех книг о московском районе Сокольники и более 50 публикаций по медицине, краеведению и истории.

Соколиная Охота

(отрывок из книги «Сокольники, от истоков до начала XX века»)

Происхождение охоты с помощью ловчих птиц относится к глубокой древности и скрывается во мраке веков. Правда, уже никто не помнит о тех временах, когда охота с соколами была одним из способов добывания пищи. Соколиная охота — уникальная часть мировой культуры, впитавшая за тысячи лет истории творческий опыт самых разных народов. Среди историков существуют различные версии, где и по какой причине человеку впервые удалось подчинить своей воле свободную бесстрашную птицу.

Наиболее вероятная версия, что соколиная охота зародилась у кочевых племён Средней и Центральной Азии. Говорят, что возможно, на территории современного Ирана с середины последнего тысячелетия до рождения Христа находился центр развития соколиной охоты. Некоторые знатоки родиной соколиной охоты считают Индию. Ряд орнитологов — энтузиастов охоты с применением ловчих птиц — называют Приморье, доказывая, что эта история началась в Евразии, в области между современными Кореей, Японией и Китаем, и полагая, что в этих краях в древности водилось чрезвычайно большое количество хищных птиц, пригодных для охоты. Примерно к 700 году до нашей эры относится первое точное упоминание о соколиной охоте в Китае.

При Александре Македонском через Персию эта потеха была перенесена на Балканский полуостров, к фракийцам. От фракийцев охота с ловчими птицами проникла на крайний Запад — к кельтам, а позднее распространилась по всей Западной Европе. Повсеместное распространение её начинается с эпохи Великого переселения народов (IV и V века нашей эры) и достигла расцвета в XIV веке при дворе французских королей.

История бережно сохранила имена тех, кто покровительствовал искусству соколиной охоты. Среди них — император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен, Чингисхан, Иван Грозный, Генрих IV Французский, Людовик XIII и, конечно, русский царь Алексей Михайлович Романов.

На Руси соколиная охота существовала издавна. Ещё Великий князь киевский Всеволод Ярославович, который любил, чтобы любимые вещи

всегда были под рукой, выезжая в большие праздники с семьёй из Переяславля в Киев, сначала отправлял под охраной младших дружинников телеги с княжеским добром — сосудами, книгами, разной одеждой для выходов, охоты и пребывания в своём доме, в путь отправляли даже псов и обязательно — охотничьих соколов. И лишь потом к Киеву трогались княжеские возки.

В литературе первые следы соколиной охоты на Руси находим в произведениях XII столетия: о ней упоминается в «Слове о полку Игореве» и в «Поучении Владимира Мономаха». В своём «Поучении» сыновьям Владимир Мономах пишет: «В дому своём не ленитесь, но за всем сами смотрите, не зрители на тиуну или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам, ни над домом вашим, ни над обедом вашим... На посадников не зря, ни на биричей¹, сам творил, что было надо: весь наряд и в дому своём всё сам держал. И у ловчих ловчий наряд сам держал, и у конюхов, и о соколах, и о ястребах...».

В XIV столетии между великокняжескими людьми были особые слуги, которые назывались сокольниками. Их обязанностью было ловить хищных птиц большей частью по берегам Белого моря, а так же в Сибири, на Уральских горах, в Перми и на Печоре. Великие князья в силу своих договоров с Новгородом ежегодно отправляли туда своих сокольников. В начале XIV века на Руси среди придворных чинов появляются новые звания — ловчий и сокольничий. Ловчий впервые упоминается в 1509 году, и первым ловчим был Михаил Иванович Нагой. Сокольничий учрежден в 1550 году, и был старше ловчего по должности. Первым сокольничим был Фёдор Михайлович Наумов по прозвищу Жулла. Помимо этих чинов при охотах, звериной и соколиной, было несколько младших чиновников, которыми заведовали ловчий и сокольничий (сокольники, кречетники, ястребятники и прочие). К этому же времени должно быть отнесено и учреждение Сокольничьего приказа и Сокольничьих дворов. На некоторых московских монетах XIV века изображён всадник с соколом на руке, что свидетельствует о любви и трепетном отношении московских князей к этой потехе.

Кроме района Сокольников, в Москве есть и другие топонимы связанные исторически с соколиной охотой: улицы Соколиной горы в районе Измайлова. И не случайно именно северо-восток столицы названиями своих улиц и площадей напоминает нам о былых царёвых потехах, видимо, именно эти места особо славились птичьей охотой. Уже на картах времён Ивана Грозного именно в этом направлении от Кремля обозначается летняя резиденция царя — Загородный охотничий дворец. Вообще соколиная охота была более известна под названием летней царской потехи, потому что производилась исключительно в тёплый период года.

Расцвета соколиная охота достигла в XVII столетии, при царе Алексее Михайловиче Романове.

¹ *Биричи* — в Древней Руси люди, которые объявляли всенародно княжеские распоряжения.

В сентябре 1643 года Михаил Фёдорович Романов тешил соколами царевича Алексея Михайловича в селе Покровском. Может быть, с этого времени и полюбил будущий государь птичью потеху, и стала соколиная охота его страстью, которой он оставался верен до конца своей жизни. В юности, правда, Алексей Михайлович если и не предпочитал, то не отказывался от звериной ловли: охотился на медведей, лосей, волков, «осочил» лисиц. Однако скоро он стал отдавать предпочтение соколиной охоте. В отличие от звериной, в которой удачливость и мастерство охотника определяются количеством и размерами добытых трофеев, в птичьей более всего почиталась красота полёта и выучка птицы. Сам Алексей Михайлович называл себя «охотником достоверным», вкладывая в это определение нечто большее, чем просто «настоящий охотник». Достоверный — это не только охотник истый, завзятый, до тонкостей знающий охотничье дело, но и сумевший поднять охоту до уровня эстетического наслаждения. Никто из предшествовавших государей не уделял соколиной охоте столько внимания и не проявлял о ней столько заботы, как царь Алексей Романов. Насколько была велика его страсть к соколиной охоте, видно из литературного труда, а по сути — устава соколиной охоты — «Урядник, или новое уложение и устроение чина сокольничья пути», изданного в 1668 году. До сих пор в литературе ведутся споры об авторстве «Урядника». Принадлежал ли он перу одного Алексея Михайловича или был результатом творчества нескольких человек? Само произведение сохранилось в двух списках, один из которых неполный и, по-видимому, представляющий последний рукописный вариант. Оба списка содержат приписки, сделанные рукой Алексея Михайловича. Но отнести ли их на счёт царя-редактора или на счёт царя-автора, сказать всё же затруднительно. Однако бесспорным следует признать безусловное и активное участие царской особы в работе над текстом документа. Знатоки легко узнают в тексте интонации государя, именно ему присущие стилистические обороты и мысли, формы обращения.

В «Уряднике» говорится: «И зело потеха сия полевая утешает сердив печальныя и забавляет весельем радостным и веселит охотников сия птичьа добыча. Угодительна же и потешна дремливая перелазка и добыча. Красносмотрителен же и радостен высокова сокола лёт. По сих доброутешна и приветлива правленных ястребов и челигов ястребьих ловля, к водам рыщение, ко птицам же доступание».

В годы царствования Алексея Михайловича соколиная охота перешла в ведение созданного Тайного приказа (или Приказа тайных дел — личной канцелярии царя для особо важных поручений). Штат Сокольничьего пути состоял из одного сокольничего, двух подсокольничих и около ста человек сокольников. Сюда же причислялись: верховный подьячий и казначей Сокольничьего пути. Сокольники состояли на царёвом содержании: пили и ели всё царское, а также получали царское жалование

деньгами и одеждами. Служба по ведомству соколиной охоты считалась придворной и была очень почётна. Главного сокольничего и подсокольничих называли именем с отчеством, начальных сокольников полным именем, без отчества, а рядовых полуименами: Мишка, Ларька, Федька и т. д. Обязанность сокольников, которые жили особыми слободами, состояла в том, что они должны были ухаживать за птицами, править (учить) их и во всякое время года, днём и ночью дежурить на Потешном дворе человек по двадцать. Они отвечали за сохранность птиц своих «статей» (пород) перед самим государем. За хорошую службу рядовые сокольники повышались в начальные. Это повышение сопровождалось особой церемонией в присутствии самого царя.

Вся церемония предполагает особое «уготовление», которое символизирует этапы «красной соколиной охоты». В передней избе к приходу государя стелится «ковёр диковатой» (серо-голубого цвета), на который кладётся подушка, набитая пухом диких уток. Против подушки-изголовья ставятся четыре нарядных стула для четырёх лучших, первостатейных птиц — соколов и кречетов. Между стульями кладется крытое попоной сено, где будут наряжать новопоставленного в чин. Сено и попона — символы коня: нет сокольничего без птицы, но нет настоящей птичьей охоты и без коня.

Все это вместе названо «местом». И люди, и птицы, расставленные по «месту», все должны быть в лучших платьях и в «большом наряде». Сам нововыборный должен стоять одетым «в государево жалованье» — это новый суконный кафтан с золотыми и серебряными нашивками «к какому цвету какая пристанет», в «ферязе»¹ и шапке, обязательно надетой «искривя». Далее следует процедура пришествия царя и приветствия начальных сокольников и рядовых. Затем наступало время «объявлять образец и чин». Процедура открывалась «наряжением» птиц. То было не повседневное надевание на птиц обнасков, колокольцев, клобучков², а настоящее священнодействие, исполненное глубокого символического смысла. Не случайно это действие открывается фразой подсокольничего: «Начальные, время наряду и час красоте». Поразительны определения, которые предшествовали каждому следующему движению участников. Посвящаемому в чин вручают рукавицу, которую он должен «вздевать тихо и стройно». Надевши же, «пооправся», «поучиняся» и перекрестясь, он берёт сокола. «Урядник» требует сделать это не просто так, а «премудровато», то есть умело, и «образцовато». Это и есть «стройство» — умение вести себя так, как должно вести себя по новому чину.

Далее посвящаемый должен был подступать к государю. Здесь, при-
тронувшись к заоблачной высоте царского сана, «урядник» требовал

¹ *Ферязь* — старинная русская одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата.

² *Обнасы* — в соколиной охоте: оборки, пута, путца на ногах ловчей птицы. *Колокольцы* — маленькие колокольчики, которые прикрепляли к хвостникам, чтобы по их звону отыскать птицу. *Клобучок* — колпачок, сделанный из мягкой кожи, плотно облегающий голову птицы.

идти «благочинно, смиренно, урядно»; остановиться «поодоле» от царя надо было «человечно, тихо, бережно, весело»; птицу при этом надо держать «честно (достойно), явно, опасно (осторожно), стройно, подправительно (исправно, по образцу), подъявительно (напоказ) к видению человеческого и к красоте кречатье».

Алексей Михайлович показывает избранность и почётность службы сокольников, особость которой и закрепляется особостью посвящения. Эта избранность преследует и вполне конкретную задачу: побудить сокольников к добросердечной, старательной службе. Обряд наряжания нововыборного, к примеру, предполагал чтение письма-наставления о «послушании» — «во всякой правде быть постоянну и твердо», слушаться «однослову», отступаться от всякого «дурна и плутовства», обязанности свои выполнять «прилежно и безскучно», начальников «любить что себя».

В представлении Алексея Михайловича особое положение сокольников позволяло поручать им задания ответственные и даже сверхсекретные. Так, по поверью, вода, которой омывались ноги больных монахов, обладала чудодейственными свойствами. То был, по сути, взгляд языческий, официально осуждаемый. Царь это знает и, тем не менее, шлёт настоятелям Троицкого и Савво-Сторожевского монастырей указы: они должны омыть братию и ту воду «прислать тайно, никому не поведавши сию тайну». Понятно, привезти воду должны люди надёжные, держащие язык за зубами, а это — соколичие.

В состав русских дипломатических миссий часто включались соколичики. Так было, например, с посольством стольника Ильи Даниловича Милославского и дьяка Леонтия Лазоревского в Царьград в 1643 году — об этом наглядно свидетельствует обрывок из старинного документа: «Да с ними ж с Ильёю и с Левонтием послано для государевых дел государевых людей: два человека переводчиков... да кречатников и соколичиков, и ястребников».

Соколичья охота была любимым развлечением не одного русского монарха. Почиталась она и при других дворах. Поэтому неудивительно, что царь нередко посылал соколов и ястребов в дар правителям других стран. Чаще всего такие посылки шли в Персию, где более чем где-либо знали толк в птицах и могли оценить подарок. Направляя очередное посольство к шаху, царь даёт не наказ послам, а инструкции — «как тешить шах Аббасово Величество». Его сильно волнует, как воспримет его птиц шах, сумеет ли насладиться красотой «рыщенья» соколов.

Кроме соколов, в охоте использовались почти все хищные птицы, которые бьют пернатую дичь сверху, снизу и вдогон: кобчики, дремлюги, ястребы и даже орлы. Люди, занимавшиеся ловлей хищных птиц: соколов, кречетов, ястребов, назывались помытчиками. Они избирались из людей всех сословий и за эти труды избавлялись от всех других повинностей, но от них требовалось, «чтобы кречатья ловля была им за обычай». Ловили птиц преимущественно сетями над озёрами и большими

реками, на берегах морей, по пескам. Для досмотра за помытчиками во время ловли ими птиц посылались «добрые боярские дети», которым такая ловля «была за обычай». Изловленные птицы «для кормли и береженья» отправлялись в Москву с самими помытчиками, «кто сколько птиц помкнёт». Доставка птиц производилась по особым правилам. Помытчикам давались подробные наставления о сбережении птиц во время пути и определялось даже, по сколько их сажать на одну подводку. Птиц привозили в Москву ежегодно по зимнему пути штук по двести в возках или санях, обитых войлоком. За плохое смотренье за птицами помытчики строго наказывались. Меры строгости царю казались необходимыми как по сильной его страсти к охоте, так и потому, что ловчие птицы имели большую ценность — до тысячи рублей, а по тогдашнему времени это была громадная сумма. Самыми лучшими птицами считались красные, подкрасные и цветные; серых же и краплёных было не велено посылать в Москву.

Обучение птиц требовало много времени и терпения. Сначала хищных птиц нужно было просто приручить. Поэтому их «держали» — сажали в клетку, и специально приставленные для этого мальчики шумом, криками и погремешками не давали им спать. После 3-4 дней вынужденного «бдения» птица впадала в состояние оцепенения, смирялась и давалась в руки. Затем её надо было «исклобучить», т.е. приучить носить на своей голове колпачок — клобук, не бояться и не сбрасывать его. После чего птицу начинали «водить». Заключалось это в том, что её приучали есть с руки мясо — сначала в помещении, затем в поле. Одновременно она привыкала к людям, лошадям, собакам. Очень важным элементом обучения ловчей птицы был «выпуск» и «напуск». На этом этапе сокола приучались бить дичь, поначалу мёртвую, затем — связанную, а потом уже и свободную. Завершало обучение «ворочание». Необходимо было заставить птицу научиться после каждого удара по дичи возвращаться и садиться на руку сокольника по его призыву.

В Москве, на Кречетном дворе и в подмосковных селах, где были построены Потешные дворы, содержалось более 3 тысяч соколов, кречетов и других ловчих птиц. Опытный в деле соколиной охоты царь строго наблюдал за правильным уходом и обучением птиц и зачастую помогал в таких случаях своими советами. А за каждого больного или умершего сокола царь спрашивал лично, и нередко собственноручно пускал в ход палку. Корм птицам, говядина и баранина, шёл с царского двора, для их же корма содержалось более 100 тысяч голубей. Но и этого не всегда хватало. По признанию самого Алексея Михайловича, часто случалось так, что «птицы поспедали», а голуби, идущие на корм, «исходились». В поисках выхода Тайный приказ даже наложил на приписанных крестьян «голубиную повинность».

Ловчие птицы разделялись на статьи, каждая из птиц имела своё имя, и царь, как попечительный хозяин, знал каждую птицу по имени, которое сам и назначал: Крысалко, Друг, Сирин, Смирная, Соловей, Булат,

Лихач, Солтан... Один из этих соколов, по имени Ширий, дал название целой местности в районе Сокольников — Ширияеву полю. Предание повествует, что как-то во время одного из выездов на охоту царя Алексея Михайловича насмерть разбился его любимый сокол по кличке Ширий. И повелел царь местность вокруг в память о птице называть Ширияевым полем. Название это и по сей день сохранилось в наименовании улицы Ширияев поле, Большой и Малой Ширияевских улиц.

Охотился Романов большей частью под Москвой: на Девичьем поле, в сёлах Коломенском, Покровском; Семеновском, Преображенском, Хорошове, Ростокине, Тайнинском, Голенищеве (Троицком) и в других. Выезд царской особы на охоту, который назывался походом на потехи, был необыкновенно пышным и торжественным. Иногда царь выезжал со своим семейством.

Часто охотился Романов и в живописном величавом лесу, простиравшемся на северо-восток от города, между проезжими дорогами на Стромынь и Троицкую лавру.

В XVII веке около Стромынской дороги, у опушки леса, устроили Сокольничий двор — поселили особой слободкой царских сокольников с соколами. Память об этом сохранилось в наименовании современных улиц: Сокольническая слободка, Старослободской улицы и переулка. А в начале XVIII века, когда соколиная охота уже не пользовалась почётом правителей, Сокольники были переданы в ведение Обер-егермейстерской конторы, здесь находилась слобода ружейных егерей, заменивших царских сокольников. Эти егеря помогали в охоте, которой занимались в ближайшем лесу царицы Анна Иоановна и Елизавета Петровна. Напоминанием о чём и служит современная улица Егерская.

Угасание соколиной охоты произошло со вступлением на престол Петра I. В это время была прекращена посылка птиц к царскому двору, и охота с ловчими птицами стала приходить в упадок. При Петре один только знаменитый князь-кесарь Фёдор Юрьевич Ромодановский не оставлял соколиной охоты и совершал её с прежней торжественностью. Вот как описывает в своей книге «Седа́я стари́на Москвы́» эти выезды Иван Кузьмич Кондратьев:

«...По описанию современников, происходило это так: в осеннее время, когда хлеб был убран с полей, князь отправлялся из Москвы, чтобы в её окрестностях и в рощах, прилегавших к селам Коломенскому, Измайлову и другим, потешиться соколиной охотой, которую он любил до страсти. В день, назначенный для охоты, множество ловчих, сокольничих, подсокольничих и поддатней, в зеленых чекменях¹ с золотыми или серебряными нашивками, опушенных иногда соболями, в красных шароварах и жёлтых сапогах, в длинных, по локоть, лосинных рукавицах и горностаевых шапках, с перевязями через плечо — одна из серебряной тесьмы, к которой привешана была обитая бархатом лядунка, и другая — из золотой

¹ Чекмень — верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном.

тесьмы, на которой висел серебряный рог, — опоясанные ремнями, кои увешаны были кольцами, ждали у ворот появления князя-кесаря. По данному знаку, при звуках рогов выезжали они на горских лошадях в поле: одни вели за собой на смычках своры собак, другие на прикрепленных к пальцам стальных кляпышках (палочки, на которых держат охотники соколов и кречетов), обвитых серебряной или золотой проволокой, несли сибирских кречетов с подвешенными к ним бубенчиками, под бархатными клубочками, шитыми серебром, золотом или разноцветными шелками. Князь-кесарь приглашал обыкновенно многих вельмож для участия в этой забаве. Он сам выезжал на арабском жеребце; свита его, простиравшаяся иногда до 500 человек, вся посажена была на лошадей из его конюшен. Большой обоз со съестными припасами и напитками ехал вслед. Во время охоты подсокольники подавали князю и гостям его кляпыши с кречетами. Собаки напускались для отыскания добычи; едва она подымалась, державшие на руках кречетов снимали с них клубочки, и громкие крики одобрения сопровождали этих верных охотников, когда, пустившись стрелой на добычу и, поразив её, они по свисту сокольничего возвращались к своим господам. Охота оканчивалась сытным обедом. Те из простых ловчих или сокольничих, которые имели случай отличиться, удостоивались чести разделять трапезу князя. Потом следовала общая попойка, и чем ловля была успешнее, тем пир был шумнее».

После Октябрьской революции в 1917 году соколиную охоту вообще признали буржуазным занятием, и в двадцатом веке ловчих птиц и охотников-сокольников в Москве практически не осталось. Единственным исключением были соколы, стоящие на довольствии в Главном управлении охраны, в подразделении, охраняющем Кремль, появившиеся там в 80-х годах XX века.

Дело в том, что системам специальной связи и прочей хитроумной аппаратуре весьма мешали воробьи, голуби, галки. А вороны, со своей «любовью» ко всему блестящему, наносили огромный ущерб архитектуре Кремля! Вороны любят устраивать себе аттракцион: съезжать, будто с горки, с позолоченных кремлёвских куполов, да ещё когтями позолоту сдирают с сусальных маковок, оставляя глубокие царапины.

Сначала с воронами пытались бороться разными способами — отстреливали, например, пока на стрельбу в Кремле не был введён запрет, затем устанавливали чучела, домики-ловушки. Всё было бесполезно. Потом попытались использовать специальную аппаратуру: на автомобиль установили репродукторы и передавали «вороньи звуки тревоги», но через небольшой промежуток времени умные птицы привыкли и к этому. Последней каплей в вороньем беспределе была «попытка разглашения Государственной тайны».

В 1977-м году на кремлевской площади нашли лист бумаги — документ первой степени важности. Представляете степень ЧП? Сразу стали искать шпиона, но вдруг увидели, как из форточки одного каби-

нета вылетает ворона с очередным листом и бросает его вниз, провожая взглядом. До этого, пользуясь безнаказанностью, вороны уже залетали в кабинеты высоких партийных руководителей, воровали со столов ручки, устраивали «погромы», но эта решила изучить полёт секретной бумаги, за что и поплатились все пернатые...

По настоянию коменданта Кремля в Константино-Еленинской башне поселились сокольничие — сотрудники орнитологической службы Кремля, а в Тайнинском саду расположился соколиный вольер. Вот уже более четверти века несколько боевых соколов на Государевой службе сохраняют многие миллионы рублей и не дают чёрному воронью обжиться в сердце страны.

После развала Советского Союза и становления свободной экономической политики в России стала возрождаться и соколиная потеха. Сегодня можно купить практически любую хищную птицу. Появились коммерческие организации, проводящие показательные выезды на соколиную охоту. Возродился интерес к пернатым охотникам и у государства.

В 1995 году во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны природы был создан Русский соколиный центр для решения задач по сохранению и увеличению численности популяций хищных птиц, а также для разработки и реализации форм прикладного их использования (соколиная охота, хищные птицы как биорепелленты¹). В перспективе планируется создание на базе Русского соколиного центра орнитологического парка и шоу с хищными птицами.

В наши дни соколиная охота во всём мире переживает период возрождения. В связи с её большей экологичностью по сравнению с ружейной охотой и несравнимо меньшим ущербом, наносимым природе, соколиная охота находит всё больше сторонников в нашем индустриальном обществе. В интернете растёт число сайтов, посвящённых соколиной охоте, в музеях проходят соколиные выставки, с 2005 года издаётся культурно-просветительский журнал «Соколиная охота», а 11 ноября 2006 года в районе Аль-Маркад под Дубаем открылся музей соколиной охоты.

Возрождается соколиная охота, возрождается интерес к ней и во всем мире, и в нашей стране. А в Москве больше всего любителей этого увлечения, как говорят специалисты Русского соколиного центра ВНИИ охраны природы, — не поверите — из Сокольников.

¹Репелленты (от лат. repello — отталкиваю, отгоняю) — вещества, отпугивающие членистоногих (насекомых и клещей), млекопитающих и птиц. Приставка био (от греч. bíos — жизнь), свидетельствует о том, что используется биологический, природный способ защиты, в данном случае живой организм — птица.

Судьбоносная ёлка

(Текст написан в соавторстве со Светланой Галагановой)

О ёлке в Сокольниках, которую в 1919 году посетил В.И. Ленин, сегодня уже почти не вспоминают. А ведь это именно она вернула нам новогодний праздник.

Книжку А.Т. Кононова «Ёлка в Сокольниках» читало несколько поколений советских детей. В ней рассказывалось о том, как в кровавом 1919 году, в полутёмной, занесённой снегом Москве засияла восковыми свечами душистая лесная красавица, установленная в сокольнической школе-интернате. В гости к ребятам приехал Ленин. Он, правда, задержался на целых четыре часа, но дети терпеливо дожидались своего гостя. И дождались! А Владимир Ильич оказался очень простым и весёлым человеком: он пил с ребятами чай, играл в жмурки и кошки-мышки. Вот, собственно, и всё. Для малышей вполне достаточно. Наш рассказ — для взрослых.

1 мая 1918 года в Сокольнической роще была открыта первая советская лесная школа для физически ослабленных детей. 75 ребят разного возраста разместили в доме № 21 на 6-м Лучевом просеке — роскошной деревянной усадьбе с парком, прудом, оранжереями и бассейном. Это была знаменитая дача московского градоначальника, купца и мецената Ивана Артемьевича Лямина, в то время ещё полностью сохранявшая дореволюционный вид. Школа называлась

опытно-показательной: с детьми работали талантливые педагоги; здесь апробировались новейшие воспитательные и образовательные методики. В ляминском особняке имелись телефон, водопровод, электричество. Неудивительно, что именно сюда была устроена на отдых во время очередного обострения базедовой болезни супруга Ленина, Н.К. Крупская. Она жила в Сокольниках с конца декабря 1918 года по февраль 1919-го в одной из комнат второго этажа. Муж навещал её почти каждый вечер, как правило, вместе со своей сестрой Марией Ильиничной.

19 января 1919 года в интернате решили устроить новогодний празд-



© Художник Елена Любович

ник с ёлкой, что само по себе удивительно. «Тот, кто ёлочку срубил, / Тот вредней врага раз в десять, / Ведь на каждом деревце / Можно белого повесить» — это «поэтическое откровение» некоего В. Горянского, написанное в том же 1919 году, как нельзя лучше отражает отношение тогдашней власти к данному вопросу. Должно быть, многие ребята с ностальгией вспоминали дореволюционные ёлки, да и педагоги понимали: детям нужны красивые праздники. Возможно, легализации «сомнительного мероприятия» поспособствовала личная протекция обожавшей детей Надежды Константиновны, а может быть, то, что в числе обитателей ляминской дачи были чада партийной элиты. Впрочем, всё это уже не столь важно. Важно то, что свершилось чудо. В атмосфере активной антирелигиозной пропаганды, посреди голода и разрухи на несколько часов ожила волшебная сказка, в которой принял участие главный организатор борьбы с «духовной сивухой» (как называл Ленин религию). Ещё удивительнее, что первую советскую новогоднюю ёлку устроили почти через три недели после Нового года. И уж совсем загадочно, что и Крупская, и другие участники праздника (М.И. Ульянова, В.Д. Бонч-Бруевич, певица Валерия Барсова, пианист Самуил Фейнберг) называли потом совсем другую дату — 6 января, «старое Рождество» (24 января 1918 года страна перешла на новый, григорианский календарь). Загадка разрешилась после снятия грифа секретности с 23-томного следственного дела № 240266 «О вооружённом нападении бандитов на В. И. Ленина».

Об этом событии в своё время писали многие газеты. Направлявшийся в лесную школу автомобиль был остановлен на Русаковской улице вооружёнными бандитами. Пассажиров (Ленина, его сестру, шофёра и охранника) вытащили из машины. Полагая, что перед ним не в меру бдительный милицейский патруль (милиция в то время ещё не имела формы), председатель Совнаркома попытался предъявить главному московскому «пахану» своё удостоверение: «Я — Ленин». «Ты — Левин, а я — хозяин города!» — рявкнул тот, не расслышав из-за шума включённого мотора фамилию человека в драповом пальто. Это Ильича и спасло. Отобрав у него браунинг и бумажник с документами, бандиты умчались в «конфискованной» машине. А пострадавшим пришлось пешком добираться до Сокольнического Совета, чтобы вызвать из Кремля другую машину с вооружённой охраной. На ней Ленин и прибыл на 6-й Лучевой просек, опоздав на четыре часа. Следственное дело № 240266 было заведено 6 января 1919 года. Это означает, что участникам праздника память не изменяла: ёлка по привычке была устроена в сочельник. Она, конечно, была исключительно новогодней. Этот новый статус и обеспечил ей неофициальный «вид на жительство» в атеистическом государстве. Правда, ненадолго.

В 1927 году, когда XV съезд ВКП(б) принял постановление об усилении борьбы с религией, ёлка вновь подверглась гонениям. В «Материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни» недвусмысленно

говорилось, что именно с неё, ёлки, начинается формирование религиозного сознания у детей. «Только тот, кто друг попов, / Ёлку праздновать готов» — чётко обозначил «линию партии» детский журнал «Чиж». Прислыть «другом попов» в то время было настолько опасно, что люди вообще перестали праздновать наступление Нового года.

И не видать бы нам ещё полвека «поповского» праздника, если бы не историческая ёлка в Сокольниках. К тому времени это событие уже прочно связалось с именем вождя мирового пролетариата, а власть позиционировала себя как наследницу «великого Ленина» и всех его великих деяний. Лесные школы распространились по всей стране; все они ориентировались на опыт «ленинского» интерната, оказавшегося... «вредней врага раз в десять».

Клубок досадных «нескладушек» разрубили в 1935 году, объявив борьбу с ёлкой «левым перегибом». Разумеется, у этого решения было вполне объективное основание: народу, как и детям, был нужен праздник — добрый, традиционный, общенациональный. 28 декабря 1935 года «Правда» опубликовала программную статью второго секретаря ЦК КП(б) Украины П.П. Постышева «Давайте организуем в Новом году детям хорошую ёлку». Автор заклеил гонения на неповинное дерево и потребовал повсеместного устройства детских новогодних праздников. «В школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах, кино и театрах — везде должна быть детская ёлка!» — строго повелела партия устами одного из своих секретарей.

Всего за три дня и три ночи из всех мыслимых подручных материалов было изготовлено невиданное количество ёлочных украшений, Дедов Морозов, карнавальных костюмов. Через год были выпущены первые партии советских ёлочных игрушек, где со снежинками, зверюшками и ватными овощами-фруктами соседствовали пионеры, матросы, красноармейцы, персонажи популярных книг, фильмов, песен и даже стеклянные шары с портретами Ленина, Сталина и членов Политбюро (шары эти, правда, были быстро сняты с производства). Что касается Снегурочки, то она появилась лишь в январе 1937 года: героиня оперы Римско-Горсакова была провозглашена внучкой и помощницей Деда Мороза на новогоднем празднике в Колонном зале Дома союзов. А ёлку в Сокольниках просто «перенесли» с 6 на 19 января, подальше от Рождества, чтобы ни у кого не возникло сомнений в её идеологической благонадёжности.

Елена Крюкова (Россия, Нижний Новгород)

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России с 1991 г. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово» и др. Лауреат премии им. Цветаевой (книга «Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург, 2013) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9, 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат премии им. А. М. Горького (роман «Серафим», 2014). Лауреат Пятого Международного славянского литературного форума («Серебряный Витязь» за роман «Старые фотографии», 2014). Финалист литературных премий «Ясная Поляна» (2004, «Юродивая»), «Карамзинский крест» (2009, «Тень стрелы»). Участник длинных списков премий «Русский Букер»-2010 и «Ясная Поляна»-2011 (роман «Серафим»), премии им. Бунина 2010, 2011, 2012 (книга стихов «Зимний собор», роман «Юродивая», книга стихов «XENIA»), поэтической премии им. Григорьева (2012), премии «Национальный бестселлер»-2014 (роман «Путь пантеры»).

Сферы литературных интересов – война и религия, острые проблемы современного общества, молодежь и революция, архетипы храма и древнего символа-знака. В литературе автор, по его словам, ценит мощь формы, силу чувства, яркость творческих находок. «Люблю миф: настоящее искусство мифологично, маленькое это стихотворение или грандиозный эпос». Любимые авторы: Милорад Павич, Питер Хег, Кормак Маккарти, Виктор Астафьев, Габриэль Гарсиа Маркес, Федор Достоевский, Лев Толстой, Владимир Набоков, о. Павел Флоренский, Томас Манн, Михаил Шолохов.

Ветер с Волги

Любой город дышит воздухом культуры. Его культурные лёгкие или забиты смогом, или расправлены вольным полётом свежего ветра. А чаще всего и то, и другое обрушивается на город: его люди — люди или культуры, или бескультурия, и есть только две траектории, по которым может двигаться взыскующая искусства душа.

Нижний Новгород издавна был весёлым ярмарочным городом, а ещё градом пряничных чудесных храмов, — но за этим золотым, краснокирпичным и белокаменным фасадом таилась тяжесть жизни — как на пристанях сваленные в кучу тяжёлые мешки, горький грузинский хлеб.

После революции и кровавых двадцатых пришли заводские и «самолётные» тридцатые, и городу дали новое имя — в честь великого пролетарского писателя. Максим Горький сам был весьма недоволен, что его родине поменяли прозвание. И правда, вообразите, живой ещё человек, а его имя носит огромный город, будто бы он уже — памятник. Но такова

была культурная традиция большевиков. Что там город — страну смело переименовали. И все стали привыкать к загадочной аббревиатуре. Привыкли. Да так, что она в плоть и кровь выросла.

А что потом? А потом всё стало возвращаться на круги своя.

Да только не вернулись в город люди старой русской культуры — они навек стали эмигрантами. Насовсем укатил Шалапин. Уехал Евгений Чириков. В Париже держала «Интимный театр» актриса Дина Кирова, жена князя Касаткина-Ростовского.

Что дало советское время Нижнему? Сказать «ничего» — значит нагло соврать. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». В Советской России, в городе Горьком жили и работали Борис Пильняк, Нил Бирюков, Николай Кочин (правда, с «отъездом» в ГУЛАГ), Александр Люкин, поэт с завода, от станка, достигнувший до почти рубцовской пронзительной лирической ноты.

Запрет на слово, несущее опасность для идеологии государства, реально существовал — значит, надо было искать искусство бессловесное: музыку, живопись. Город Горький стал воистину музыкальной столицей. В советские годы сюда приезжали Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Елена Образцова, Геннадий Рождественский. Мария Гринберг исполняла в Горьковской филармонии все фортепианные сонаты Бетховена. Татьяна Николаева — всего клавирного Баха. Анастасия Браудо и Гарри Гродберг потрясали сердца слушателей органной мощью. В филармонии, в консерватории, в музыкальном училище проводили конкурсные отборы. Город был закрыт, но музыка открывала его всем далёким иноземным ветрам! В переполненных, яблоку негде упасть, залах царила такая тишина — кристальнее и хрустальней, чем во храме, когда поют «Иже херувимы».

С живописью дела обстояли хуже: изображение провоцировало на личную приязнь или неприязнь художника. И совсем плохо было с литературой. Одно серьёзное книжное издательство, Волго-Вятское, не справлялось с государственными, тем паче с социальными заказами, не говоря уже о том, что неплохо было бы и публиковать местные, волжские таланты, но это, разумеется, далеко не всегда удавалось. Цензура существовала, как незыблемая данность. Казалось, так будет всегда.

Ломка страны, буря времени смяли и изорвали старые горьковские театральные афиши, старые книги и газеты. Мало что уцелело в идейном и социальном пожаре. Утекали на Запад работы лучших художников — в России у людей не было денег их купить. Уезжали из Нижнего одарённые люди — мировые сцены, столичные издательства привлекали их гораздо больше, чем провинциальные улочки и горстка понимающих друзей. С друзьями можно выпить, но славу надо искать вне родных стен! А также заработок. И потом, ведь это такой естественный, традиционный путь художника — вон из провинции в далекие дали, жизнь — это простор и мировые столицы!

Что ж, так было, есть и будет.

Но еще раз поменялись времена.

И Нижний, как ни странно, незаметно и не дерзко, а меццо-пиано, исподволь, сам стал некой культурной столицей.

Посудите сами. Премьеры лучших спектаклей известнейших драматургов — и российских, и зарубежных. Перформансы, вернисажи, видеоарт, выступления современных литераторов в знаменитом «Арсенале» в Кремле. Расцвет музейного и выставочного дела: в Нижегородском государственном выставочном комплексе то и дело — новые арт-проекты, в Художественном музее — наряду с показом классики из запасников — новые экспозиции современных российских авторов. Библиотечное дело резко пошло в гору в Год литературы: нижегородские библиотеки уже провели массу отнюдь не официозных, а вполне жизнеспособных и живоносных встреч, концертов, пресс-конференций с ведущими писателями не только Нижнего — России. Совсем недавно в Нижнем побывали Анатолий Ким, Алексей Иванов, Ильдар Абузаров. Это всё имена! А Захар Прилепин? Он живёт в Нижнем со своей большой и прекрасной семьёй и никуда отсюда уезжать не собирается.

Нижегородское издательство «Бегемот» затеяло в 2014-м большой книжный проект — «НСС», «Нижегородское собрание сочинений». Двенадцать книг планируется выпустить на протяжении двух лет. Три из них уже изданы.

А внутри этого проекта будут и нынешние авторы, и антология нижегородской поэзии, и сборники малой прозы, и неизданные романы и повести тех, кого с нами уже нет, и драматургия, и эссеистика...

Нижний Новгород высоко стоит над Волгой. Горделива его статья. Это город сильный с виду и крепкий нутром. И работа духа в его людях совершается безостановочная и каждодневная. Культура — это не только колоритные полотна или премьеры новой оперы. Это и искусство готовить еду и угощаться; это одежда и мода; это дизайн помещений и улиц; это праздничные шествия на открытом воздухе; это парковая скульптура и фонтаны; это воспитанность и вежливость; это умение слушать — и слышать, смотреть — и видеть. Это интенсивная работа всех пяти чувств — а ещё нашего разума, нашего интеллекта, нашего сердца, способного вместить потрясения истории и откликнуться на сегодняшний призыв.

Надежда Нижнего — молодые. Молодые писатели, актёры, режиссёры, композиторы, танцоры. Перед ними — их жизнь. Та, которую они ещё не прожили. Они сделали первые шаги. Из их действий, из их произведений выстраивается здание новой русской культуры.

Когда-нибудь и она станет классикой.

Такой же, как Максим Горький и Фёдор Шалапин.



© Художник Андрей Карапетын

Всё равно

Чем больше я живу, тем яснее вижу: земля пульсирует кровью, как человечесьё тело.

Если она долго живет без войны или революции — она сама себе делает кровопускание, будто эта грубо, щедро льющаяся кровь может её очистить от грязи. Выливаясь из её черного разрубленного тела, омыть всё, что гниёт и смердит.

Но это иллюзия. Так мы говорим, чтобы себя утешить.

В смерти нет ничего высокого. Она ждёт всех, и меня тоже. Говорят: революция прекрасна, она вдыхает в народ новые силы! И он бежит к яркому свету будущего!

...На свет полыхающего страшного зарева бежит он, народ.

...Моя бабушка, Наталья Павловна Ерёмина, была пятой дочерью моих прабабки и прадеда, а всего детей родилось одиннадцать. Я ловила, как котёнок, клубок из её корзины, у её толстых мощных ног, когда она вязала. Или шила — на старой ножной швейной машинке. Нога бабушки ритмично двигалась, ткань ползла из-под руки.

...Сейчас думаю: это ползло, падало на пол — время.

Баба Наташа держала в зубах нитки, иголки. Когда вязала — и спицы, как собака палку. Я смеялась. Она вынимала спицу изо рта, беззубо и морщинисто улыбалась мне и говорила. Рассказ будто не прерывался. Я вздыхала и слушала. Вертела перламутровую пуговицу от старого бабушкиного сарафана.

Бабушка рассказывала о прадеде Павле, а потом ещё об одном человеке, его друге. Звучало это примерно так, не берусь воссоздать всё точнехонько:

— Твой прадедущка Павел нам этот дом построил. Верней, перестроил, из ветхого старья. Плотник был отменный. Топор танцевал в его руках. А уж настрадался он в жизни! Где только ни мучили его. В особом лагере на Новой Земле — отсидел пятнадцать лет. До этого — Соловки. До Соловков — Уссурийск. До Уссурийска — поселение, Минусинская котловина. Там у него и женщина была! Мать знала, сильно плакала. А до Минусинска...

Баба Наташа опять зажимала в губах спицу. Металл тонко блестел, я торопила рассказ: а дальше?

— До Минусинска... был Омск... а до Омска — Екатеринбург, теперь Свердловск... там он горячего хлебнул... а до Свердловска — Тобольск... А в Тобольск отец прямо с войны попал, из окопов... А на войну — из Нового нашего Буяна взяли...

Я отматывала, вместе с бабушкой, клубок времени назад. Разматывала время.

...Только сейчас разматала — а ветер уже разметал клочья шерсти, порванные нити. И вот наступило странное и важное время — связать все эти гнилые, истлевшие, летающие по серому ветру нити. Нечто важное, верное рассказать. Для кого важное? Для меня самой? Или для тех, кто будет это читать и думать над этим?

Время — ветер, оно выдувает непрошенные мысли. Люди привыкают не думать в тишине, а только работать, делать. Им кажется — важные дела. Или отдыхать, наслаждаться.

Почему «хлебнул горячего» в Свердловске? Почему у этого города два имени? Горячее — это страшное, я догадалась тогда.

Много позже я узнала, уже со слов моей матери: прадед Павел Ефимович, красноармеец, служил в отряде, который сторожил последнюю царскую семью в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Уже нет того дома: сломал товарищ Ельцин. Или господин Ельцин, как угодно. Наш первый президент. Я с замиранием сердца спрашивала маму: а правда, прадедуська Павел расстрелял царя? Мать прижимала палец к губам. Так же, как бабушка, она всегда шила — на ручной швейной машинке «Подольская», чёрной, чугунной, с золотой вязью по гладким женским бокам. И всё так же ползла из-под руки, со стола на пол, разнообразная ткань.

Палец, прижатый к губам, говорил без слов: говорить нельзя. Запрещено.

Мама, глазной врач, рано надела очки. Сапожник без сапог. Толстые стёкла непомерно увеличивали глаза. Мы, девчонки, таких лупоглазых цариц рисовали чернилами на школьных промокашках. Она стала портнихой по наследству, домашней, только для семьи. Шить она умела всё — от пальто и шубы до детской распашонки. Всё семейство обшивала. Ночами.

Однажды ночью я услышала, как она плачет. Осторожно ступая босыми ногами, вышла в большую комнату — мама называла ее «зала». Большими красивыми руками мать вцепилась в чугунную плаху «Подольской», лоб лежал на руках, она всхлипывала. Толстые очки валялись на полу. Я подошла и погладила ее по плечу. Подняла очки.

«Мама, что ты плачешь?» — спросила я тогда робко. Я не умела утешать, стеснялась. Меня ласкали и любили, а я не умела ласкать. Боялась. Мать утёрла лицо ладонями. Потом погладила мне шершавой, будто наждачной ладонью заспанное лицо. «Деда вспомнила. Как он нас всех, сестёр, любил. Меня звал Нинусик. Томочку — Тамочка. Валю — Валечек. А ты знаешь, доченька, ведь он царскую семью расстрелял. И на всю жизнь это запомнил. А всё равно его по лагерям затаскали. Не помиловали. Хотя видишь, ради советской власти он невинных людей убил».

Как это невинных, думала я смятенно, ведь цари мучили народ, стреляли в него, издевались над ним! Нас так учили в школе. Я не знала другой правды, да и не было её.

«А когда его увозили на подводе из Буяна на поселение — он так всех нас обнимал! И плакал, и кричал: я ещё вернусь, вернусь!»

Мать крепко вытерла лицо падающей на пол материей. Потом она начала, среди ночи, шёпотом рассказывать мне про молодого прадеда Павла. «Остались снимки... там он такой красивый... и деток красивых нарожал от Нasti, да и она была хороша, полька... А про царей он нам рассказывал, сажал нас на колени и губы мне к уху прижимал, — губами щекотал... Говорил: цари были такие тихие. Смирные... Дочери — хорошенькие. Особенно ему нравилась Мария... Он все их имена помнил, а мы — путали... А потом обнимал

нас и плакал. Мы его спрашиваем: ты что, деда, плачешь? Тогда он смеялся через силу и кивал: правильно, солдаты не плачут!»

Солдаты. Так я и представляла прадеда Павла — то плотника с топором в руках, то солдата — с винтовкой за спиной. Он стоит, винтовка за плечом, закуривает махорку, а его окружают солдаты, друзья, толпятся.

Потом все эти солдаты стали приходить ко мне во сне.

Именно солдаты, а не цари, хотя правильной было бы, если бы девочке, по девчачьему чину, снилась царская семья, гордая царица и царевны в кружевных платьицах. И бородатый важный царь.

Я потом увидала в книгах фотографии царя — в военной форме; он тоже был солдат. Для меня тогда не было разницы между офицером и солдатом. Все они в гимнастёрках, и у всех суровые военные лица. Брови хмурятся. Только одни солдаты делают революцию, а другие на них нападают, чтобы красную, прекрасную революцию убить.

А потом те и другие объединяются и однажды защищают нашу Родину от страшного чужого врага.

Когда Гитлер напал на Советский Союз, прадед Павел отбывал срок в особом тайном лагере на Новой Земле. Сейчас есть мнение, что никаких таких лагерей на Новой Земле не было, ни на острове Вайгач, ни на острове Колгуев. И что всё это сочинения досужих репрессированных, желающих, чтобы как можно больше было в прошлом секретного дикого страдания. Однако мой прадед Павел там, в новоземельском лагере, доподлинно сидел. Всю войну с фашистом они просидели там, на мёртвом Севере, где белые льды и красные жуткие закаты. Где медленно колыхается, варится серое ледяное олово моря. Они шили для Советской армии тулупы и валяли валенки. Валеночки...

И убили Павла, прадеда моего, при попытке побега. Бежал вместе с другом. Сухарей тайком насушили, хранили под старой лодкой. Этому самому другу бежать удалось, а Павла подстрелили. Часовой с вышки стрелял метко. Друг снял у Павла с груди темный, позеленелый крест. На себя надел. С двумя крестами шел. Добрался до Волги, до Костромы. На барже плыл, милости ради. Донес до Самары. Отдал дочке, Наталье Павловне.

Я смутно вспоминала бормотанье бабушки: «Сидел на кухне... столы газетами покрыли... как раз пост, пирожки с картошкой матушка испекла... Крест у меня на ладони лежал, я его слезами обливала... А этот человек, царствие ему небесное, до нас добрался, как хорошо, последнюю весточку принес...»

И хорошо, ясно помнила я — на шее у бабы Наташи, на груди, чуть ниже яремной ямки, тяжёлый медный крест, слишком тяжёлый и большой, неженский. Такие нательные кресты носили служилые и торговые люди, солдаты, крестьяне. Мужики. Я залезала к бабушке на колени и трогала этот крест пальцем. Он не холодил палец, а странно обжигал.

Сейчас думаю: вот он носил крест, Павел. В Бога — верил. Тогда все верили. Нельзя было иначе. И всё же поднял руку на царей. На своих царей.

...Да тогда они уже не свои были, цари-то. Они уже были чужаками в поменявшей одежду стране.

Новое платье России сшили, красное.

Стрекотала швейная машинка.

Текла красная ткань из-под грубых родных рук.

Кровь родная, люди родные, — а цари чужие.

Немцы. Немчура. Чужие. Немые. Иные.

Представляла, как прадед Павел стоит, солдат, с ружьём наперевес, и ружейный ствол — на царя наставляет. Может, это он и убил последнего царя?

Честь убить царя пытались присвоить многие. Цареубийца, это же навсегда в истории! Называют разные фамилии. Разные люди пишут на эту тему мемуары. Так до сих пор никто и не знает, кто это сделал.

Когда начинается революция или война, нет правых и виноватых. У каждого своя правда, и он борется за неё.

Бабушка рассказывала не только о человеке, донёсшем до семьи Павла Ерёмину его нательный крест; а ещё об одном друге, с которым Павел служил в отряде в Екатеринбурге. В ящике старинного письменного стола красного дерева у бабушки, среди разных фотографий лежала и такая: два солдата стоят перед камерой, глядят в объектив осовело. Слишком долго, видно, держал двух парней нерасторопный фотограф перед волшебной коробкой: никак не мог зажечь магний. Я рылась в ящике, когда бабушка уходила в молочный магазин — за кефиром, молоком и творогом, — доставала из ящика пожелтелый снимок. Кто слева, кто справа? Прадеда Павла я уже узнавала: он и правда был красив. Брови вразлёт, фуражка надвинута на лоб, узкие калмыцкие глаза. Рядом паялся в камеру другой солдат. Ростом выше Павла. Длинный и нескладный. Шинель мала, чуть ниже колен. На башке будёновка. Глаза таращит. В отодвинутой от торса руке сжимает винтовку, крепко упирая её прикладом в дощатый пол.

Я глядела на снимок и со сладким страхом думала: а может, это он убил?

...Детей интересует смерть. Может, потому, что они о ней ничего не знают, зато верно и жгуче её чувствуют. Им не надо говорить, что все мы умрём. Им на эту тему снятся сны. Иногда снится, как их убивают; во сне они бегут, убегают, а за ними топот ног, их настигают и стреляют в них. И дети вскидывают руки и падают животом на забор. Или на кирпичную стену. Или на колючую проволоку. Или просто на землю.

У меня такой сон был. Он приходил ко мне несколько раз. Адская боль, когда в тело входит пуля. Я ощущала, как из меня льётся горячее, льётся кровь. Руки хватались за забор — я пыталась, уже умирая, через него перелезть. Перелезть из смерти в жизнь. Я делала над собой страшное усилие и просыпалась. Кровь, громохочая, толкалась в уши, разрывая барабанные перепонки. Меня убили, думала я дико и быстро, но вот же я проснулась, и всё это понарошку.

Кровь толкалась в сердце, в губы, в глаза. Я неистово радовалась, что я жива. Я живу, и это такое счастье! Неужели я когда-то умру? Или меня убьют, как во сне?

Или — убьют не во сне?

Я запомнила, как зовут того солдата, с фотографии. Быть может, это он меня во сне убивал. А может, кто другой. Это уже неважно.

Когда бабушка Наталья умерла, все её вещи достались дочерям Валентине и Тамаре. Нина, моя мать, не получила из ерёминского дома ничего, ни вещицы, ни иконки, ни вышитой бабушкиными руками подушки. Хотя очень просила: «Отдайте мне корзинку с последним вязаньем и спицами».

...Бабушка сидит. Вяжет. Во рту держит две спицы с янтарными шпечками-наконечниками. На столе напёрсток, серебряный, с такой же янтарной головкой в дырках. Ножная финская машинка укрыта холстиной. «Ты знаешь, Леночка, они очень дружили. Переписывались. Отец вернулся с Урала в Новый Буян — ему всё время от него почту приносили. А отец не умел особо писать, хотя грамотный был. В Буяне стал церковным старостой. Маслобойку завёл... мельничошку... А потом письма перестали приходить. Нас раскулачили... мельничошку отняли, маслобойку покалечили... сломали... Всё сломали, всё».

...Всё сломали, всё. Но мы же наш, мы же новый мир построили!

Построили — а потом опять разрушили.

А потом опять построили.

А потом...

И так всегда.

Значит, нет выхода из круга?

Я жила и не думала об этом друге. О солдате этом. А в последние годы вдруг стала думать и думать о нём. И видеть его. Почему-то его, а не прадеда Павла, — ярче, четче.

Что такое смерть? Это когда забывают до конца. Напрочь. А жизнь, наверное, это то, когда тебя видят и помнят.

У нас сейчас многие молодые хотят революции. Мы озираемся по сторонам, смотрим на те земли, где революции эти произошли, и хорошо видим: да, опять кровь, разруха и смерть. Ничего, кроме смерти. Но смерть проходит, и приходит жизнь. Только она уже совсем другая.

И из смерти, из войны или революции, надо выкарабкиваться страшно долго.

Страшно и долго.

Сколько усилий для того, чтобы построить новое!

А что такое новое? Может быть, это опять время?

А оно старым или новым не бывает. Оно всегда одно.

Его шьют и режут. Прострачивают очередями. Сшивают петлями виселиц. Ставят на нём огненные заплатки. А оно такое текучее, скользкое. Льётся и ускользает.

Недавно мне приснилось, что в меня опять стреляют. Но я не убегаю. Я стою ровно и тихо. И смотрю убийце прямо в лицо.

Я хорошо знаю его.

Помню по жёлтой фотографии.

Вот здесь у него морщинка под глазом. Вот здесь, возле уха, родинка.

Он мне как брат. Родной.

...И он не опускает винтовку. Он стреляет всё равно.

**Андрей Попов
(Россия, Сыктывкар)**

Попов Андрей Гельевич родился в 1959 году в Воркуте. Окончил Сыктывкарский государственный университет, филологический факультет. Автор десяти сборников стихотворений. Член Союза писателей России. Публиковался в журналах «Наш современник», «Юность», «Север», «Арион», «Родная Ладога», «Крещатик», «Московский вестник» и других. Стихи переводились на венгерский язык. Лауреат еженедельника «Литературная Россия», премии правительства РК в области литературы имени И.А. Куратова, премии П.Суханова. Лауреат «Российского писателя» (2015), лауреат премии А. Ванеева, лауреат Южно-Уральской премии (2015), лауреат Международной литературной премии имени С. Есенина «О, Русь, взмахни крылами». Живёт в Сыктывкаре.

Поэты русского Севера

Есть далеко не безосновательное предположение, что Республика Коми по количеству поэтов на душу населения занимает первое место в мире. Прозаиков тоже хватает — и с российской известностью у некоторых всё в порядке, но поэты мне роднее, поэтому я на них и останавливаю свое внимание. Не на всех. Только на тех, кто мне ближе. Заранее извиняюсь перед всеми достойными, их много, я о них не забыл, они хорошие поэты, но сказать обо всех, это написать книгу. А на книгу у меня пока нет сил. Я не претендую на полноту, она для учебников и литературных обзоров. Это субъективные мысли о русской поэзии в Республике Коми. Поскольку мысли субъективные, то и о себе немного более чем полагается для жанра критической статьи.



© Фото Марины Милинкович

Проживает в нашем огромном крае, по территории равном Франции, в настоящее время меньше миллиона человек, зато членов Союза писателей России сорок девять, не миллионов, конечно. А сколько еще имен интересных литераторов можно добавить к списку «профессионалов»? Поэты есть в каждом селе. Такое впечатление, что не стоит у нас село без поэта, пусть порой это и скромный стихотворец, не всегда знакомый со всякими там силлабо-тоническими и тоническими системами, но душа его просит лирического слова — и, может, именно его душевное поле и сохраняет деревню от тотальной эмиграции в город.

А в городах-то поэтов уже не по одному на населенный пункт, дело идет на десятки! Они собираются в литературные объединения, обсуждают свои произведения, сбрасывают с корабля современности тех, которым Бог не дал жить на земле Коми, любить тайгу и тундру, северные травы и вечную мерзлоту. Они составляют коллективные сборники и молятся Богу. Есть, конечно, исключения, которые пьянеют от слова «андеграунд» и понимают его, как индульгенцию своей душевной нетрадиционности. Но их как бы не то, что не любят и не то, что совсем не понимают, а просто жалеют. А вообще дела идут примерно вот так (самоцитата):

Провинция искренно губит —
Порядок такой,
Местный быт.
Зато не продаст.
И не купит.
Скептически лишь поглядит.

Посмотрит:
В просторе великом
Года исчезают,
И труд,
Столичные гномики с шиком
Народные песни поют...

Забавно, легко, пошловато.
И пусть — отвернись и молчи.
Какая шестая палата?!
Откуда возьмутся врачи?

Провинция медленно губит,
Смиряет душевный подъём,
Короткие улицы любит,
А всё остальное потом.

Пора бы светло удивиться,
Забыв про суды и гроши,
Забыв, что в районной больнице
Лекарств не найдёшь для души,

Но мыслим ревниво и хмуро,
Сбиваясь привычно

на штамп:

Столица —

холёная дура,
Капризная женщина-вамп,

Красивая сытая сука,
Предавшая русскую честь...
Ах, провинциальная мука!
И провинциальная спесь.

Опять выдаёт интонация,
Опять с раздраженьем любовь,
Провинция, как радиация,
Меняет невидимо кровь.

И всё-таки это планета —
Родная моя сторона.

Живи себе анахоретом,
А если однажды хана,

Она — та, что судит и губит, —
Находит от сердца слова.

И любит,
Выходит, что любит,
Раз плачет навзрыд,
как вдова.

Земля Коми никогда не знала ни вражеских нашествий, ни крепостного права. Но судьба у неё с Россией всегда была общей.

После Отечественной войны 1812 года сюда ссылали французов. В Сыктывкаре, бывшем Усть-Сысольске, до сих пор даже есть местечко «Париж». В советское время это был самый криминальный район. Здесь можно было легко нарваться на Бородино, Ватерлоо и Березину в одном флаконе — без всякого повода. Позднее, когда на улице Кутузова появились многоэтажные дома, ситуация изменилась к лучшему, появился даже супермаркет «Париж», но я на всякий случай все равно туда не хожу. Зато часто слышу шутку, что Сыктывкар такой большой город, что Париж у него только микрорайон.

После пленных французов были пленные немцы и «враги народа». И смешался немыслимый людской конгломерат: воры и философы, убийцы и врачи, садисты и священнослужители, насильники и художники, дезертиры и доблестные военачальники. Сколько знаменитых людей прошло через лагеря в Коми!

Много чего оказалось здесь намешано в человеческих душах. И то ли безымянные могилы того требуют, то ли нарушившаяся гармония неспешного течения жизни, то ли сам сформировавшийся человеческий потенциал, а, скорее всего, и то, и другое, и третье. А также острое осознание общности своей истории с историей России, и вдруг неожиданно и по-северному упрямо понятая сопричастность судьбы с богоносной державой. Но не могут здесь не рождаться всё новые искорки художественного постижения бытия! Может, чем выше широты, тем ближе к Богу, чем привычнее наблюдения бессмысленной смерти, тем неотвратимей тяга к осмыслению бессмертия. Это у меня уже пошёл «провинциальный шовинизм». Но он мне нравится, как бы кто скептически, а то и свысока ни улыбался.

Удивительное дело, сколько поэтов — хороших и разных — рождает Коми-земля! А чему, собственно, удивляться: вряд ли могло быть иначе. Земля такая. Заставляет. Видать, нужны ей поэты.

Начиналась же наша поэзия с **Ивана Куратова** (1839–1875). Его называют основоположником коми литературы. Это не только обязательный реверанс классику, но ещё и долг родственника — я его прямой потомок. Родился Иван Алексеевич в селе Кибры, ныне оно, понятное дело, называется Куратово. Мой прадед — отец Михаил — был настоятелем храма в этом большом селе. В 1918 году его за это хотел расстрелять местный «чапаев», которого звали Мориц Мандельбаум. Как бы сказали сегодня, австрийский наёмник. Не расстрелял, но храм закрыл. Мой дед уже жил в Сыктывкаре, а умер в Абезьлаге, чуть раньше Льва Карсавина.

Хорошо, что Иван Куратов об этом не знал, даже предвидеть не мог, как сложатся судьбы его родственников. Но на всякий случай из Усть-Сысольска он в своё время уехал. Служил в Казахстане полковым аудитором. Сегодня в Сыктывкаре на Театральной площади ему стоит памятник.

Иван Куратов писал на коми языке. Сейчас в республике пишут стихи на коми и на русском языках. Потом друг друга переводят. При этом

обычно каждый считает, что его перевод значительно улучшил оригинал. Так что живём дружно. Например, один из съездов Союза писателей Республики Коми, это было в 60-х годах прошлого века, после обязательного банкета в полном составе оказался в медвытрезвителе. Покидали банкет по отдельности, а неожиданно встретились в милицеском учреждении. Решили там и открыть внеочередной писательский съезд.

Я пишу на русском языке, коми язык стал забывать уже мой отец, я знаю только несколько слов и расхожих выражений по коми — хорошего в этом мало, но факт есть факт. Русская поэзия на коми земле, как явление относительно общедоступное, а не лагерно-камерное и кухонно-герметичное, возникает в конце 50-х годов двадцатого века. Первое имя, на которое, на мой взгляд, стоит обратить внимание — **Василий Журавлёв-Печорский** (1930–1980). Он родился в городе Мезени Архангельской области, но детство и отрочество провёл в деревне Коровий ручей Усть-Цилемского района Коми АССР. Это места старообрядцев — здесь говорят по-русски. Здесь Василий Журавлёв-Печорский стал поэтом, стал «лирическим энциклопедистом природы Печорского севера», который исходил вдоль и поперёк. Именно ему, на мой взгляд, принадлежит точный образ судьбы северного поэта — жаворонка.

Соловьи на Севере не водятся —
Замевают жаворонки их.

И поэтому им каждый год приходится
День и ночь работать за двоих.
Жаворонков любят северяне,
Но твердит народная молва,

Как в безмолвном утреннем тумане
Кровью орошается трава.

Ты, который рвёшься в поднебесье,
Может и твоя пришла пора?
...Сердце не выдерживает песни
и бросает птицу в клевера.

Второе знаковое имя для меня — народный поэт Республики Коми **Надежда Мирошниченко**. В России такое звание дают только в национальных республиках, уникальный случай, что его дали русскому поэту. В середине 80-х, каждый раз вынужден добавлять, что прошлого века, хотя, наверно, это и так понятно, Надежда Мирошниченко организовала литературное объединение «Сыктывкарская мастерская». Из него вышло много настоящих поэтов и прозаиков. Можно сказать, что это было рождение русской литературы в республике.

Как говорит она сама: «Литератор после священника — второй человек, который отвечает за нравственное состояние своего народа. Он также должен подвигнуть людей к спасению душ и своим творчеством служить этому спасению... Вера даёт масштаб мышления. С возвращением к ней для меня открылись планетарные взгляды на Россию и на площади России. Всё главное открывается через Веру».

Мне говорили: сильная!
А я бывала слабою.
Смеялись люди сытые:
Была бы лишь не бабою.

А бабою бывала я,
Поскольку истерически
Не быть в России бабою —
Не выжить исторически.

Виктор Кушманов (1939–2004) получил звание народного поэта по-смертно, как часто бывает, не успели.

Его называли коми Есениным, хотя он был, конечно, не Есенин, а другой. Лишь внешне был очень похож на знаменитого рязанского пиита. Он родился в посёлке Ниашор Сысольского района Коми АССР, в нём жили спецпоселенцы, виновные, а часто и невиновные, перед советским законом. После смерти матери с 1945 по 1953 год воспитывался в детских домах. С 1973 года — член Союза писателей СССР.

Расставшись, я оставил рощу
Тебе на память. Две реки.
Одну весну. Сырую осень
Из зыбких шорохов тоски.

Оставил: праздников четыре,
Два первых снега, ливня два
И гроздь заснеженной рябины,
Чтоб не болела голова.

Приведу несколько слов о нём его друга журналиста Валерия Туркина: «Свою последнюю книжку (всего было больше десяти) назвал „Прости“. У друзей сжалось сердце от дурного предчувствия. Слава Богу, прожил ещё три года. Мне подарил её с таким автографом-экспромтом: „Надеялся я и верил, /Что толстую книгу издам... /Да здравствует Туркин Валерий, /От полных краснеющий дам! /Может быть, только поэтому/ Ясная в простоте, /Понравится эта книга, Склонная к полноте!“».

Дмитрий Фролов (1957–1995) — воспитанник «Сыктывкарской мастерской» Надежды Мирошниченко. Родился в селе Тракт Княжпогостского района Коми АССР. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Был похож на лесного человека, можно сказать, лешего. У него даже есть такой цикл стихов — «Лешие». Мучительно искал истину, на какие только «духовные» собрания не ходил. В последний год жизни держал Великий пост и причащался в Православной церкви. Наш родной Коми край называл «северною вотчиной души».

Сейчас некоторые его стихи кажутся пророческими:

Моя любовь над пропастью скользит
по тоненькой и звонкой паутинке,
в случайной толчее пустых обид,
сама с собой в задорном поединке.

К ней белые болонки-облака
боками льнут
доверчиво и влажно...

Весёлый и смешной эквилибрист,
скользит она, отважна и воздушна,
и солнечная прядь, как жёлтый лист,
топорщится упрямо на макушке.

Когда любовь настолько высока,
поверьте мне,
упасть
совсем не страшно!

Анатолий Илларионов (1952–2008) родился и всю жизнь прожил на станции Ираэль. Как он шутил, «Все поедут в ИзраЕль, а я поеду в ИраЕль». Работал в Ираельской дистанции пути Сосногорского отделения Северной дороги. Его прозрачными, лёгкими и в то же время глубокими стихами восхищались многие московские поэты, в частности Юрий Кузнецов. Анатолий Илларионов умер от рака. Мне довелось быть составителем его посмертной книги «Прощальный полёт».

Звёздный холод. Ночной небосвод.
 Можно с Тютчевым спорить и с Блоком.
 Можно верить, что все мы под Богом.
 И надеяться: Бог нас спасёт.

Александр Суворов приехал в Республику Коми со станции Бира Дальневосточной железной дороги в Еврейской автономной области, точнее, его привезли родители. Отец, сын репрессированного архангельского священника, отбыл срок по известной 58-й статье и выбрал для места жительства Сыктывкар. Теперь это родина поэта Александра Суворова — навсегда.

Пустынно в вечной звёздной	Никто не слышит нас в
толкотне,	бездонной мгле,
И лгут астрономические доки.	Один Господь
Я знаю, во вселенской тишине	внимает нашим вскрикам.
Никто не слышит нас —	Но Он молчит, поскольку на земле
мы одиноки.	Всё сказано о низком и великом.

Валерий Вьюхин родился в деревне Большой Исток Череповецкого района Вологодской области. Работал бортмехаником в Коми управлении гражданской авиации. Его поэзия неразрывно связана с небом, и в то же время он напряженно размышляет о судьбе России. Куда мы летим?!

Владимир Подлuzский родился в селе Рохманово Унечского района Брянской области. В Коми приехал работать журналистом. Постоянно публикуется в ведущих московских журналах, на сайте «Российский писатель». В 2012 году Владимир Подлuzский издал роман в стихах «Тарас и Прасковья». За эту книгу он удостоен Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества».

Татьяна Канова прекрасно знает коми язык, но пишет стихи на русском — на русском говорит её душа. Живёт она в селе Кольёль, а работает учителем математики в селе Межадор.

На любителя

Я в городе, который не люблю	За умноженье в глянцевых витринах
За суету, за непонятный гонор,	Невзрачности, усталости и мук.
За выдающий снисхожденье	Я в городе, который мне не мил.
говор,	Взаимно, впрочем,
За неуклюжесть сельскую свою,	что уж там рядиться:
За узловатость нехолёных рук,	Смешно мечтать,
Что так заметна	что мне он покорится.
в модных магазинах,	Но ведь и он меня
	не покори́л.

* * *

Я родился и прожил более сорока лет в Воркуте. **Андрей Попов** — не очень запоминающееся имя. Это, конечно, не Лермонтов или Маяков-

ский. Такие фамилии сразу входят в сознание и подсознание — можно даже стихи не писать. Надо было мне в своё время взять псевдоним, как это сделали Александр Серафимович или Александр Яшин, рожденные Поповыми, но сначала не догадался, а сейчас уже поздно...

Василь Василич назывался дедом,	К нему приехал за отцовской лаской
Но был не дед мне — знал я про обман.	Сын из Тамбова, тридцати двух лет.
Он помогал чинить велосипеды,	На мотоцикле новеньком с коляской
До станции нёс маме чемодан.	Катал родню — и вылетел в кювет.

Не воевал — в тюрьме сидел, наверно,	Все живы — их на «скорой» увозили,
Украл чего-то — это я решил.	Среди сочувствий, вздохов и машин
В России мир...	Дед отряхнулся

Он пил дешёвый вермут,	от дорожной пыли —
Чуть что ругаясь —	Ни ссадины.
мать твою в кувшин.	Вот мать твою в кувшин!

А мама говорила деду строго:	В России мир...
— Не матерись,	А мы идём в больницу,
здесь не пивной буфет.	Родным несём мы яблоки и мёд.
И дети слышат. Ты побойся Бога!	Василич верит, хоть и матерится —
Василич отвечал, что Бога нет.	Всё будет хорошо, и Бог спасёт.

О своих предках я узнал благодаря краеведу Анне Георгиевне Малыхиной, когда мне было уже больше тридцати — меня только-только приняли в Союз писателей России.

Уже мой пра-пра-пра-пра-пра-прадед Тимофей (р.1695г.) вышел из крестьянского сословия и служил в церкви пономарём. Его дело продолжили сын Пантелеймон и внук Пётр. А правнук Алексей Куратов (1798–1845), отец первого коми поэта, был рукоположен в диаконы. У Ивана Алексеевича Куратова была сестра Антонина, она вышла замуж за иерея Константина Попова. Один из их сыновей Михаил Попов (1849–1933) стал священником Спасской церкви в селе Кибры. У протоиерея Михаила Попова было одиннадцать детей. Моего деда он назвал Модест. В Казанском соборе Санкт-Петербурга, когда ещё он служил местом для музея религии и атеизма, я видел икону святого Модеста, которого, по словам экскурсовода, просили о молитвенной помощи в сохранении здоровья домашних животных, особенно коров и лошадей. Удивительно, что мой дед окончил духовную семинарию, однако всё-таки выбрал профессию ветеринарного врача.

Мой сын Дмитрий с большим уважением относился к тому, что происходит из рода Куратовых. Его радовали и мои скромные литературные успехи, хотя увлекали компьютерные технологии, программирование. Однажды он написал стихотворение о Воркуте и подписал его **Дмитрий Куратов**.

От холодного эфира
У меня краснеет нос.
Воркута — столица мира,
Где морошка и мороз.

Здесь мои шагают годы,
Как гвардейские полки,
Здесь живут олениводы
И бастуют горняки.

А на клич курортных мафий
Жить в тропическом краю
Я скажу: «Идите на фиг.
Дайте родину мою».

Что мне в Африке квартира,
Если там, как чудо, снег?!
Воркута — столица мира,
Я — столичный человек.

Больше он стихов не писал. Но обещал, что признания людей и доброй известности добьётся: «Мы же Поповы и Куратовы!».

Диму убили как-то по-азиатски дико и коварно. Таксист-кавказец угостил его кофе, в котором был подмешен сильнодействующий яд. Забрал мобильный телефон и пару тысяч рублей — и выбросил на мороз, было минус десять градусов. Когда Диму нашли, он еще некоторое время подавал признаки жизни в милицейской машине...

Скорбь моя безутешна. Уповаю, что в небесных селениях моего сына встретили многочисленные праведники из рода Куратовых и Поповых, и он обрёл с ними радость преисполненную.

В прокуратуре

Я весь седой и многогрешный —
Юн старший следователь, он
Ведёт допрос, чтоб потерпевшим
Признать меня.
Таков закон.

Рассказывает без запинки,
Придав словам суровый вид:
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит.

Привычны горестные были
Для умирающей Руси:
Клауфелином отравили
И выбросили из такси.

И он замёрз.
Скупые вздохи
Кто может слышать в тёмный год?!
Замёрз от февраля эпохи
Всепообеждающих свобод.

И ни молитва, ни дублёрка
Не помогли его спасти,
И Богородицы иконка
С ним замерзала на груди.

Какую вытерпел он муку,
Не перескажет протокол!
И ангел взял его за руку,
В селенья вечные повёл.

А мне произносить с запинкой
Слова кафизм и панихид.
Мой сын единственный,
Мой Димка
На Пулковском шоссе убит.

Нет больше никаких вопросов,
И прокурор, совсем юнец,
Мне говорит, что я философ.
Я не философ, я отец.

Ах, следователь мой неспешный,
Ты не поймёшь, как я скорблю...
Я потерпевший, потерпевший.
Я потерплю.

Сейчас я живу в Сыктывкаре, тоже столица. Как говорит Надежда Мирошниченко, «столица поэзии русского Севера». Но о воркутинцах помню. **Ольга Хмара** через любовь к заполярному городу переосмысляет многие проблемы современной жизни. Её последняя книжка называется «Каторжанка снегов». А вот **Елены Поварковой** (1977–2012) уже не вернётся...

Игорь Вавилов (1965–2011) состоял во всех мыслимых и немыслимых писательских союзах. Это его коллекционированием было. Андрей Битов, прочтя его стихи в журнале «Дружба народов», назвал их «европейскими». За три дня до смерти Игоря мы с ним вместе возвращались после работы, рассуждая о бессмертии души. Ничего не предвещало беды. Внезапный инсульт. Составлял и редактировал его посмертную книгу «Необратимость бытия».

Анатолий Пашнев (1952–2013) жил в Ухте, решил переехать в Анапу — в тёплые края. Там умер от инфаркта. На мой взгляд, был одним из лучших русских лириков. За всю жизнь издал всего две тоненьких книжки — некогда было.

И проследить длинный путь,
Словно над бездной скользя.
Как это больно вдохнуть!
Выдохнуть это нельзя...

У меня есть посвящение Анатолию Пашневу.

Если вдруг доживём до расстрела, То поставят, товарищ, к стене Нас не за стихотворное дело, Нет, оно не в смертельной цене.	В ней преграда его грандиозным Изменениям умов и сердец. И фанатикам религиозным Уготован жестокий конец.
Мир уже не боится поэта, И высокое слово певца Он убьёт, словно муху, газетой, Пожалеет на это свинца.	Вновь гулять романтической злобе, Как метели, в родимом краю... Если только Господь нас сподобит, Пострадаем за веру свою.
Для чего сразу высшая мера? Водка справится. И нищета... Но страшит его русская вера, Наше исповеданье Христа.	А солдатикам трудолюбивым Всё равно, кто поэт, кто бандит — Не узреть им, как ангел счастливый За спасённой душой прилетит.

Ещё одна наша неожиданная и трагичная утрата — **Александр Поташёв** (1971–2013). Родился в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа Архангельской области. Детские годы прошли в деревне Усть-Ижма. Жил в поселке Щельяюр Ижемского района. Это очень далеко даже от Сыктывкара, но зато там всё близко к сердцу. Стихи Саши проникнуты удивительной образностью. Он учился на Высших литературных курсах, не закончил. Приехал домой в Щельяюр и замолчал. Несколько раз обещал мне начать работать, начать писать. Обещания не

сдержал. Мобильный просто отключил или выбросил. О его смерти сообщил Надежда Мирошниченко священник из Ижмы.

Несколько слов о молодых поэтах. **Андрей Нитченко** из Инты и **Екатерина Соколова** из Сыктывкара становились победителями всероссийской премии «Дебют».

Инга Карабинская из Ухты — лидер молодой поэзии республики, автор двух сборников, публиковалась в журналах «Наш современник», «Юность», «Дон». Как пишет о её творчестве Надежда Мирошниченко: «Стихи её взрывают душу состраданием и восторгом». В Ухте ещё есть **Дарья Снегирёва**, автор двух сборников стихов, её поэма «Детдомовец» была опубликована в «Академии Поэзии».

Теперь о моих воспитанниках из литературного объединения Союза писателей Республики Коми. **Анне Чалышевой** всего 21 год, но её творчество уже замечено в Москве. Она автор двух тоненьких книжечек «Дыхание» и «Письмо из апреля», публиковалась в журналах «Литературная учёба» и «Юность». В декабре 2014 года она стала лауреатом общероссийской премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, учреждённой «Литературной газетой». Выпустили свои книги и участвовали в различных, в том числе и международных, литературных семинарах **Владимир Устюгов, Алексей Засыпкин, Мария Игонина**. Интересные стихи пишет выпускница Сыктывкарского государственного университета **Мария Размыслова**, она уже публиковалась в «Литературной России» и журнале «Юность». Мне все они кажутся настоящими. Дай Бог, чтоб они состоялись.

Уже 10 лет в Сыктывкаре 21 марта во Всемирный день поэзии проходит Поэтическая эстафета — чтение стихов с утра до вечера, принимают участие только хорошие поэты — гарантирую. Приезжайте — не пожалеете.

Стихи поэтов Республики Коми

Василий Журавлёв-Печорский
(1930–1980)

* * *

Родился там-то и тогда-то...
Перебирая книжный хлам,
Меня очкастые ребята
Разыщут с горем пополам.
Тире — и дальше день кончины.
Вся жизнь вошла в одну строку.

Ни состояния, ни чина,
Ни пистолета на боку.
Всю жизнь свою куда-то ехал,
Бродил в лесах родной земли...
Ещё не раз таёжным эхом
Я вам откликнусь издали.
Я стал несказанно богатым
И не во сне, а наяву,
Ведь в песне, что сложил когда-то
Ещё долгонько проживу.

Родничок

Где Пижма берёт истоки,
У каменистых круч,
Как северянин окая,
Бьёт безымянный ключ.
Тихо вначале, робко,
Ощупью,
Налегке
Он пробивает тропку
К давно замёрзшей реке.
А осмелев, ударит
С маху о толстый лёд.
Смотришь — на месте
Опарин
Заберега блеснет...
В самую лютую стужу
Разносится радостный звон...
Бьёт родничок и не тужит,
Что безымянный он.

Надежда Мирошниченко

По имени провинциалы

А мы всё равно не большие,
С какой ни гляди из сторон,
Извечные стражи России,
Хоть имя нам — не легион.
Сбегаем мы к рекам по тропам,
Проспектами тянемся мы
К завидным дорогам Европы,
К столице родимой страны.
Левша тут скучает, а Вертер
Вовсю собирается к нам.
Здесь лучший из лучшего ветер
Гуляет по всем головам.
По имени п р о в и н ц и а л ы
Мы стойко храним рубежи
Разросшейся родины малой,
Над пропастью, вставшей во ржи.
Но если мы вдруг обессилим,
С тобою что станется, Русь?
С тобою что станет, Россия?
Я даже представить боюсь.

Русский романс

Как жаль, что декабрь на дворе,
Что холодом душу свело.
Зато вся земля в серебре,
И всё-таки в мире светло.
А я унывать не люблю.
И ты меня лучше не тронь.
Я печку в дому затоплю
И буду смотреть на огонь.

Он вьётся в печурке, как вьюн.
Он тайною дышит своей.
А хочешь, я чаю налью
Покрепче, чтоб было теплей.
И может, оттаю сама
И стану, как прежде, собой.
Какая крутая зима!
Как холод кипит голубой!

Виктор Кушманов (1939–2004)

* * *

Лес вымер. Он стоит без листьев.
Засохли корни в почве. Кончен бал.
Пропитан воздух запахом больницы,
И птичий крик похож на выдох «ах».
И это «ах» последнее от птицы.
И только тень, упавшая на мох,
Напомнит нам,
Что здесь шумели листья,
И путались купальницы у ног.
И было столько чистоты и неги,
И солнца, и воды, и облаков...
Тянула лошадь медленно телегу
И фыркала от запахов цветов.
Навстречу лошади, телеге —
В платье тесном,
С корзиной ягод — ясная собой —
Шла босиком прекрасная из женщин
По той земле,
Беременная мной.
Ах, Господи!
Каким же было благом,
Ещё не появившимся на свет, —
Уже любить траву, деревья, маму
И то, чего на этом свете нет.

Любовь, которой не было

Зима кружится белая,
Зима кружится белая,
Дела мои плохи.
Любви, которой не было,
Любви, которой не было,
Опять пишу стихи.

Как песенка несмелая,
Цветет крапива серая,
А дождик льёт и льёт.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было,
Меня с ума сведёт.

В том доме нету мебели,
Кто жил там — все уехали,
Висит пальто с прорехами,
Забыл какой-то гость.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было,
Опять как в горле кость.

Я на таёжном севере,
На придорожном дереве,
Петлю себе примеривал,
Да затянуть не смог.
Любовь, которой не было,
Любовь, которой не было...
Вот всё, что я сберёг.

Дмитрий Фролов (1957–1995)

* * *

В час рассветный
мы добрей и чище
Ангелов и маленьких детей,
Мы освобождения не ищем
От грехов привычных и страстей.

Синие двухъярусные шконки
«С»-образно выстроились в ряд.
Бледною лампадой под иконкой
Сквозь «ресницы» теплится заря.

Только в это время,
в час рассветный,
Постепенно сводится на нет

Люцифера свет люминесцентный —
И нисходит долу Божий Свет.

На душе и в камере не душно.
Голова молитвенно чиста.
И мерцает нам в тени подушки
Отсвет от нательного креста.

* * *

Поэт в гостях — как скверный анекдот,
рассказанный в компании пристойной:
он нецензурен, бородат и пьёт
отнюдь не чай. Беседаю застольной
он давит на гостей, тем кус не лезет в плотку,
а он и рад! А он к бутылке водки
через салаты лезет напролом
и жмёт соседке ножку под столом.

Всего за час, дитя страстей и блуда,
наметет столько скверной чепухи,
что хоть беги из дома!

Ну откуда
берёт он эти светлые стихи?!

Анатолий Илларионов (1952–2008)

* * *

Лохмотья мха в пазах избушки,
Болотца здесь да озерки.
Поют печальные лягушки,
Да окликают кулики.
Здесь мне не скучно ждать рассвета,
На берегу, у костерка,
Где звёзды дребезжат от ветра
И гаснут в дебрях сосняка...
Здесь мне не очень одиноко,
И впереди ещё мой путь,
Где мне возможно верить в Бога
И в самого себя чуть-чуть.

Чёрное перо

Хруст хвои и хрипы сквозняка,
Вздых восхода.
Как с тобой проститься?
Белое перо берёт рука,
Чёрное перо роняет птица.

Я не знаю, как тебя зовут,
И по лепесткам цветов гадаю,
Что на подоконнике цветут,
Потому что уличных не знаю.

Потому что севером рождён,
Там, где сосны облака качают.
Белое перо — волшебный сон,
Чёрное перо — не поднимают.

Всем цветам приходит время цвести,
Женщинам обычно дарят розы,
К сожаленью, все ответы есть,
Но к ответам кончились вопросы.

Хруст хвои на хриплом сквозняке.
Вздох восхода. Тишина заката.
Белое перо дрожит в руке,
Чёрное перо не виновато.

У судьбы сума есть и тюрьма,
Иногда в судьбе стихи бывают.
Нам хватает сердца и ума,
Только жизни часто не хватает.

Всё уже случилось, всё старо.
Имя я твоё не отгадаю.
Я роняю белое перо.
Чёрное перо я поднимаю.

Андрей Попов

* * *

Порой не укладывается в голове —
Почему люди маются? Чего хотят?
Как можно жить,
спеша и толкаясь, в Москве?!
Переехали бы хоть в Сергиев Посад.

Как понятней в деревне жить
иль в городке:
И в любом нелёгком,
переломном году —

Летом перед работой
искупнуться в реке,
Зимой вернуться домой
по речному льду.

И даже концы с концами сводя едва,
Полагать, что сложности у нас
не впервой,

Но нельзя отступать: за нами Москва.
Москва за нами, а не мы за Москвой.

* * *

Господи, Лазарь,
которого любишь Ты, болен,
Жизнь его оставляет,
и это совсем не хандра...
Даруй ему исцеление —
на всё лишь Твоя воля.

Он говорить не может
и встать не может с одра.

Как не отчаяться, Господи!
Что же Ты нас оставил?!
Умер в Вифании Лазарь.

И мы умрём вместе с ним.
Как нам понять и поверить,
что это не к смерти, а к славе?
Что же Ты медлишь, Господи,
любящим сердцем Твоим?

* * *

Ищешь чувственную дрожью,
Смотришь в мысленный чертёж —
Постигаешь правду Божью...
Только как её поймёшь?!

Что ни скажешь, будет ложью,
Промолчишь — и тоже ложь.
Постигаешь правду Божью...
Только как её поймёшь?!

Только Господу известно,
Почему удел такой —
Сын живёт в стране небесной,
Я живу в стране земной.

Так легко смутить поэта,
Плачу я в земном краю,
Как понять мне благо это,
Правду Божью, скорбь мою?

* * *

Кто-то тайно приказы изрёк,
 Кто-то свёл в напряжении скулы,
 Чья-то мысль,
 словно пуля, мелькнула —
 И я выбран, как верный залог.
 Эй, поэт, затаись между строк
 И смотри в автоматное дуло! —
 Гаркнет резко исчадьё аула,
 Палец свой положив на курок..
 Я — заложник столетней беды,
 Мне в лицо она весело дышит...
 Праздный мир
 с одобреньем услышит,
 Что меня, приложив все труды,
 Обменяли на сумку с гашишем
 И на остров Курильской гряды.

Валерий Вьюхин

Земляника

В глухом краю заросший луг,
 В его траве, как первый иней,
 Белеет пятнами вокруг
 Недогоревший алюминий.
 Лежат белёсые листья,
 Травую новой перевиты.
 Кабины тёмные пусты
 И так пугающе разбиты.
 Их зверь подальше обойдёт,
 И птица их посторонится.
 Лишь грустный свет на самолёт
 Уронит красная зарница.
 И долго бродят по ночам
 По лугу призрачные блики.
 А днём земля здесь горяча,
 Земля красна от земляники.
 Но эти ягоды не рвут —
 Их пальцы вытерпят едва ли.
 Они созреют, упадут
 И запекутся на дюрале.

Владимир Подлuzский

Московский вечер

Густой державной зелени полоска.
 У трёх вокзалов вызрела трава.
 Я с высоты гостиничного лоска
 Гляжу как в вечер ввинчена Москва.
 Похожая на люстру из игрушек,
 Подвешенных за шпильки к небесам.
 Со свечками соборов и церквушек,
 Со страстною любовью к чудесам.
 Сиреневая розовая влага
 Течёт вдоль тысяч спелых фонарей.
 Москва — оседлая,
 Москва — бродяга,
 Москва — ладья
 для райских фонарей.

Украшенная нашими мольбами
 Таинственная майская земля.
 Приезжие в стекло упёрлись лбами,
 Глазея на величие Кремля.
 Мы не чужие
 в белом граде громком,
 Не пыль провинций, а золотники.
 Пришли в Москву
 к своим прямым потомкам
 Наученные ею мужики.

Игорь Вавилов (1965–2011)

* * *

Бывает тишина стихией,
 Навалится — и онемеешь сам,
 Окаменеешь или улетишь
 Без страха в вечность...
 Так летает стриж,
 Невысоко, в предчувствии ненастья,
 Меняя направления и часто
 В себя вбивая землю,
 От удара — грохочет гром,
 И нити тишины становятся дождём.

Татьяна Канова

* * *

Устав, часы

сочли ненужным тикать —

В оглошшем доме тихо, как в гробу.

Неспешный вечер,

словно чья-то прихоть,

Неслышно пробирается в избу,

Лениво, сторонясь застывших окон,

Ложится в уголок у печи.

Какими одиночествами соткан

Его покров? Не вызнать!

Помолчим

Вдвоём, пока ни шороха, ни света.

Озябший вечер дышит мне в лицо.

Лишь я да он.

Мне б пожалеть об этом

Да, хлопнув дверью,

выйти на крыльцо,

Да закричать, завывать

с тоской на пару,

Всё выплакав, по-бабьи —

в три ручья,

Пойти на праздник в клуб

да выдать жару!

Как кстати будет то, что я — ничья.

Что мне с того,

что глупых пересудов

Деревне хватит зиму скоротать?!

Мне всё равно!

А всё-таки не буду

Ни утешать себя, ни потешать

Народ своей вечернею печалью.

Я сумерки свои перетерплю.

Как только ночь мой дом

накроет шалью,

Пушу часы и печку затоплю.

* * *

Ночной звонок,

нежданный в сонном доме,

Незванный гость —

на свет из темноты.

И всё сошлось в калейдоскопе,

кроме

Того, что гостем мне навстречу — ты.

И всё сошлось: казённая дорога,

Слепая ночь и непролазный путь,

И надо бы лопату на подмогу:

— Хозяйка, нет ли

хоть какой-нибудь? —

В усталом взгляде искра удивленья. —

Неужто ты?

— Как видишь, это я!

И в сердце снова прежнее смятенье,

И отозвалось из небытия

С таким трудом сожжённое бывшее,

С такою болью вырванное прочь.

Зачем опять меня свели с тобою

Дорога, грязь и эта ведьма-ночь?

Ольга Хмара

* * *

Я — поэт. И мой воздух — тоска,

Можно ль выжить, о ней не поведая?

Б. Чичибабин

Котейку замучили блохи.

...Уткнувшись в плечо январю,

Сижу на обломках эпохи.

Молчу. А курить — не курю,

Поскольку неважно дружила

И с водкою, и с табаком.

С того ли с немыслимой силой

Тоска бьёт в лицо кулаком?..

Глазею безмолвно, без толку

На полки прочитанных книг.

Скажите же что-нибудь, полки!

Ответь, грандиозный старик:

Что проку от читанных книжек?

Что смысла в тугих парусах,

Когда не надеется выжить

Уже и сам Бог в небесах?!

Сей выводок — до середины...

Сей поезд крылатый — к нулю...

И с прошлым порвав, пуповина

Мастырит степенно петлю.

Метели надрывные вздохи

Доделали дело таки:

Котейку покинули блохи,

Не вынеся русской тоски.

Одесская Хатынь

Ты, память, невзначай нас, грешных,
не покинь!

...Забудьте, небеса,
меня, коль я забуду,

Как корчилась в огне
Одесская Хатынь.

Как славил толпа кровавого Иуду.

Вкус прожитого дня и горек, и остёр.
Безбожно давит скорбь

опущенные плечи.
Прими, Господь, людей,

взошедших на костёр
За право вольной быть

веки русской речи.

От крови опьянев, безумная толпа

Осанну Сатане выводит голосисто.

...О, как взываю я,
чтоб в руки мне попал

Один из тех зверей,
бандеровцев, фашистов...

Я — не из палачей. Беснуясь и грозя,
Не стану головы

сносить его повинной.
Я просто попрошу,

чтоб глянул он в глаза
Всем, у кого отнял:

отца, невесту, сына...

И даже преломить
ему позволю хлеб.

И прикажу смотреть
в глаза беды кромешной

Ежесекундно, так,
чтобы, прозрев — ослеп

От ярости людской,
неплачущей, нездешней.

И в завязи плода горчи, горчи, полынь.
Осеннею порой кричи об этом мае.

Слезам не потушить
Одесскую Хатынь, —

Костры всюю горят,
который твой — кто знает...

Анатолий Пашнев (1952–2013)

Ночь

Надежде Мирошниченко

Зачем в этом стылом молчанье
Повергнутых в бездну миров

Слепое твоё колыханье
И тени пророческих снов?

Зачем тебе мой, человеческий
Предел, когда властвует мгла,

Когда ты по самые плечи
Меня этой мглой замела?

И дышишь в лицо мне, и снова
Пускаешь под сердце змею?

Немая, ты требуешь слова
В немую корону свою.

Как ворон, кружишь надо мною,
Сжимая в когтях бытие.

О, ночь! Ты заплаатишь звездою
За каждое слово моё.

Попутчица

Трудное, трудное — все забывается.
Светлые звезды горят!

Н.Рубцов

Спутники вечные, маги дорожные,
В тёмном вагонном окне.

Южные звёзды на жемчуг похожие,
Что вы пророчите мне?

Чувствую: время летит и торопится,
И, как под топот копыт,

Юной попутнице спать не захочется.
Всё говорит, говорит.

Голос её, как ручей с переливами,
Как эти звёзды во мгле,

Мне обещает, что будут счастливыми
Люди на доброй земле.

И оттого ли, что вдруг заметелится
Светлая грусть на душе,

Может, и мне в это снова поверится,
Может быть, верю уже.

Может, и мне в эти ночи недлинные
К счастью звездой улететь,
Если в глаза её тёмные, синие
Долго, как в небо, смотреть.

Елена Поваркова (1977–2012)

Одинокий портвейн у оврага

Я сию у реки. Лето мается.
Молча песню из горлышка пью.
Не страдаете мне. Не икается...
Так же тускло, наверно, в раю.
Померла, что ль?..
Ни грустно, ни радостно.
Незабудку сжимаю в горсти...
Без тебя не до дома — до августа
Как мне, пьяной такой, доползти?

* * *

Какое счастье может быть?
Лишь понарошку и авансом.
Когда лишь боль могу любить,
Когда порок считаю шансом.

И приговоры выношу,
И устанавливаю сроки...
Когда в Твоей ночи пишу,
Бесцеремонно правлю строки

Не мной написанных стихов,
И на Твои светила вою,
И самый тяжкий из грехов
Несу, как нимб над головою.

Александр Поташев (1972–2013)

Берег

Ещё в небесной гавани Печоры
в вечернем ветре плещется заря,
и парусами сонно никнут шторы
у тихого причала ноября.

Сойду со сходней ночи
в гулком поле
и припаду к шемящей тишине,
где от костра необратимой боли
ты пламя рук протягивала мне...

Уже зима в забывчивости слеpla.
Так почему ж, ослепшему вчера,
мне даже снегопад казался пеплом,
хрустальным пеплом твоего костра?

Где без конца — единое начало —
цепная ночь не сходит со двора.
Я оторвусь со своего причала
за звёздным дымом твоего костра.

И отойдёт с печальным опозданием
от горизонта дымка птичьих стай...
Я вновь шепчу кому-то:

«До свиданья!»,
когда так надо прокричать:

«Прощай!».

Причал

Какой туман! Я снова на причале.
Паром безлюден. Мне уже пора.
А мысли, словно бабочки, сгорали,
всю ночь слетаясь к пламени костра.

Мне нравится, что тратится на брызги
его восторг у призрачной черты,
что жаждет жертвы,

что в предсмертном визге
взмывает выше собственной мечты.

Сгорю и я на этом перегоне,
Спорхну с улыбкой
с вешних губ земли.

Гори, костёр, пока пасутся кони,
их звёздный зов оплачут журавли.

Гори, костёр! А по ступеням терний
небесных лестниц
с шелестом дождей
восходит осень гулкою вечерней
в алтарь зари с камильницей твоей.

Гори, костёр, пока грустит о чём-то
с причала ночь, и чудится с кормы —
топор заката в плаху горизонта
уже вошёл по рукоять зимы.

Инга Карабинская
Рукописи горят

Нынче такая зима,
 как в последний раз —
 Стоит ли тратить силы
 в такой глуши?
 Сшей мне из тёплой шерсти
 десяток фраз,
 Если не можешь —
 бог с ним, хоть напиши.
 Я здесь — легко, без надрыва,
 да и к чему
 Гром откровений
 в краю индевелых мхов.
 Знаешь, пока я слушаю тишину —
 Может, навяжешь мне
 потеплей стихов...

Этот глухой, безжизненный звукоряд
 Лечит от всех недугов
 и прошлых слёз.
 ...Как хорошо, что рукописи горят.
 Если б не это, я бы совсем замёрз.

Голубятня

Если что от меня и останется —
 не ищи.
 Вечность не стоит минуты сна.
 Бесконечность — шага.
 Помнишь белую голубятню?
 Вот от неё ключи.
 Будет легко — танцуй.
 Больно — плачь.
 Тяжело — кричи.
 Лихом не поминай.
 И вообще поминать не надо.
 Если что обо мне и спросят —
 скажи, как есть:
 Мол, отошёл на минутку к колодцу.
 Сказал «не ждите».
 Там он — махнёшь рукою
 за дальний лес —

Вон до той радуги,
 после — влево, потом окрест
 и до самой весны,
 не сворачивая, идите.

Если кого и возьму с собой —
 то тебя.
 В каждой строке, в каждой ноте
 ответных с тобою песен.
 Кстати, от голубятни слева
 не вырывай гвоздя,
 Просто — да мало ли —
 Всяко бывает,
 Я, приходя,
 Там оставляю ключи.
 Не вернусь — ну, другой повесит...

Мария Игонина

* * *

Одну Бог создал из титана,
 Другую вылепил из глины.
 Поставил рядом, безымянных,
 И подтолкнул к дороге длинной.

Одна за каждый шаг боролась,
 Когда вслепую путь искала.
 Другая просто шла на голос,
 На песню звонкого металла.

Одна просила половину —
 Ей в одиночку не согреться.
 И создал добрый Бог мужчину
 Для металлического сердца.

Другая молча наблюдала,
 Ждала, пока они остынут,
 Пока ему не станет мало
 Одной, чьё сердце не из глины.

И он ушёл —
 к простой и тёплой,
 А я подумала: «Как странно.
 Бог включит дождь —
 она размокнет,
 А мне — плевать, я из титана».

Анна Чалышева

* * *

Мне остаются одни наречья —
Только они выражают чувства.
Ты мне сказал,
что ничто не вечно —
Стало тотчас же предельно пусто.

Я не люблю — я плююсь стихами.
Я не зову — я кричу и вою.
Боль моя странная не стихает,
Я не жива — но живу тобою.

Мне остаётся —
смотреть и видеть,
Как умирают остатки света.
Я не могу тебя ненавидеть...
Я ненавижу тебя за это!

* * *

Я играю с судьбой
в пятнашки,
Затираю любовь до дыр.
Белый ворот твоей рубашки
Заменяет мне целый мир.
Пусть люблю я не тех и редко,
Но любовь моя — глубока.
И останется на салфетке
След от губ моих на века.
Я не верю, что мир потерян
Или Богом твоим забыт...
Слышишь,
кто-то стучится в двери?...
Это — сердце моё стучит.

Дарья Снегирёва

* * *

В моё сердце по самую рукоятку
Нож вогнали
(спасибо ещё, карманный).
А со мной — удивительно —
всё в порядке:
Боли нет.
Только в мыслях слегка туманно.
Только хочется
больше всего на свете
Новый повод для встречи
придумать всё же.
Например, позвонить и сказать:
«Приветик.
Дорогой, я найду —
занесу твой ножик».

Владимир Устюгов

* * *

Солнце, касаясь светом
Юных ветвей запястий,
Нежно их тянет к небу.
Также и я во власти
Тихих Твоих призывов —
Пигалица на ладошке,
То подмигну шутливо,
То подбираю крошки.
А предавать бумаге
Смысла, пожалуй, нету,
Что мне нашепчет ангел
В это Господне Лето...

Мария Размыслова

Три книги

Женщина, хранящая молчанье,
Направляет в бег веретено.
Бесконечно, словно ожиданье,
Гладко, точно море, полотно.

Женщина выискивает травы,
Чтоб постигнуть тайну Семерых.
Полнолуния святое право —
Полный кубок зелья на двоих.

Женщина пролистывает память,
Ворошит золу своей тоски.
Между обгоревшими листьями
Шелестят сухие лепестки.

...Это я! —

в шальном чужом веселье
Взглядом разведу

враждебный круг
И, в разгаре пиршества и хмеля,
Протяну тебе тяжёлый лук.

Это я! —

услышав в звёздном хоре
Маятник движения планет,
Выйду в бурю к северному морю,
Где вот-вот покажется корвет.

Это я! — забыв неудержимо
Платье, дом, заветную тетрадь,
Оседлаю швабру, — и, незрима,
Вылечу в окно — тебя искать!

Так ответь мне —

есть хоть капля толку
В этакой наивной ворожбе?
...Слишком много книг

стоит на полке,
Слишком много мыслей о тебе.

Алексей Засыпкин

Раз в сто лет

Раз в сто лет

большая стирка в домах богов,
И тогда река выходит из берегов,
Очищая душный город от дураков
И от слишком умных.

Всё, что дорого, не объяснив ничего,
Со стола земли смахнёт простым H_2O ,
Не считаясь с защитой систем ПВО
И систем иммунных.

Кто остался цел,

идёт в ближайший лесок
И по новой выдумывает колесо,
Паровой двигатель, радио, пылесос
И, конечно, бомбу.

Но проходят боги

раз в сто лет медосмотр.
Эскулап зевнёт, опорожнив небосвод.
Понесёт в тесные души потоки вод,
Прочищая тромбы.

Раз в сто лет.

А чаще стоит ли прочищать?
Околев,

по-птичьи снова всем верещать.
Быстрый сумрак, страх открытий,
камень, праща

И тропа лесная.

Раз в сто лет.

В какой бы тоге ни восседал,
Повезёт —
в лесок придёшь нагишом сюда.
В моём городе так повелось навсегда,
А у вас — не знаю.

Юрий Кувалдин
(Россия, Москва)

Юрий Александрович Кувалдин (род. 19 ноября 1946 года, Москва) — русский писатель, публицист, издатель.

Окончил филологический факультет МГПИ им. В.И. Ленина. В начале 60-х годов, вместе с Александром Чутко занимался в театральной студии при Московском Экспериментальном Театре, основанном Владимиром Высоцким и Геннадием Яловичем и существовавшем до «хрущёвской оттепели». Основатель и главный редактор ежемесячного журнала современной русской литературы «Наша улица» (1999). Первый в СССР (1988) частный издатель. Основатель и директор издательства «Книжный сад». Им издано более 100 книг общим тиражом более 15 млн экз. Член Союза писателей Москвы и Союза журналистов Москвы.

Радостная весть (О прозе Андрея Илькива)

Андрей Илькив — новое имя в литературе. Но я к неизвестным авторам, которых через мои руки прошло несколько десятков, и некоторые стали известными, как, скажем, поэт Александр Тимофеевский или прозаик Мария Головановская, отношусь с добротой. Везде и всюду я повторяю, что критика должна стать этикой. Слово — любовью. Художнику нужна похвала, и только похвала. Обращая внимание на лучшие стороны начинающего автора, я приподнимаю его над действительностью, помогаю вырастить ему крылья, чтобы летал самостоятельно и никого не стеснялся.

Вопрос в раскрученности, как ныне говорят. Но все когда-то начинали, и все в начале пути были безвестными. Полжизни нужно поработать на имя, а потом имя будет работать на тебя. Андрей Илькив предстал предо мной во весь рост сложившимся автором, до поры до времени скрывавшимся от мира, или, как говорил великий парадоксалист Григорий Сковорода: «Мир ловил меня, но не поймал». Прежде всего, в Илькиве подкупают высокий интеллектуальный уровень и огромная художественная эрудиция, при том, что он владеет пером. Много ходит по земле умных людей, критикующих Достоевского или Сэлинджера, но которые не способны сами написать простенького рассказа.

Повторяю как радостную весть: Андрей Илькив умеет писать, причём хорошо умеет. Это к тому, что я со скепсисом отношусь к многочисленным высказываниям, что сейчас нет талантов. Я стою на том, что таланты всегда были, есть и будут. Повторюсь: вопрос лишь в известности. Хорошо будешь писать — будешь известным. Ничто хорошее в вечности не пропадает. А слава к хорошим писателям приходит после смерти. Это надо помнить всем, начинающим свой путь в литературе.

Итак, пред нами новый писатель Андрей Илькив.

Невероятная связка, или как принято в лингвистическом структурализме — оппозиция: прокурор — писатель, — вызывает самые горестные чувства. Если хорошенько задуматься, то писатель всегда у нас подсудимый. А прокурор — непрекаемый охранитель казуистических законов, призванных оберегать имперское самовластие, — сколько попросит для писателя, или что попросит. Страшновато. Достоевский у столба в колпаке на казни, Мандельштам в лагерной яме, Солженицын в робе с Иваном Денисовичем, процессы Даниэля и Синявского, ссыльный Бродский...

И вот бывший прокурор Андрей Илькив берется за перо. Империя сказала «до свиданья»! Почти сказала, или «до скорого»? Редкий случай в истории литературы. Тем более редкий, поскольку Андрей Илькив всею сутью своего творчества стоит на позициях европейского культурного развития, на незыблемых ценностях свободы творчества, на независимости художника от власти.

Цепь мгновенных ассоциаций при чтении романа Андрея Илькива «Президент и сон бродячей собаки» в первую очередь вызывает в памяти фантазмагорическую «Осень патриарха» Маркеса и трагикомичную главу «Пир Валтасара» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема», а следом тянутся имена Кафки, Булгакова, Гофмана, Данте, Андрея Платонова... — всех тех художников, которые отказались от линейного (сюжетного) мышления, развернули время вспять и перевернули с ног на голову пространство.

Здесь как бы заключается мысль Казимира Малевича, положившего конец фотографическому копированию действительности в жирной чёрной точке, поставленной на реализме, на примитивном линейном мышлении — «Чёрный квадрат», предвестник экрана компьютера, который может засветиться чем угодно в эпоху виртуальной мысли. И Мандельштам оправдывает зренье:

Сжимая уголёк, в котором всё сошлось,
 Рукою жадною одно лишь сходство клича,
 Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
 Я уголь искрошу, ища его обличья...

Андрей Илькив позволяет перенести себя во вне себя, переадресовать свои мысли внешнему миру, иначе говоря, объективировать свою душу, в чём есть, несомненно, смысл и цель высокой, если хотите — элитарной, художественной литературы. Тоталитарное, диктаторское правление Президента (он же царь и бог) достигает всемирно-исторического масштаба, которому подвластны время и пространство: только что изменник был на экране телевизора, и вот он лежит связанной мумией под ногами Президента у трона.

У Андрея Илькива здесь и сейчас живут все вместе, в одно время вечности, которая может кончаться, по мнению некоторых персонажей романа, но никогда не кончится, ибо вечность выражена вечным двигателем — Словом. Реальный Босх реальнее времени, если над ним «звёзды маленькими цыплятами разбежались по всему небу», когда «глухонемой заговорил о государственном перевороте».

Очеловеченная собачка по имени «Рейна» сильно мне запала в душу. Это и понятно, я сам всё хорошее переношу на животных, очеловечиваю их. Дети и животные — лучшие существа в мире. Иначе говоря, будьте как дети.

Совершенно очевидно, что Андрей Илькив поэт в прозе, и его, к примеру, такая сентенция: «Спасибо сну, единственному состоянию бессмертной жизни, которое равняет между собой не только людей, богатых и нищих, глупцов и мудрецов, но и сглаживает любые различия между животным и человеком», — очень близка мне, поскольку я в своих романах, повестях и рассказах довожу до сведения читателей, что у Бога нет ни времени, ни пространства. Что же тогда есть? Андрей Илькив наглядно показывает, что есть только буквы (знаки), из которых создано всё живое и неживое в этом и в том мире, и он сам создан из букв: «Андрей Илькив», — и его роман тоже буква за буквой заносит нас неведомо куда. Конечно, человек, запечатанный в самом себе, как центр мира, вряд ли согласится на роль экземпляра бесконечного божественного тиража. Он полагает, что он такой единственный и неповторимый, которых больше нет, не было и не будет.

Андрей Илькив в своём романе почти вплотную подходит к поэзии, но на её поле не вступает. Это та поэзия, которая не есть стихосложение. Стихосложение 99, 9 процентов современных стихослагателей вообще не имеет отношения к поэзии. Поэзия прозы Андрея Илькива заключается в тончайших его собственных художественных измерениях, когда высокий вкус не позволяет ему допускать на страницы пошлость, известные ходы, избитые приёмы, знакомую географию, линейное мышление. Его мышление рецептуально, знаково. Поэзия прозы Андрея Илькива заключается в постоянной новизне всех компонентов.

Андрей Илькив снисходительно, когда «ветер уснул счастливый, зарывшись в облака», говорит по этому поводу: «Гениальность всегда не соответствует уму абсолютного большинства людей».

Андрей Илькив
(Украина, г. Новый Роздол)

Илькив Андрей Ярославович. 1966 года рождения. Родился и проживаю в г. Новый Роздол Львовской области, Украина. Был следователем прокуратуры, работал адвокатом. Пишу четвертый год. В этом году в московском издательстве «Элеан» вышел мой роман «Президент и сон бродячей собаки». Подборка стихотворений и некоторые рассказы публиковались в литературных журналах «Белый ворон», «Земляки», «Дерибасовская-Ришельевская»

Президент и сон бродячей собаки (отрывок из романа)

Тебе, дорогой читатель, судить, насколько реальны события и герои, описанные в романе. В конечном счете, как писал Хорхе Луис Борхес, неизвестно к какому из двух жанров — к реальности или фантазии — принадлежит окружающий мир. И очень даже может быть, что магия и реальность — это одно слово, написанное разными буквами.

* * *

Детский ошейник вместе с любовью ребенка намертво врос в шею старой собаке. Уже давно не было больно. Боль стала телом, а тело — неосязаемой болью. Душа приспособилась к телу, но никак не могла забыть одного маленького мальчика, родители которого пятнадцать лет назад оставили на дороге щенка, а сами поспешили домой. На краю пригородной мусорной свалки, укрывшись от снега под гнилым деревянным ящиком, крепко спала в замерзшей грязи собака. Собаку звали Рейна¹. Собака улыбалась во сне и ласково скулила.

Рейна видела королевский сон.

27 января

Яркая, багровая полоса моментально разрезала шею Президента. Обухом по темени нервно ударила дверь. Застигнутое врасплох старое сердце с ужасом впилося в ребра, конвульсивно перевернулось тело, а кисть в руке седого художника не дошла до маршалских погон на портрете и невольно положила краску ниже подбородка главы государства. Сморщился холст. Зашатался мольберт, но выдержал, устоял на трех деревянных ногах.



¹ Рейна — королева (от исп. reina).

© Фото Марины Милинкович

— Разрешите войти, Господин Президент?! — в огромный, как ангар авиалайнера, кабинет, запыхавшись, вбежал глава президентской администрации. — Включайте немедленно телевизор! Там показывают...

Бу-у-у-м-м-м!!!

Громкий удар захлопнувшейся двери проглотил последние слова вошедшего чиновника и, в который раз, напомнил Президенту знакомый с детства звук удара судейского молотка по столу. «Ни одна каналья не догадается, а я всё забываю за делами проследить, чтобы обили дверь войлоком! Десять лет гроыхает дверь, и каждый день по сто раз напоминает мне о суде», — подумал глава государства, восседая в большом «старинном» кресле за чёрным столом напротив мольберта. Время стерло картину правосудия (кого и за что судили?), оставив лишь эхо в голове Президента на долгие годы. Едва початая бутылка коньяка «Хеннесси» занимала центральное и единственное место в сиротливом натюрморте рабочего стола.

Художник положил кисть на край палитры, чтобы та успокоилась, а сам, протирая глаза чистым от краски мизинцем, выразительно подумал: «Ещё одно произвольное движение, и голова у Президента совсем отвалится. Президент без головы и бутылка «Хеннесси». А что? Неплохой сюрреалистический сюжет для будущей картины. Надо бы подумать на досуге, поработать цвета. Мاستихин пошел бы сюда... Или все ж таки кисть?».

— Ты уже вошёл и напугал мне живописца! — невозмутимо сказал Президент, убрав внимание художника от своей головы. — Он и так еле-еле говорит, что не поймёшь, как он хочет, чтоб я сел, или какое лицо сделал. А начнет заикается, что тогда?

— Ух ты, как живой! Точка в точку. Вылитый вы, господин Президент, — глава администрации бесцеремонно пощупал глазами разноцветное полотно. — Красиво рисует старик. Но что это за порез на вашей шее? Свежий шрам.

— Ты зачем пришёл, живой? Или — неживой?

— Живой. Да, пришёл. Дело срочное. По телевизору показывают...

— Кто тебе сказал, что дело срочное? Молочка попить с утра — это дело действительно не терпит отлагательств. Причем здесь телевизор, и что он по сравнению с утренним молоком? — прикипев к снежной белизне за окном и не меняя положения головы, сказал Президент и медленно провёл рукой по своей гладко выбритой шее. — Молочник приехал?

«Не помешало бы и мне взяться за лопату и почистить свои мозги и особенно головы-конюшни этой чёртовой камарилье. Ненасытные желудки ни в чём. И времени остается очень мало. Мало. Ох, как мало времени! Не прикупишь ни одного часа. Не украдёшь. И где оно, время?.. Вот оно — в каждой капле пространства, но его, как воздух, не схватишь руками. Всё моё, как это утро. Но про утро каждый так скажет, и дня никто не остановит, и ночь придет на землю спать под луной. Разве что — закрыть глаза,

как в детстве, но тогда ситуация в стране уж точно выйдет из-под контроля и закроет мои глаза навечно. ...Весёлый садовник. А ещё только десять лет назад впереди у меня была вечность. Быстро кончилась вечность, а время идёт и... поёт. О чём так долго поёт садовник?» — тяжёлая мысль гербовой печатью упала на голову Президента, и он повторил вопрос:

— Ты, наверное, оглох? Молочник приехал?

— Молочник уехал. Молоко под дверью, Господин Президент! Ждёт, — отпрянул от окна чиновник. — А телевизор показывает...

— Подождёт твой телевизор.

— Но господин Президент, трансляция может закончиться! Прямой эфир... Такое дело... Он ждать не будет.

— Я не расстроюсь. Раз такое дело, пусть несут молоко. У меня свой прямой эфир, намного прямее, чем отражение кривых зеркал в твоём телевизоре. И придерживай за собой...

Бу-у-у-м-м-м!!!

Хлопок двери раздробил на мелкие буковки и рассыпал по паркету последнее государственное слово. Чиновник скрылся за дверью.

Художник с горечью подумал: «В этом дворце никто никому не даёт до конца договорить. Тяжело здесь живётся слову, по живому его режут так, что мыслям страшно. Ну, что же... Мاستихином или...».

Дверь-эзекутор исправно ударила кувалдой по головам всех присутствующих в кабинете, и даже Людовика XVI, в стиле которого, как уверяли поставщики мебели, был выполнен интерьер президентской резиденции.

Президент, правда, сильно сомневался в этом, но изготовители мебели так долго и неистово убеждали его в благородстве их товара, что глава государства вслед за всеми стал повторять, что его столы, шкафы, стулья соответствуют стилю французского монарха. Сам Людовик XVI, обезглавленный толпой¹, давно махнул на всё рукой, — пусть говорят, что хотят, мучители.

— Ваше молоко, Господин Президент! Подано! — заискивающе улыбаясь, отпартовал вернувшийся глава администрации, будто это его только что самого выдоили за дверью, и собственно его молоко будет сейчас пить глава государства. Долговязый лакей в ливрее, похожей на костюм тореро, отделился от спины счастливого чиновника, поставил на президентский стол рядом с бутылкой «Хеннесси» большой глиняный кувшин молока и незаметно испарился.

— Не смотри ты так приторно! Молоко прокиснет, — отвращение перекосило лицо Президента, когда тот, наконец, оторвал его от окна и встретил глаза главы администрации. — Спрячь глаза, не пугай молоко.

— Не смотрю, не смотрю. Пейте, на здоровье, Господин Президент.

¹Людовик XVI (1754–1793) — король Франции из династии Бурбонов. При нём в 1789 г. началась Великая Французская революция. В 1792 г. низложен, предан суду Конвента и казнён на гильотине.

— Как пить? Из кувшина? Подай стаканы. Вон в том шкафу... Не там. ...Дверца слева... Эта. Эта... И вы пейте.

В резном шкафу колокольчиками зазвенели напуганные светом и чужими руками стаканы.

— Налей молочка живописцу. Себе тоже возьми. Утомился старик пальчиками порхать. Как там тебя зовут, всё забываю? А, вспомнил: Николас. Угощайся молочком, не брезгуй.

Глава администрации разлил молоко по стаканам. Несколько белых капель прыгнули с высоты кувшина и распластались на темном президентском столе.

— Спасибо, — старый художник не отказался от угощения и взял в свои костлявые руки целебный напиток. Он тоже любил козье молоко.

— Пейте на здоровье, — медленно облизав шершавым языком побелевшие губы, сказал Президент. Потом, прищутив глазами улыбку, сладко продолжил: — Бабушка приучила, царство ей небесное. Всю жизнь родная держала коз, да и там, наверху, скорее всего, тоже держит и потчует молочком небожителей.

— Многие лета! Ой, извините! Царство небесное вашей бабушке, господин Президент! — воскликнул глава администрации так восторженно, словно радуясь кончине президентской бабушки.

— Тебе это царство не грозит. Многие лета — тоже. Ладно. Так, что ты там говорил про телевизор?

— Спасибо за молочко, господин Президент.

— Вот. А теперь — что показывает CNN? Включай.

— Измену, господин Президент!

— Включай измену. Посмотрим.

— Измену показывают уже полчаса в прямом эфире, не дай Бог, уже закончилась, — глава администрации кинулся к гигантскому плазменному телевизору, почти целиком закрывшему чернотой одну стену кабинета. — Нужно позвать переводчика. CNN показывает, английский телеканал.

— Сам знаю, что английский, но переводчика не надо.

— Как? Мы же ничего не поймём.

— Измена понятна на всех языках без толмачей и по телевизору её не показывают, малыш. Измену могут нарисовать маслом или, на худой конец, акварелью на картине через много лет. Правильно я говорю, Амедео Модильяни? Измена глубоко прячется, на дне самой грязной канализации, тихонько выползает и мгновенно входит ножом в масло спины, или разрывает скорлупу лба пулей снайпера.

Бу-у-у-м-м-м!!!

Старый художник в очередной раз вздрогнул и опять промолчал. С нескрываемым отвращением к разговору, свидетелем которого невольно стал, он отодвинул немного в сторону мольберт, заслонявший от Президента телевизор.

— Да ты в двух кнопках не разберешься, командир. Как ты моей администрацией командуешь-то?

— У меня другие кнопки. Вы же знаете, господин Президент. Я стараюсь и верно служу вам, не то, что некоторые. Пресс-конференцию нашего Премьер-министра показывают. Из Нью-Йорка, Господин Президент, из здания Организации Объединенных Наций, — глава администрации наконец включил телевизор и нашёл нужный канал.

— Служи, служи! Молодец!

На стене мгновенно выросли в цвете знакомые лица. На фоне бело-голубой символики международной организации: взятый в пулемётный прицел континентов, обрамленный оливковыми ветками и пшеничными колосьями, молодой красавец Премьер-министр, опутив низко голову над безжалостно скомканной бумажкой, без запятых и абзацев, читал и мучил непонятный текст. Не менее скомканные английские слова постепенно заполнили всё пространство президентского кабинета.

— Вот, видите, господин Президент! Это, это... — глава администрации немного запнулся, подбирая нужное определение.

— Это покалеченные английские слова, — Президент залился громким смехом.

— И предательство, господин Президент! Подлое и неблагодарное предательство! В прямом эфире! Онлайн — во! — обрадованный чиновник нашёл наконец равносильную замену забракованному Президентом слову «измена». — Во!

— Во-во. Тут ты прав. Сделай потише, и так понятно, что он там складывает по слогам. И неважно, какие букочки лепит, без них ясно, что он сделал. Неблагодарный. Тут ты прав. Предательств-во. Во-во. Пригрели змею. А какие песни пел, оперные арии! Плейбой чёртов! Ножом и вилкой научил его пользоваться, а он... Сколько денег украл и увёз из страны в заграничные банки, уродец. Думает, я ничего не знаю о его альпийской пещере Али-Бабы, — глава государства отложил в сторону смех.

— Он предал родину! — врезался в рассуждения Президента глава его администрации. Он хотел было продолжить патриотический спич, но увидел сдвинутые брови шефа и моментально умолк, добавив лишь три слова: «И вас предал».

— Я был прав, не подвело меня предчувствие. Еще тогда, пять лет назад, когда вся нечисть — банкиры, олигархи — упрашивали меня назначить премьером этого выскочку, удачно женившегося на дочке председателя центрального банка, мне уже виделось, что он — гад. Но деньги дали деньги, и я должен был их послушать, поверить на слово, что это умная змея. Без яда.

Утомлённый реальными кабинетными видениями художник присел на подоконник.

«Их деньги принесли мне победу на прошедших выборах, а я не истратил при этом ни одного собственного цента. Приумножил? Да. Но вместе с день-

гами я вбил себе в голову гвоздь — паршивого премьера», — эти мысли предназначались исключительно для личного пользования Президента и были далеко спрятаны от чужих глаз вместе с деньгами.

— Он украл наши деньги, Иуда! — не смог удержаться чиновник.

— Ты тоже не подходи так близко и не лезь с поцелуями... Онлайн.

— Да что я? Вон позади премьера хватает воздух ещё один — настоящий Иуда — министр юстиции. Шакал! — рассерженный глава администрации подскочил к телеэкрану и чуть пальцем не проткнул министру юстиции живот.

Премьер-министр — герой телеэкрана — дрожащими руками перевернул бумажку.

— Что там за шум в коридоре?! — спросил Президент, наострив уши на еле слышное шуршание осенних листьев за дверью.

— Это наши люди. Как только началась прямая телевизионная трансляция из Нью-Йорка и пошли титры, я обзвонил всех членов Совета национальной безопасности и пригласил на экстренное совещание.

— Какой ты шустрый!

— Дело-то очень серьёзное. Катастрофа! Они заморозили все наши вклады в зарубежных банках, описали всю недвижимость за пределами страны, виллы, яхты, картины старых мастеров, а также...

— Виллы, яхты, картины старых мастеров, — криво улыбнулся Президент и, опуская длинный перечень нажитых непосильным трудом и увезённых за кордон богатств, завершил опись имущества своих подчинённых. — В общем, они забрали у вас всё, даже шлюх.

— Шлюх не трогали, насколько я осведомлён. Нет. О шлюхах CNN ничего не говорило. Вы сказали шлюх, господин Президент? Или...

— Ты не ослышался, но плохо осведомлён, — махнул рукой Президент и покосился на задремавшего художника. — Давай зови их, времени нет. Пусть входят эти нищие, которых скоро бросят все шлюхи. Или ты думаешь, шлюхи будут любить вас даром? Вас даром даже жёны не любят. Зови. Давай! Видишь, Пабло Пикассо уснул, а нам ещё с ним сегодня работать и работать. Некогда нам с художником смаковать «Гернику»¹, смонтированную CNN и предателями.

— Поздоровайтесь с премьер-министром, господа нищие! — громко смеясь, крикнул Президент впорхнувшей стайке из семи членов Совета национальной безопасности страны.

Бу-у-у-м-м-м!!!

Удар захлопнувшейся двери слился с многоликим и многоголосым приветствием.

— Здравствуйте, господин Президент!!! Многие лета, господин Президент!!!

¹ «Герника» — знаменитая картина испанского художника Пабло Пикассо, написанная в 1937 году, изображающая ужасы войны и бомбардировку города Герника в стране басков.

Художник, успевший забыться на подоконнике, прислонившись к стеклу, вздрогнул, очнулся и едва не свалился на паркет от разноголосого гусиного галдежа.

— Подайте кресло живописцу! Уважайте Тициана Вечеллио, невежды! Он видит мир в цвете, а вы — в талерах. И я вместе с вами.

Совет национальной безопасности во главе с главой администрации, толкая друг друга, кинулись к свободному креслу. Первым успел министр финансов. С лицом обрадованного ребёнка он, под завистливыми взглядами коллег, поднес кресло художнику и любезно усадил в него старика.

— Спасибо, — шёпотом поблагодарил оторопевший художник и облизал присохшие остатки молока в уголках рта.

— Вы извините нас, маэстро, небольшая заминка вышла с портретом. Мы сейчас продолжим, отдохните пока, уважаемый Казимир Малевич. Покемарьте, — нарочито вежливо обратился Президент к старику. — А мы тихонько полетаем над страной и миром.

Тем временем на телеэкране умолк Премьер-министр. Пряча глаза и бумажку по разным карманам, с той же низко опущенной головой он в сопровождении растерянного министра юстиции покидал пресс-холл Организации Объединенных Наций. В кабинете зазвучала правильная английская речь, наверное, очень красивой женщины-комментатора.

— Выключите телевизор! Мне не нужны его поддельные сказки и настоящие бредни. Они предназначены для вас.

Совет национальной безопасности во главе с главой администрации, толкая друг друга, кинулись к стене. Первым снова успел министр финансов. С лицом обрадованного ребёнка он торжественно нажал на красную кнопку, и чёрное пятно накрыло телеэкран и завистливые взгляды остальных чиновников.

Воцарившуюся в кабинете тишину, немного прокашлявшись, нарушил секретарь Совета национальной безопасности:

— Мы вот собрались, чтобы... Так сказать... Мы... Чтобы...

— Вы! Так сказать! Мы! Чтобы! Что Вы? Вы должны были собраться намного раньше, господа, не дожидаясь телевидения, CNN и других сказочников. Вы должны были не сказать, а приволоочь за волосы предателей, поставить на колени их передо мной. Нет, перед народом! И судить, — тихо выговорил Президент и продолжил намного громче. — А вы пришли ко мне в кабинет смотреть телевизор. Или вы считаете, что кабинет Президента — это кинотеатр? Вы ошибаетесь, господа нищие.

— Нет! Нет! Ну, что вы! Нет! Господин Президент, да мы.... Нет, нет! Мы... — загалдели все разом высшие чиновники страны, неизменно обрадованные громким голосом главы государства. Они боялись его шёпота. Когда Президент говорил тихо, его собеседник, как правило, после разговора затихал навсегда или, в лучшем случае, отправлялся на городскую свалку, клоаку, в небытие, которое стороной обходила даже

смерть. — Нет! Нет! Ну, что вы?! Нет! Господин Президент, да мы... Нет, нет! Мы...

«Уж лучше бы дальше громыкала дверь, чем слышать этих гусей, — не открывая усталых глаз, подумал вновь уснувший и вновь разбуженный художник. — Эти гуси способны лишь погубить Рим. Они его сначала проспали, а теперь — и погубят. Хотя, какой это Рим? О чём я говорю? Жалкая копия самого ничтожного римского борделя, а не государство».

— Тихо! Говорите кто-то один. Ты, секретарь Совета национальной безопасности, продолжай, раз начал, тебе положено, — негромко скомандовал Президент, и такой тишине в кабинете позавидовал бы каждый гроб.

Прокашляв пышным достоинством горло, чиновник гробовым голосом начал:

— Господин Президент! Сегодня, пребывая с визитом на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, премьер-министр и министр юстиции нашей страны совершили тяжкое государственное преступление. Они изменили родине.

— Ты сказал «сегодня»? Я не ослышался? Извини, что перебил.

— Сегодня, господин Президент.

— Сегодня, двадцать седьмого января? — глава государства откровенно издевался над подчинённым. — Ты не ошибся случайно?

— Я, господин Президент, мог и ошибиться, столько дел, сами понимаете, но телевизор — нет. По нему только что показали в прямом эфире премьер-министра и министра юстиции нашей страны. Вы... Мы все видели и слышали, господин...

— Да. Телевизор для вас — единственный показатель истины. Что ж. Но осмелюсь заметить, что вы, господа, только что проглотили старое, протухшее мясо, приготовленное вчера. А сегодня вам его швырнули под ноги. Кушайте без меня свои видения и вылизывайте пол своими языками.

— Но, господин Президент, это очень солидная организация. Только что, секунду назад, CNN в прямом эфире транслировало пресс-конференцию наших земляков-изменников. И не только CNN, все мировые каналы смаковали сегодняшнее событие на Генеральной Ассамблее ООН.

— Ладно, прекратим спор. Вам сложно понять то, что ваше сегодня — это чьё-то вчера. Но чьё-то сегодня — это моё вчера. Хотя, что я такое говорю? С первого раза вы и этого не поймёте. Тогда я с удовольствием продемонстрирую вам их сегодняшний день, — снисходительно ухмыльнулся глава государства, сделал небольшую паузу и торжественно продолжил. — Поднимите аккуратно мой стол, господа, и переставьте его немного в...

Последнее слово Президент так и не договорил, вся его рать уже тащила громадный стол в сторону.

— Ух! — разом громко выдохнули высокопоставленные носильщики стола, обрадованные тем, что им удалось не разбить бутылку «Хеннес-

си» и кувшин со стаканами. Художник упал обратно в кресло и только собрался закрыть глаза, как все пространство вокруг вздрогнуло от ледящего кровь крика чиновничьей братии: «Ах!»

— Ах! — разом повторили все стены резиденции.

Мгновенно образовавшаяся ударная волна свалила на пол главу администрации, едва не выбила стекла в окнах президентского кабинета и не разорвала на льдинки хрустальные люстры.

Испуганная тишина в панике заметалась по комнате, пока ее не остановил неприятный скрежет и гулкое падение одного стакана, все-таки расколовшегося пополам на столе Президента.

Самодовольная улыбка сомкнула глаза Президента. Только что кричавшие люди замерли в бездыханном параличе. Казалось, что остановилось время.

— Ну что? Продолжим. Не знаю, как там время, но выборы точно не ждут. Вы замолчали? Не рады встрече со своим коллегой? — не открывая глаз, спросил Президент и тем самым привел в чувства и не дал умереть остановившим дыхание членам Совета национальной безопасности. С пола поднялся бледнее смерти глава администрации.

Дрожь прошла током по кабинету.

Воистину апокалипсическое видение открылось пред испуганными глазами государственных чиновников: Президент восседал в огромном кресле, а подставкой для его ног служило тело только что показанного в прямом эфире по телевидению министра юстиции. С ног до головы забинтованного скотчем министра можно было легко принять за тысячулетнюю египетскую мумию, если бы не постоянно мигающие глаза и широко раздувающиеся ноздри. В теле мумии дышал мертвец, хватая глазами и носом чувства жизни.

— Этого не может быть, — прошептал секретарь Совета национальной безопасности, розовое лицо которого вмиг побелело. — Телевизор... Как же так?

* * *

Те, кого заинтересовало, как в дальнейшем развернутся эти столь фантастические, сколь и напоминающие нашу реальность события, могут обратиться непосредственно к самому роману А.Илькива «Президент и сон бродячей собаки», Москва, 2014, ООО «Элеан».

Татьяна Горичева
(Франция – Россия)

Татьяна Михайловна Горичева — православный философ, публицист, миссионер. Родилась в 1947 году в Ленинграде. В советские годы была соредактором самиздатовского журнала «37». В 1980 году была выслана из СССР. В течение восьми лет, до возвращения в Россию, жила в Германии и Франции. Училась в Католическом институте св. Георгия (Франкфурт-на-Майне, ФРГ), в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Регулярно выступает в России и в западных странах с лекциями о Православии. Основатель фонда защиты животных. Член редколлегии петербургского альманаха «Русский мир».

О священном безумии (отрывки из новой книги)

Христианская трагедия

Судьба человека в христианстве еще более трагична, чем судьба человека в античности. Лишь в христианстве человек поднят на неслыханную доселе высоту: Бог только в христианстве воплотился не в ангела, не во льва или орла, а в человека. Но инкарнация совершилась лишь потому, что в искуплении нуждалось самое падшее существо. Величайший разрыв в человеческой судьбе происходит оттого, что существует пропасть между высоким предназначением человека и его недостойным существованием в настоящем.



© Художник Елена Любович

Свобода — величайший подарок Бога человеку, она же — источник глубочайшей человеческой трагедии. Великий Инквизитор обвиняет Христа: «Ты дал людям то, что им тяжелее всего вынести, Ты дал им свободу». Бремя свободы невыносимо. Трагическая коллизия образуется от столкновения двух ценностей, одинаково высоких: сыновства послушания и свободы-ответственности. Только святые, с помощью благодати, могли своей жизнью (или смертью) показать, что противоречие это разрешимо, и что истинное послушание возможно только как свобода, а свобода как послушание. Но простота святых результат сложного, рискованнейшего пути. Тот, кто выбрал путь святости, стоит у самого края обрыва, святой поднимается над трагедией через Воскресение. Но трагедия в свернутом виде остается в нем. Бесы мучают и искушают его сильнее, чем прочих людей. Каждый христианин призван к святости, в наш век говорят о «гениальной святости». Только через трагедию возможна судьба или биография. Хотя в наше время мало кто чувствует Судьбу и мало кто сознает, что должен выбирать себя каждую секунду жизни сам. Только в этом плане христианство может позволить себе определенный героизм. Как сказал католический священник патер Кентених, христианство — это «героическое детство». Диссидентский, прометеевский героизм, лишенный победительной и обезоруживающей нотки доверия Высшему, обречен на безвкусицу и театральность. Трагедия — это противостояние двух одинаково великих ценностей: любви и долга, страха Божьего и достоинства (как они сталкиваются в пьесе Бернаноса «Диалог кармелиток»), потребности в абсолютной любви и преходящести мира (как она вскрыта Толстым в «Анне Карениной»). Трагедия заключается и в вечном вопросе Ивана Карамазова о страдании твари. Как соотнести всеблагость Бога со смертью не ребенка даже, а одной замученной клячи? Только указанием на Воскресение на этот вопрос не ответить.

Судьба и мораль

Судьба действует на другом уровне, нежели закон. Нарушивший закон, нарушает связи с внешним миром. Судьба же действует изнутри. Она неподкупна и непобедима, как сама жизнь. Судьба глубже морали, внешней и осуждающей. Судьба настигает, а не осуждает. Морализм мертв, он не признает тайны человеческого, тайны божественного. В то время как человек судьбы принимает свой удел безропотно, морализм все объясняет и мотивирует. Ищет причину там, где есть лишь клубок целого и необъяснимого. Судьба молчалива. Или же говорит косноязычным языком сумасшедшего (как Войтек у Бюхнера). Судьба аристократична, ибо не оправдывается и не перекладывает вину на чужие плечи. Духовный аристократизм, о котором писал Бердяев, глубоко трагичен. Лишь люди сильные и царственные могут иметь трагическую судьбу. И здесь вновь ответ на бердяевский вопрос об оправдании человеческой силы в христианстве. Конечно, христианин может хвалиться лишь «своими слабостями». Блаженны

плачущие и гонимые. Более всех блаженны кроткие. Но и в бесстрашии трагического есть свое смирение. Страх связан с гордыней. Наивысшее же мужество состоит не в самоуверенности или в злобе: оно в терпеливом стоянии перед противоречием действительности. За каждым добрым христианским делом нужно ощутить эту последнюю беспомощность, эту спокойную тишину терпения и смирения. Одинаково принимать добро и зло, не отчаиваясь, не соблазняясь мелкой злобой дня. Так это и написано в молитве Оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день». Или в Книге Бытия: «И увидел Бог, что всё, что Он сделал, хорошо весьма» (Быт. 1, 31). «Бог никогда не перестает творить благое и обогащать человека. Человек — это сосуд Божьей доброты, орудие Его прославления» (св. Ириней Лионский). Как здесь не вспомнить «врага христианства» Ницше, у которого много говорится о трагическом. Оно является одновременно понятием радостным и героическим, вмещающем добро и зло, объединяющем Смысл и Бессмыслицу. По Ницше, трагедия вызывает не слезы, а радость. У него трагические противоречия не переходят друг в друга, не снимаются. Дialeктика, или искусство сделать из раба господина, а из господина раба, согласно Ницше — дело плебеев. В действительности же высшие ценности друг в друга не переходят, и «кратчайший путь между двумя вершинами — прямая». Дialeктика банализирует трагедию. Все противоречия у Гегеля переходят друг в друга, меняют маски. Катарсис театрален, и исчезает окончательно. Все в этом мире трагично потому, что существует неутолимый «пафос дистанции», ибо дух не может вместиться в конечные формы жизни. Но у Гегеля он всё же вмещается и становится всё менее и менее содержательным. («Эта мысль ничего не мыслит» — Шеллинг о Гегеле). Очень точно о философии Гегеля сказал словенский психоаналитик Славой Жижек: «самая утонченная из всех истерик». Дialeктичен гегелевский, субъектно-объектный разум, признающий лишь самое себя: я мыслю, следовательно, существую. (По-христиански было бы: Я люблю, следовательно, Ты существуешь.) Здесь легко увидеть, что банализирующий рационализм тесно связан с морализмом и безбожием. Уже первые рационалисты, гностики, не хотели признавать «злого Бога», пытались расшифровать Его тайну, превратить Бога в объект. Точно так же поступают и фарисеи-моралисты всех сортов — это-то и есть настоящие безбожники (хоть они так охотно ссылаются на Бога). Безбожие — выталкивание Бога из Вселенной, принятие Его лишь в удобной, безоблачной форме, непризнание того, что Бог — это пропасть и безумие. Морализм — это также неприятие тайны другого человека, нелюбовь. Все моралистические теории — от Руссо до Маркса — сводят человека к тусклому свету картезианского, социологического или экономического разума. Нужно сказать, что под морализмом мы имеем в виду не закон, о горьких противоречиях которого пишет св. ап. Павел: «Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти... Что же скажем? Неужели от закона грех? Ни-

как. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7, 5–7). Закон должен быть не только преодолен, но и исполнен, он — детоводитель ко Христу. Морализм же имеет совсем другие истоки. Это не просто мешающие одежды ветхого человека. Буква и дух морализма другие, противоположные по существу и закону, и благодати.

В современной философии можно часто встретить идущие от Фрейда построения такой модели общества, в основе которой лежит инцест, убийство или какое-либо другое преступление. Общество впоследствии образуется вокруг изначально постыдного события, чтобы забыть его, вытеснить, создав на его могиле человеческую цивилизацию и культуру. Эта культура строго предписывает «не убий», «не прелюбодействуй» и так далее. Создается жесточайшая система запретов, в основе которой нераскаянный грех первого и главного убийства. Мы не беремся судить, так ли это было в действительности. Но модель Фрейда справедлива, по крайней мере, в одном: морализм регрессивен. Деструктивен его источник — смерть. Аморализм (маркиз де Сад или Батай) пытается путем трансгрессии переступить норму, расколдовать застывшее около изначального преступления общество. Но это не удается и аморалистам. Чистое отрицание приводит лишь к подтверждению отрицаемого. Морализм презирает Другого (непонятого Бога или павшего человека) только потому, что моралисту падать некуда. Вот уж поистине, самый страшный грех в том, что невозможно согрешить. «Не холоден, не горяч, но тепл», — такой приговор теплохладным убившим Бога христианам находим мы в книге Откровения. Трагический герой смиренно и бесстрашно принимает факт инцеста, убийства, преступления, как это было с Эдипом. Моралист старательно забывает об этом факте, конструируя для себя упрощенную, лишенную глубины реальность. Но подсознательно он мстит, он ничего не забыл. Потому-то, по замечанию Шестова, нравственные люди не только хотят, чтобы все человечество непременно признало их правоту, но и чтобы все люди безоговорочно осудили безнравственность, чтобы сама совесть преступника осудила его. Пропаганда христианства в постсоветское время с самого начала приняла неправильный, антихристианский оборот. По телевидению, в газетах проповедуется мысль о том, что главная ценность христианства — в его нравственности. Бывшие марксистские пуритане лишь меняют маску и по-прежнему не стесняются быть хорошими людьми, окруженными подлецами и обманщиками.

Красота трагического

Трагичен только сильный герой, только тот, кто может выдержать ужасную истину жизни, крест христианской свободы и одинокое стояние перед Богом. «Может ли осел быть трагичным?» — спрашивает Ницше. Мелкий слабый, двусмысленный герой трагичным быть не может. Он некрасив, тогда как трагедия — это красота человеческого, но не желающего стать только человеческим. Опасен разговор о достоинстве человека. Обычно он равно-

значен разговору о его самодовольстве. В трагическом герое достоинство присутствует в чистом, недвусмысленном виде, без опереточной отстраненности и преувеличенности. Сын Божий стал человеком, потому что только благодаря своей человеческой природе Он смог вобрать в Себя все творение и таким образом преобразить, обожить весь материальный мир. Ангелу это не дано. Он не материален. Лишь человеку дана власть над миром, его материальными стихиями, его творческими потенциями. Человек поставлен Богом быть господином над материальным миром. Ангел не может быть трагичным, потому что он только служит, он не выбирает между раем и адом, не обречен на свободу, как обречен на нее человек. Человек же — творец и царь, он может легко употребить данные ему от Бога силы против самого Бога. Тогда возникает трагедия богоборчества, крик Ницше к Богу: «Ты, самый жестокий из всех охотников» (Du, grausamster aller Jäger). Трагедия богоборчества ведет к последнему из одиночеств. Человек покинул мир, друзей, семью, потерял родину, но у него есть Бог, который ему из-за этих человеческих потерь стал еще ближе. Но вот наступает момент, когда и Бог представляется врагом, следящим со злой и иронической усмешкой откуда-то из-за угла. Бог представляется воплощением мести, несвободы. Таким было одиночество Ницше. Сила и красота ницшеанской мысли выразилась именно в этом испытании одиночеством. Беспомощный, осмеянный даже своим Богом, изгнанный из мира человеческих условностей и конформизмов, Ницше стал провозвестником нового Бога, того, что «за Богом», стал пророком освященного страданиями и апофатикой познания. Поражение оказалось победой, слабость — силою.

Наверно, чтобы подчеркнуть, что Он стал поистине человеком, Господь Иисус Христос должен был пережить все стадии человеческого поражения: бездомность, злобу, покинутость друзьями, Крест. Через эти трагические ситуации Он вознес человека до Бога. Красоту Христа признали именно как красоту трагическую Ницше и Достоевский. Ницше: «Выше всех взлетел, прекраснее всех обманулся». Достоевский писал о Христе как об «абсолютно прекрасной личности». Он попытался создать что-то приближающееся к образу Иисуса Христа в «Идиоте». Князь Мышкин трогает сердца своей беспомощностью и беззащитностью, своей вечностью. Человек постигается в своем величии и царственности только тогда, когда он преодолен. Абсолютный гуманизм был знаком порабощения и унижения человека. Литература, искусство, философия XX века уже давно открыли эту истину. Но как теперь показать, что человек жив, что христианство еще существует как наша судьба и свобода?

Каспар Хаузер

В рассказе «Богословы» Борхес изображает вымышленную секту симулякров. Их мир — одни отражения. У каждого человека есть двойник на небе. Если ты делаешь добро здесь, там он творит зло. Если ты исчерпаешь в жизни своей все злое, то там сразу же попадаешь на небо. Знакомая

логика, не правда ли? Так думали николаиты, маркиз де Сад, Батай, да и многие другие, особенно в наше время распространения сатанинских сект. Сам воздух заражен подменой. Кажется, что все заменяемо всем: красивое — уродливым, правое — левым, природа — культурой, демократия — диктатурой. Царит сплошное безразличие. Не важно, как философы объясняют это отсутствие всего — господством ли денег (деньги можно обменять на что угодно) или другими кодами. Ясно одно — еще труднее различать духов, еще меньше надежд оставляет нам жизнь. Для нас, христиан, все равно остается надежда. В любое время нужно любовно нести свой крест. Но большинство людей вполне смирились с рабством у отчаяния и безразличия.

Где корни этого рабства? Еще гностики смотрели на мир, как на тюрьму, на тело, как на гроб, на Бога-Творца, как на демона. Невозможность жизни. Невозможность нового. Невозможность доверия. Все стукаешься о потолок и о стены камеры. Иисус Христос, который был также и Человеком, так и не стал центральным архетипом европейской культуры. Никому не удалось создать образ Идеальнейшего из всех людей. И получались смешные Дон-Кихоты и Мышкины. Это и понятно: невозможно изобразить безграничное. Изобразительно, определительно лишь то, что слабее Бога. Одним из центральных архетипов европейской культуры становится Каспар Хаузер. Если Христос — страдающий праведник и страдающий Бог, то Каспар Хаузер — страдающий человек, сама незащитность. «Бог против всех» — фраза из названия фильма Вернера Херцога о Каспаре Хаузере. Он родился в 1812 году престолонаследником Баденского княжества. Каспар Хаузер стал жертвой борьбы за власть. Его чудом не убили при рождении. Вместо этого первые двенадцать лет жизни его прячут в полутемном помещении, оставляя связанным. За это время он не видел ни одного человека, пил только воду и ел только хлеб. Когда политическим интриганам показалось, что он уже вполне идиот и не опасен, Каспар Хаузер был выставлен (предварительно его чуть-чуть обучили передвигаться) на площади в Нюрнберге. Пять лет жил Каспар среди людей, поражая всех своей чистотой и доверием, но те же темные силы поспешили расправиться с ним, на этот раз им это удалось. Вся Европа воспрянула, вдохновилась явлением этого необыкновенного ребенка. Каспар Хаузер так и остался известным в истории как «ребенок Европы». Приведу цитату из протокола, составленного нюрнбергским бюргермайстером и шефом полиции Биндером. Вот какое впечатление он вынес из допроса Каспара Хаузера: «Его чистый, открытый, очевидно, безгрешный взгляд, широкий и высокий лоб; совершенная невинность его природы, не знающая, что такое различие полов, даже не подозревающая об этом, научившаяся лишь недавно различать людей лишь по их платьям; его неопишущая кротость, его притягивающая к себе сердечность и доброта, которая вначале выражала себя лишь потоком слез, но теперь, когда он чувствует себя свободнее, он с волнением и благодарностью вспоминает даже о своем мучителе; и если раньше он все время хотел назад, в свою тюрьму, то теперь эта зависимость от

прошлого постепенно исчезает, уступая место трогательной и искренней преданности по отношению к тем людям, что его окружают сегодня; но он доверяет и всем остальным, щадит даже насекомых, ненавидит все, что могло бы причинить даже самую маленькую боль человеку или животному; в нем есть безусловная последовательность и решительность в выборе всего доброго, свобода от всякой нечистоты и порочности, одновременно он имеет хорошее предчувствие на зло; и наконец, его совершенно феноменальная страсть к учению: вначале его словарь состоял из 50 слов, теперь он знает их множество, у него множество понятий и представлений; его особая любовь к ранее неизвестным музыке и рисованию, его одержимость и талантливость в изучении всех предметов, его необыкновенная любовь к порядку и чистоте — вообще все его детское существо и чистота сердца — обличают тех, кто совершил над ним насилие и противозаконно держал в заточении. Но все это говорит о том, что природа наградила Каспара Хаузера великолепными дарами духа, души и сердца». Перед своей смертью Каспар Хаузер говорил, что не видел плохих людей, что никто не причинил ему никакого зла, но «ужасное сильнее». Этим он как бы сказал о том, что его миссия не удалась. О миссии Каспара Хаузера говорили и говорят по сегодняшний день. (Интересна, например, книга Петера Традовского «Каспар Хаузер или борьба за дух»). Заняв Баденский престол, Каспар Хаузер смог бы воплотить в социальной практике те высокие идеалы и духовные победы, которыми может гордиться Южная Германия первой половины девятнадцатого века: Гельдерлин, Гердер, Шеллинг, Гете. Но это мирское. Важнее другое: Европа потеряла в девятнадцатом веке дух детства. И эта потеря ужасна. Европа потеряла свое лицо, ибо Европа и христианство некогда были одним и тем же. А христианство — и есть дух детства: «Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Девятнадцатый век — «ночь умозрительных понятий, матерьялистских малых дел, бессильных жалоб и проклятий, бескровных душ и слабых тел» (Блок). В девятнадцатом веке наука окончательно оторвалась от Смысла. В девятнадцатом веке производство, работа окончательно расчеловечились. В девятнадцатом веке христианство выродилось в морализм и историзм. Отчего наиболее близкие к истине люди в той же Германии предпочитали быть атеистами (Ницше). Девятнадцатый век — расчетливость тупого буржуа, психоз и чувство одиночества, придавленность виной, и вся эта гниль оттого, что в людях не было детскости. Царственный ребенок, подаренный Европе (Каспар Хаузер был французом по матери и немцем по отцу), должен был пройти путь мученика, его распинали взрослые, гнали руками взрослых и те, кому уже тысячи лет. Убили, не откликнулись на музыку детства. С тех пор мир еще более устал, Европа уж закатилась совсем. О Божественном Младенце вспоминают лишь в коммерческий и мещанский праздник, который еще по привычке именуют Рождеством. Но и здесь вместо любви — жестокая сентиментальность и кич. Вместо радостного доверия — скучная, самодовольная критика экзегетов, которые отрицают и существование звезды, и волхвов, и рождества от Девы. Уж они-то умеют лишать людей праздника!

Действительное чудесно

И у нас, в России, был некто, подобный Каспару Хаузеру, кто тридцать лет лежал расслабленный, и встал от возгласа калик перехожих. Это русский богатырь и святой Илья Муромец (+1 января). Каспар Хаузер не вынес битвы с миром, его насильственная смерть была приговором всей Европе, ее умирающему Духу. Илья Муромец не только встал на ноги, но и спас людей от Соловья Разбойника. Последний был сектант-богомил, что бежал из Новгорода и скрывался в муромских лесах. Его называли Соловьем за особое красноречие. После многочисленных побед «во чистом поле» Илья принял монашество. Его мощи можно видеть в Киево-Печерской Лавре. Каспар Хаузер — потерянная надежда. Илья Муромец — надежда реальная, и чем более она сказочна, тем более реальна. Недаром все, кто занимались Каспаром Хаузером, говорят об особой роли России. Запад ждет от России какого-то самого важного последнего слова. Поездив по свету, с удивлением и трепетом свидетельствую, что ни одна другая страна не рождает в христианском мире столько мифов, пророчеств, страхов и обожания, как моя бедная Родина. Немецкий гений особенно тянется к нам. Рильке, побывавший в России в 1900 году, писал: «Огромная страна на Востоке, единственная, через которую Бог еще связан с землей, переживает эпоху своего мученичества. Лихорадочно развиваются соседние страны, а Россия дышит полной грудью, и медленными, сдерживаемыми шагами идет она вперед. Западу уже несколько тысяч лет, в то время, как около него, в царстве Рюрика, все еще длится первый день, день Бога, день творения». В своих стихах «Цари» Рильке посвящает Илье Муромцу захватывающие строки:

Скакать, скакать... скакать тысячу лет.
 Кто будет считать время, если так захотелось Ему.
 (Может быть, и Он сидел молча тысячу лет.)
 Действительное подобно чудесному:
 Оно меряет все своей мерой;
 И тысячелетия здесь коротки.
 Те далеко поскачут, кто долго сидел
 в глубоких сумерках.

То, что «тысячелетия здесь коротки», я почувствовала, побывав в Муроме. Хоть это вполне современный город, в памяти остались лишь гигантские белые соборы, толстые стены монастырей, сила молитвы, благоухание святых мощей Петра и Февронии, св. Юлиании Лазаревской. Муром был богатым купеческим городом. И каждый купец старался обзавестись своим монастырём. В центре города сегодня два недавно возвращенных церкви монастыря: Благовещенский (мужской) и Троицкий (женский). Проводя время в хождении по монастырям, в длинных беседах и чаепитиях, в радостных службах, долгих благоговейных предстояниях перед святынями, любованиях иконами, восхищении материнскими и богатырски-

ми формами построек, я, собственно, позабыла, что такое время. Времени не было, но было пространство. Сакральная география: сотни камней, источников, ручейков напоминали о скаках коня Ильи Муромца. И камни те, действительно, живые: в мужском монастыре вам покажут один из них, тот, что растет. А в селе Карачарове вы можете встретить родственников Ильи Муромца — Гушиных, они почти все большие и сильные. Видя, в каком состоянии находится сегодняшняя Россия, захваченная врагами страшнее татар, невольно хочется призвать богатырей. Но понимаешь, что настало время духовного богатырства. Без этой победы любая другая опять окажется ложью. И вспоминаешь, что святой Илья Муромец кончил свои дни схимником. И радуешься, что в муромских монастырях встречаешь людей поинтереснее, чем в Сорбонне или в Кэмбридже. Интереснее даже в смысле светского, мирского образования: в Троицком монастыре отец Валентин — кандидат наук по экономике, другой послушник «математически пришел к Богу», имея на руках пять дипломов. А уж в плане экзистенциальном и духовном монастырская братия несравненно даровитее, масштабнее, реальнее, что трудно даже представить на Западе. Нашим монахам повезло: их любит самый детский народ в мире. Можно сказать, что в любом народе есть детскость, то есть непосредственное доверие глубинным ценностям жизни, святая простота, открытость Богу. Но русский, молящийся, кающийся, светящийся верой народ в этом доверии, как мне кажется, обогнал всех других, не только в общехристианском, но и в православном мире. Я говорю больше о качестве, а не о количестве. К сожалению, большинство русских людей и сегодня, когда все дороги уже ведут в церковь, подражают самым карикатурным западным образцам, превращаясь из народа Божьего в анонимную толпу потребителей и телезрителей. Врата адовы не поколеблят только одно место на этой земле — святую Христову Церковь. В Христовой церкви человек может подняться на ноги — обожиться. В этом и состоит смысл жизни — раскрыть в себе внутренние зрение и слух, осуществить себя в любви к Богу, вселенной, людям, стать новой тварью. Каспару Хаузеру мешали подняться на ноги. И в буквальном, и в метафизическом смысле слова. Миллиарды людей в этом мире — каспары хаузеры, заключенные в тюрьму. Повсюду ребенку не дают стать Ребенком. Тюрьма — везде тюрьма. Только на Западе она лучше разукрашена: реклама не столь вульгарна и агрессивна, как у нас, в России (или в Третьем мире), насилие не столь откровенно — разбойники уже успели договориться. В России всегда все острее, необъяснимее, страшнее. Но как в сказке об «Аленьком цветочке»: чем чудовищнее Зверь, тем он в своей тайне прекраснее. Нужно только созреть до этой истины.

РУССКИЕ ПО МИРУ



© Художник Елена Любович

Владимир Гутковский
(Украина, Киев)

Владимир Матвеевич Гутковский родился в 1945 году в Киеве, где поныне и проживает. Закончил механико-математический факультет Киевского университета.

Поэт, прозаик, переводчик, критик. Автор нескольких книг и многочисленных публикаций, лауреат литературных конкурсов, член Национального союза писателей Украины, Многонационального союза писателей, иностранный почётный член Союза писателей Санкт-Петербурга. Руководитель поэтической студии «Третьи ворота», литературный обозреватель портала «Stihi.lv»

А как дела на/в Украине... (Обзор литературных русскоязычных изданий)

Сразу нужно сказать, что перед вами не дотошное научное исследование, а всего лишь беглые заметки очевидца. Под общим девизом: «знаю, участвовал, соприкасался».

Исходя из этого тезиса, и приступим к дальнейшему изложению.

У истоков

Не станем затрагивать изданий дореволюционного периода или того, что было, как говорят по-украински, «за царату».

Бурные двадцатые годы в целом тоже останутся за пределами нашего внимания. Хотя и тогда в интересующей нас области происходило немало интересного.



© Фото Татьяны Громовой

Упомянем только общеизвестный и канонический факт. Первым полноценным русскоязычным украинским литературным изданием стал журнал «Радуга», который более или менее благополучно дожил до наших дней. В этом году у журнала круглая дата — он отмечает своё 88-летие.

За многие годы с этим журналом были связаны судьбы целого ряда известных украинских литераторов, писавших и пишущих на русском языке.

О современном положении дел в этом журнале мы поговорим в соответствующем разделе.

Что было

Опять же здесь речь пойдёт о положении дел с русскоязычными изданиями в постсоветское время. А ещё конкретнее, о периоде с конца девяностых через все нулевые и до начала десятых.

Продолжает свой транзит сквозь годы «Радуга», как непотопляемый флагманский корабль весьма разношерстной флотилии. Поскольку многие издания этого периода трудно назвать литературными журналами в традиционном понимании этого слова.

Среди них было немало самых разных по «солидности», времени существования, тиражу и периодичности, тех, которые скорее можно отнести к категории «самиздатовских». Но на самых интересных из них, безусловно, стоит остановиться. Тем более, все они были зарегистрированы и имели соответствующие реквизиты.

Среди них.

«Ярь» (г. Ровно). Магазин литературных текстов, критики, религий и искусств. Издание на 24–36 страницах формата А4, на скрепках, без обложки. Заявленный тираж 200 экз. Выходил 4–6 раз в год, достаточно регулярно на протяжении 2000-х годов. Главный редактор Олег Качмарский.

Весьма примечательный журнал, затрагивающий тематику самого разнообразного характера. Здесь и углублённое знакомство с поэтической классикой, в основном русской, но не только, и публикации молодых авторов. В журнале неоднократно печатала свои стихи и чрезвычайно глубокие литературоведческие исследования одна из бесспорно самых значительных современных русских поэтов Украины Ирина Корсунская. Постоянно журнал обращался к личности и творческому наследию своего знаменитого земляка, поэта, прозаика, критика, автора мифологических стилизаций и реконструкций в стихах и прозе Александра Кондратьева, значительную часть своей жизни проведшего на Ровенщине. Эссеистика на общеславянские темы Олега Качмарского вполне соответствовала бы одному из главных идеологических трендов последних лет.

В соответствии со своим самоопределением журнал уделял внимание и материалам эзотерического и мистического характера. Представляла большой интерес рубрика, рассказывающая об истории возникновения и музыкальном пути ведущих западных рок-групп.

А ещё иронические рассказы, описания путешествий и странствий, экзотических уголков страны, критическая публицистика и т. п.

Согласитесь, немало для «самиздатовского» журнала.

Эстетик-шок-журнал «**КЛЯП!**» (г. Николаев).

Издание на 24–36 страницах формата А5, без обложки, блоки без крепления. Тираж ситуативный. Выходил ежемесячно во второй половине 2000-х годов. Главный редактор Алексей Торхов.

На редкость креативный проект. Кажется, изобретательность его издателей не знает пределов. Каждый номер начинается вступительными заметками главного редактора (или жреца-дегустатора, как он себя именует). Это эссе на свободную тему, сочетающее необузданное словотворчество и неукротимую фантазию с глубиной рассматриваемых проблем. Приведём для примера названия нескольких из них: «Джем из пауз и букОвиц», «Выставка божьих коровок» и т.п. И внутри номер чрезвычайно насыщен и при ограниченном объёме вмещает в себя массу интересных вещей. Здесь и представление современной молодой поэзии, и постоянное обращение к творчеству классиков. И то, и то и другое делается чрезвычайно оригинально.

Вот, к примеру, материал, посвященный 120-летию со дня рождения А. Ахматовой. Он содержит и обстоятельный биографический очерк, и подборку её известных стихотворений, и визуальную составляющую, без которой издание трудно представить: рисунки Модильяни, вдохновлённого образом Ахматовой, и история их отношений. И подводка к этой публикации: «Почтовый адрес: Ноосфера. Уровень — Память человечества. Сектор Времени — 1889/1996. Индивид — Анна Андреевна Ахматова».

Журнал постоянно представлял и обзор наиболее оригинальных новостей со всего мира, изложенных в свойственной изданию иронической манере. А вот столь же постоянная рубрика «Летопись фестивального движения» вполне серьёзна и позволяла ориентироваться в происходящих событиях.

Регулярно публиковались проблемные и постановочные статьи, которые становились поводом для дальнейших дискуссий. «На книжной полке» размещались рецензии на новые книги под, опять же, характерным девизом «Двух мнений быть — может!».

Большое внимание уделял журнал визуальной поэзии, и в каждом номере приводились новые работы в этом жанре. Да что там говорить, в соответствии с концепцией издания через каждые десять номеров менялся его логотип, размещённый на первой странице. Но, пожалуй, самой заметной «фишкой» журнала являлись следующие две рубрики.

Регулярно проводимые литературные конкурсы. Например, конкурс короткого рассказа на заданную тему. Под девизом «Стословие», который и определял объём конкурсных работ.

Дискуссионный клуб «Круглый стул», в котором участники определяли своё отношение к актуальным вопросам, поставленным в упомяну-

тых выше проблемных статьях. Число авторов, принимавших участие в этом интеллектуальном выяснении отношений и обозначении позиций, доходило до нескольких десятков. И интернет был им в помощь.

Проект «**Дикое поле**» (г. Донецк). Основатель, издатель и главный редактор Александр Кораблёв, известный филолог, языковед, учёный, создатель и руководитель одноимённого литературного объединения. Личное общение с ним оставило у меня ощущение его истинной интеллигентности и высокой духовности. Это человек, который многое знает и у которого можно многому поучиться.

Первый номер издания вышел в 2002 году. И тогда он обозначался как «ДИКОЕ ПОЛЕ духовных поисков и находок: Интеллектуально-художественный журнал. Донецкий проект». С самого начала он отличался усложнённой и крайне привлекательной структурой. Стремясь к возможно наиболее полному расширению своего художественного пространства, он вместе с тем давал представительный срез того, что можно охарактеризовать как локальный литературный процесс. В сферу его интересов входили поэзия, проза, критика, дискуссии, воспоминания, путевые заметки, арт-галерея, конкурсы.

Журнал достаточно регулярно и успешно выходил на протяжении ряда лет. В настоящее время по вполне понятным причинам функционирует в формате интернет-издания (если вы обратитесь к его странице, на ней будет указана именно сегодняшняя дата и изображён человек, уверенно шагающий вперёд, навстречу будущему). И обозначает главные направления своей деятельности как «Поле духовных поисков и находок. Стихи и проза. Критика и метакритика. Обзоры и погружения. Рефлексии и медитации. Хроника. Архив. Галерея. Интер-контакты. Поэтическая рулетка. Приколы. Письма. Комментарии. Дневник филолога».

А давний эпиграф к журналу: «Не Украина и не Русь — / Боюсь, Донбасс, тебя — боюсь...», — звучит сегодня как никогда актуально.

«**Самватас**» (г. Киев). В бумажном виде журнал существовал с 1991 года, всего вышло 19 номеров. Главный редактор и главный автор Андрей Беличенко. («Самватас» — одно из древнегреческих названий Киева. Византийский император Константин Багрянородный около 948 года писал о «крепости Киоава, называемой Самватас»).

Направление — философско-художественное. Вот некоторые позиционированные издателем темы: литература как высокая технология, поэзия свободомыслия, игры любознательности, синергетическая этика, границы должного и возможные поля необходимости.

Журнал довольно регулярно выходил во второй половине девяностых годов ограниченным тиражом и переменным объёмом, который варьировался от нескольких десятков до нескольких сотен страниц.

В нём публиковался круг авторов, соответствующих эстетическим и интеллектуальным предпочтениям самого Андрея Беличенко. А основную

часть материалов издания составляла проза, поэзия и эссеистика главного редактора, профессионального философа по образованию и роду занятий.

Когда этот журнал прекратил своё существования, наступила длительная пауза. И только в десятых годах ему на смену пришёл журнал «**SUB Rosa**», журнал философских исканий и эссеистики. Его на этот раз единственным автором и издателем стал всё тот же Андрей Беличенко.

Журнал значительно улучшил своё полиграфическое оформление. А философские статьи автора на самые разные темы настолько поэтичны и стилистически безупречны, что я в восхищении назвал его «Набоковым философской прозы». Регулярность выхода этого издания произвольна, тираж и объём — ограничены.

«**Collegium**» (г. Киев). Международный научно-художественный журнал. Издание объёмом 200–300 стр. Тираж 300 экз. Литературный редактор Дмитрий Бугаго.

Журнал является, в основном, ежегодным сборником материалов научно-практической конференции «Язык и культура», проходящей в Киеве вплоть до настоящего времени. Вместе с тем в журнале имеется раздел «Художественная словесность», в котором публикуются и чисто литературные материалы. Например, переводы поэзии Рейнера Марии Рильке и т.п.

Следует отметить и параллельную весьма примечательную культурную акцию «„**Collegium**“ на сцене», которая проводится ежемесячно и носит полностью литературно-художественный характер.

«**Соты**» (г. Киев). Литературно-художественное издание. Главный редактор Дмитрий Бугаго. Журнал выходил с 1997 года до середины нулевых. После некоторого перерыва его издание возобновилось в 2012 году уже в формате альманаха с произвольной периодичностью выхода. Два появившихся на свет номера содержат прозаические и поэтические материалы, критическую публицистику, рецензии, статьи общелитературного плана. Объём издания порядка двухсот страниц, обложка твёрдая цветная. Хочется пожелать изданию нового и долгого дыхания.

«**Арьергард**» (г. Киев). Альманах искусств, науки и литературы. Главный редактор Светлана Ищенко, заместитель главного редактора Александр Мельников. Выходил два раза в год в 2010–2011 гг. Заявленный тираж 3000 экз., объём порядка 350 стр., обложка мягкая цветная.

Весьма амбициозный проект, публиковавший материалы преимущественно известных авторов. В том числе, поэзию классическую и современную, современную прозу, подборки молодых поэтов, драматургические материалы, переводы, эссе, публицистику, архивные материалы и даже детективы. К литературному качеству альманаха претензии предъявить трудно, оно находилось на достаточно высоком уровне. Вызывал уважение содержательный диапазон издания. В отличие от полиграфических довольно скромных его характеристик.

А вот то, что выделяло журнал среди прочих и остальных. Это было гонорарное издание! И гонорары эти были отнюдь не копеечными. Естественно, что при такой политике деньги скоро закончились и журнал после четвёртого номера прекратил существование. Или просто спонсоры уже удовлетворили свои капризы.

Что есть

Рассмотрим подробнее самые примечательные литературные издания, продолжающие (или начавшие) свою деятельность в десятилетия этого века.

«Радуга» (г. Киев). Журнал художественной литературы и общественной мысли. Цветная обложка, офсетная печать. Выходит ежемесячно, иногда номера объединяются. Объём до 300 страниц. Главный редактор Юрий Ковальский.

Журнал не слишком изменился с давних пор. И по отбору материалов, и по форме их подачи. Оценка его в целом будет лежать в диапазоне от «солидный» до «традиционный». Точнее всего назвать его «добротным».

Наличествуют все подобающие рубрики: проза, поэзия, мемуаристика, литературные обзоры, рецензии, юмористический раздел и т. п. Время от времени (теперь всё реже) номера содержат цветные вкладки живописи и фоторабот.

Прозаические материалы (романы, повести, рассказы) читаются, в общем-то, с интересом. И хотя приходится слышать упрёки, что написаны они преимущественно авторами в возрасте и посвящены воспоминаниям о том, почём был портвейн пятьдесят лет назад, но я не считаю это вполне справедливым. Многие подробности такого рода находят живой отклик в сердцах читателей, о чём свидетельствуют письма в редакцию с просьбой продолжить те или иные темы. Кроме того, проза в журнале написана на хорошем художественном уровне и, как правило, занимательна и поучительна одновременно. Может быть, я так считаю потому, что и сам принадлежу к возрастной категории за.

Но журнал не избегает и более актуальных авторов, хотя и делает это достаточно дозированно. Так, в нём печатался один из самых известных современных русскоязычных писателей Украины Андрей Курков.

Поэтический раздел издания, с моей точки зрения, является наиболее проблематичным. Несмотря на то, что в нём публикуются и достаточно профессиональные поэты, в целом он производит впечатление некоей усреднённости, без существенных взлётов и прорывов.

Мне как-то пришлось выполнить обзор поэзии в журнале за год, и выводы были не слишком утешительными. Эта работа вызвала большой интерес у редколлегии журнала, но никаких изменений в редакционной политике в дальнейшем по этой части не последовало. Остальные разделы журнала принципиальных нареканий не вызывают.

В конце года журнал отмечает своих лучших авторов и награждает их почётными грамотами. Обязательно следует упомянуть, что в 2011 году «Радуга» провела конкурс для молодых русскоязычных писателей Украины под названием «Активация Слова». И пусть эта акция журнала носила разовый характер, но она открыла целый ряд чрезвычайно интересных имён. Так по разделу прозы, сопредседателем жюри которого был известный российский писатель Виктор Ерофеев, со своим первым романом «Случайному гостю» победил чрезвычайно талантливый киевский автор Алексей Гедеонов. Он и в дальнейшем проявил себя с самой лучшей стороны.

(Анекдотическая ситуация. Уже написав вышеприведенные строки, зашел к знакомому литератору. Его одолевали мухи, и он успешно охотился на них при помощи половинки какого-то журнала. Я заинтересовался и установил: это была как раз та самая давняя «Радуга» 1978 года. Пролистав доставшиеся мне остатки, понял, какое это было тогда солидное издание.)

«Южное сияние» (Одесса). Одесский литературно-художественный журнал. Цветная обложка. Выходит ежеквартально с 2011 года. Объём до 200 страниц. Заявленный тираж 500 экз. Главный редактор Станислав Айдинян, выпускающий редактор Сергей Главацкий.

Журнал ещё переживает период становления и хочется надеяться, что в ближайшее время его завершит. Пока же можно сказать, что оформление, вёрстка и полиграфические характеристики издания нуждаются в значительном улучшении.

В журнале имеются разделы прозы, поэзии, переводов, литературных обозрений и эссе, рецензий и т. п. Заслуживает упоминания рубрика «Дружба журналов», в которых публикуются материалы авторов из регионов СНГ, других изданий и интернет-ресурсов. Состав авторов «смешанный», но прослеживается ориентация на молодые и не слишком известные имена, что можно считать заслугой журнала.

«ШО» (г. Киев). Журнал о современной культуре. Твердая обложка, объем порядка 150 стр., заявленный тираж 20 500 экз. Периодичность выхода в настоящее время 6 номеров в год. На мой взгляд, наиболее интересное журнальное издание наших дней. В самых разных смыслах.

Могу только посоветовать познакомиться с ним всем тем, кто до сих пор этого не сделал. И позавидовать им. Их ожидает увлекательное и очень познавательное чтение.

Журналу в этом году исполняется десять лет. «ШО» позиционирует себя как единственный украинский журнал, авторитетно анализирующий наиболее важные культурные события в стране и за рубежом. Главный редактор журнала — Александр Кабанов, известный поэт и координатор самого масштабного международного поэтического фестиваля в Украине «Киевские лавры».

За эти годы журнал трансформировался, но не изменился и не изменил своей изначальной концепции. (Следует заметить, что до этого два года А.Кабанов выпускал издание «Живой журнал», в котором апробировались многие подходы, которые успешно развиваются сегодня).

Журнал начинался достаточно эпатажно. Недаром он обозначал себя как «журнал культурного сопротивления». А оформление и форма подачи материала невольно наталкивала на мысль о «культурном глянце». Но такое впечатление было бы чрезвычайно поверхностным, и журнал это убедительно доказал своей последующей практикой.

О материалах, которые публикует журнал, мы поговорим ниже. А пока, чтобы не возвращаться к этому все время, замечу, что по изобразительной щедрости оформления, изобретательности вёрстки, шрифтовых и цветовых решений издание не знает себе равных. И с полиграфической точки зрения представляет собой настоящее произведение искусства.

При всём при этом материалы чётко структурированы. Разделы: «ШО смотреть» (арт, театр, кино), «ШО слушать» (музыка), «ШО читать» (литература) освещают практически весь диапазон культурных событий и явлений.

Не станем останавливаться на чисто маркетинговых и издательских вопросах деятельности журнала. Читателя это интересует постольку-поскольку. Но со временем издание «посерьёзнело» по сути, по-прежнему оставаясь чрезвычайно привлекательным по форме. Постепенно выходя из ниши молодёжных журналов, оно превратилось в аналитическое издание о современной культуре. Так теперь как «журнал о современной культуре» оно себя и позиционирует.

В 2012 году журнал переходит на твёрдую обложку, и это становится новым этапом в истории его развития. Возникает новый бренд: книгожурнал, журналокнига, журнал в книжном переплёте. Изменяется и содержание «ШО». Журнал начинает уходить от событийности, от той информации, которая может устареть. Всё больше внимания уделяется непреходящим темам, аналитическим материалам, которые фиксируют наиболее важные процессы в культуре. Значительную часть объёма «ШО» занимают эксклюзивные беседы с ведущими деятелями культуры, представляющими самый широкий мировой контент. Появляется достаточно обширная рубрика «ШОиздат» — дань «толстожурнальной» эпохе. В ней публикуется проза, поэзия, эссеистика не только наиболее значимых украинских писателей, но и пока никому не известных, самобытных авторов, которые открывает, в частности, и фестиваль «Киевские лавры».

Вокруг журнала сплотилась команда настоящих профессионалов. Когда мне в руки попадает свежий номер, я первым делом набрасываюсь на обзоры книжных новинок и свежих кинофильмов, так как и сам подвизаюсь в этих областях. И всегда знакомлюсь с ними с огромным удовольствием. Впрочем, как и с большинством других материалов.

О «ШО» можно много, долго и хорошо говорить. Но его лучше читать.

И ещё одно издание-явление. Международный литературно-художественный журнал «Крещатик». Пошёл уже шестнадцатый год его существования. Журнал выходит четыре раза в год тиражом 500-1000 экземпляров и объёмом свыше трехсот страниц. Представлен в Журнальном Зале. Издатель и главный редактор журнала Борис Марковский. Со дня своего основания «Крещатик» издаётся исключительно на личные средства создателей журнала.

Привязка журнала к украинским русскоязычным изданиям отнюдь не притянута за уши. Его главный редактор бывший киевлянин. И хотя сейчас проживает в Германии, постоянно бывает в Киеве, работает здесь над своим изданием. Да и название журнала отсылает к украинским реалиям. Как сказано в одном из его самопределений, это «...перенесённая в ментальное пространство великая киевская улица, где когда-то завязывались великие дружбы, писались великие стихи, происходили знаменательные встречи...». А визуальный образ журнала, сложившийся в последние годы, делает его привлекательным и запоминающимся.

Традиционное содержание номера: проза, поэзия, критика, эссе, рецензии. Но дело не столько в структуре журнала, сколько в наполняющих его материалах. И как полноценное литературное явление журнал постоянно исследуется и анализируется литературной критикой.

«Крещатик», пожалуй, видит свою задачу не в анализе современного литературного процесса, а, скорее, в наиболее полном его отражении. И с этим успешно справляется. Иногда создаётся впечатление, что читателю трудно поспеть за тем количеством высококачественных материалов, которые появляются на его страницах. Но даже просто «зафиксировав» их, «Крещатик» тем самым вводит их в общекультурное пространство, становится богатейшим архивом замечательных текстов. Последние номера издания носят «тематический» характер: «Нью-Йорк», «Донецк», «Иерусалим». И это тоже чрезвычайно интересно. Так на «донецкий» тут же отреагировал положительной рецензией авторитетный «Новый мир».

Вообще нужно сказать, что по своему уровню «Крещатик» ничуть не уступает так называемым «толстым» литературным журналам. Особенно при их нынешнем состоянии. А ведь они сохранили какой-никакой штат редакторов, корректоров, критиков, постоянных авторов.

А «Крещатик» делает, в основном, один человек — Борис Марковский.

Если же говорить о культурной нише, которую занял и продолжает осваивать журнал, то он является своеобразным аналогом «Иностранной литературы». И вовсе не потому, что русский язык стал для кого-то иностранным. Но точнее будет уподобить «Крещатик» украинскому журналу прошлых лет «Всесвіт», название которого можно перевести, как «Весь мир».

И теперь весь этот мир, мир русской литературы из самых разных стран — в «Крещатике».

Альманахи

Упомянем ещё некоторые из ныне выходящих альманахов. Так, к проводящемуся ежегодно Андреем Грязовым фестивалю поэзии и кино «Каштановый дом» выходит одноименный литературный альманах. А переселившийся из Луганска молодой автор Алексей Мартыненко выпустил уже несколько номеров издания «„Сила ветра“. Журнал культуры степей», продолжающий в некотором смысле тематику упомянутого «Дикого поля».

И, конечно, время от времени появляются разовые поэтические сборники, издание которых оплачивают сами авторы. Но это уже совсем неинтересно.

Чем сердце успокоится

Предсказать что-либо, учитывая современную общественно-политическую ситуацию и определенным образом связанный с нею культурный процесс (и в Украине, и в общемировом плане), сами понимаете, невозможно. Во всяком случае, я за это не берусь.

Но с большой долей уверенности можно рассчитывать на то, что никогда не успокоятся сердца деятелей культуры, литературных издателей, писателей и поэтов (энтузиастов и профессионалов).

А значит, хочется надеяться, что не прекратится журнало-печатание. Не оскудеет эта нива хотя бы в ближайшие годы. И мы по-прежнему будем открывать для себя всё новые и все старые русскоязычные издания, листать их страницы и приобщаться посредством этого к вечному и нетленному. Во всём (не только «Русском») мире и в Украине, в частности.

Алёна Асенчик
(Беларусь, Гомель)

Родилась в Витебске, живёт в Гомеле (Беларусь). Филолог, поэт, член редколлегии сетевого журнала «Буквица». Печаталась в коллективных сборниках стихов, газетах, журналах, альманахах. Лауреат нескольких международных конкурсов поэзии («Русский стиль-2008», «Славянские традиции-2013», «Поэтическая галерея», «Кубок мира по русской поэзии-2014», «Чемпионат Балтии по русской поэзии-2015»). Любит кофе, осень и хорошую поэзию.

Язык как национальный символ

Если вы говорите по-русски и решили посетить Беларусь, то вы можете не сомневаться, что уж чего-чего, а языкового барьера у вас точно не возникнет: в Беларуси государственными считаются два языка — русский и белорусский. Факт двуязычия был закреплён Конституцией Республики Беларусь, принятой на референдуме 1996 года. В Беларуси из почти 10 миллионного населения этническими русскими себя считают лишь 15% жителей. Однако более 80% граждан страны практически во всех сферах жизнедеятельности используют русский язык.

Несмотря на то, что людей, в основном пользующихся русским языком, больше, из-за близкого родства языков большинство населения понимает речь на обоих языках, а значительные группы носителей к тому же активно пользуются обоими языками. Например, автор данной заметки в повседневной жизни пользуется именно русским языком (и думает тоже на русском), но без проблем читает книги, журналы на белорусском языке, смотрит белорусскоязычные фильмы, может включиться в беседу, ведущуюся на белорусском языке. Кстати, благодаря знанию белорусского языка население нашего государства легко понимает украинскую речь, а также польскую, если собеседник будет говорить по-польски медленно. Вот такое неожиданное



© Фото Алёны Асенчик

преимущество! А ещё ни один русскоговорящий белорус не допустит в переводе с русского на белорусский таких «весёлых» ошибок, которые допускают иногда те, кто занимается переводом этикеток и сопроводительных инструкций товаров, предназначенных для экспорта в Беларусь. Что я имею в виду? А вот что. Как-то раз пришлось мне купить сделанную в России (в Тульской области) кондитерскую шоколадную плитку «Аэробар», и дёрнул же меня чёрт прочитать её состав. Взгляд сразу же упал на надпись, сделанную по-белорусски: «харчовая каштоўнасць прадукта: вавёркі — 7, 2 г»... Перевожу дословно: „пищевая ценность продукта: белки - ...“ Понимаете, почему я весело рассмеялась, прочитав данную надпись? Дело в том, что для перевода, скорее всего, применили некий электронный словарь, который, к сожалению, не различает слов-омографов, т.е. для него и бёлки, и белкй — одного поля ягоды. Результаты работы подобных программ обязательно корректируются потом человеком. Однако для не знающего чужого языка человека «вавёрки» никоим образом не проассоциировались с рыженькими подвижными зверьками. Отсюда и подобный казус. Аналогичная ошибка вкралась и в перевод состава пирогов, где при переводе были перепутаны омонимы мукá и мўка, в результате на белорусский рынок пришла партия пирогов «з пакутай», то бишь «с мўкой». Вот такие пироги!

У самих же белорусов в речи наличествует немало специфических ошибок, связанных именно с владением двумя языками. Интерферентные явления (т.е. взаимовлияние языков) наблюдаются как в белорусской, так и в русской речи местных жителей; интенсивность взаимовлияния зависит от образования, языковой среды, профессии, возраста, национальности говорящих и других причин. Проявляется это взаимовлияние практически на всех языковых уровнях (фонетическом, семантическом, синтаксическом). Это явление достаточно изучено, и типичные ошибки русскоязычных белорусов разбираются на уроках русского языка уже на уровне школы.

Особым случаем интерференции является т.н. «трасянка» — «смешанная русско-белорусская речь, в которой фиксируется много дифференциальных элементов обоих языков» (С.Н. Запрудский). «Трасянка» не относится ни к языку, ни к диалекту, это особое явление — «смешанная речь» («смешанный код»). «Смешанная речь» очень вариативна.

Что касается СМИ Республики Беларусь, то по данным Министерства информации на 1 июня 2010 года в стране издаются 1301 печатное периодическое издание, в том числе 655 газет, 600 журналов, 36 бюллетеней, 9 каталогов, 1 альманах. Почти семьдесят процентов всех зарегистрированных изданий являются негосударственными. Пресса издаётся на белорусском, русском, немецком, английском, украинском, польском и других европейских языках. Для большей части печатных изданий основным является русский язык. Только на русском языке в Беларуси издаются 415 из 1100 зарегистрированных печатных изданий. Большинство остальных изданий являются двуязычными. При этом самые массовые газеты и журналы печатаются на русском языке.

Приведу примеры некоторых двуязычных и белорусскоязычных изданий:

«**ARCHE Пачатак**» — независимый научно-популярный и общественно-политический журнал на белорусском языке, в котором пишут десятки белорусских интеллектуалов. Единственное белорусское издание, приглашённое в сеть европейских интеллектуальных журналов «Eurozine». Издаётся с 1998 года.

«**Беларуская думка**» — ежемесячный общественно-политический и научно-популярный журнал, учредителем которого является Администрация Президента Республики Беларусь, издаётся с 1991 г. (на русском и белорусском языках)

«**Веды**» — еженедельная научная информационно-аналитическая газета (учредитель — Национальная академия наук Беларуси и Государственный комитет по науке и технологиям), выходит на русском и белорусском языке.

«**Звязда**» — ежедневная газета на белорусском языке, издаётся с 1917 г. (до 1925 г. выходила на русском языке)

«**Народная асвета**» — старейший в Республике Беларусь научно-педагогический журнал, издаётся с 1924 года (на белорусском и русском языках).

«**Народная газета**» — ежедневная общественно-политическая газета, орган Национального собрания Республики Беларусь, издаётся с 1990 г. (на русском и белорусском языках)

«**Настаўніцкая газета**» — специализированное издание для педагогов, выходит с 20 декабря 1945 года (на белорусском и русском языках).

«**Наша Ніва**» — общественно-политический еженедельник на белорусском языке. И другие издания.

Что касается телевидения и радиовещания, то Первый национальный канал белорусского телевидения собственные передачи готовит преимущественно на белорусском языке. Остальные телеканалы Белоруссии транслируют свои передачи на русском языке. Аналогичная ситуация характерна и для радиоэфира.

Когда в различных социологических опросах белорусов спрашивают, какой язык они считают родным, большинство называет белорусский, несмотря на то, что говорят они по-русски. Этот феномен не мог не заинтересовать, и в результате исследователи приходят к выводу, что «у белорусского языка его этническая функция (быть национальным символом, консолидировать народ и отличать его от других этносов) первенствует над основной функцией языка (коммуникативной)» (Н.Б. Мечковская, доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического и славянского языкознания в Белорусском государственном университете). Т.е. белорусский язык выполняет такую символическую (но весьма важную) функцию, когда человек знает, что он белорус, его предки жили в Белоруссии, он сам в какой-то степени (по крайней мере, для понимания) владеет белорусским языком, но в реальной жизни может им практически не пользоваться. Что ждёт белорусский язык в будущем? Поживём — увидим. Пожелаем ему долгой жизни и процветания. Наряду с русским.

Людмила Орагвелидзе
(Грузия, Тбилиси)

Родилась и живёт в Тбилиси, автор трёх сборников стихов и четырёх альбомов авторской песни. Вице-президент Ассоциации русскоязычных писателей и деятелей культуры Грузии, лауреат Международной литературной премии им. Юрия Долгорукого (Москва, 2010), обладательница приза «Лучший автор» Международного фестиваля авторской песни (Баку, 2012 г.), победительница 1-го Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2012 г.)

Русскоязычная поэзия в Грузии, или Грузинская русская поэзия

Сразу оговорюсь, я не ставлю перед собой цели исследования и научного определения культурного феномена под названием «современная русскоязычная поэзия Грузии», возможно, это явление всё ещё находится в стадии формирования и зависит от социальных потрясений, а также активности и качества литобъединений и изданий, вокруг которых обычно группируются пишущие. Но по сути, этот культурный пласт подходит под определение «новое русское зарубежье», ибо в основной своей массе носители русского языка не эмигранты, а коренные жители, выросшие до распада СССР на русской культуре.

С чем же мы имеем дело? Как, вероятно, везде — это сосуществование традиции и новых форм, соседство «высокой» и «наивной» поэзии, графомании и мастерства. Здесь присутствует всё: нарочитый пафос, словесная эквилибристика, банальные штампы, гибриды несуразницы и псевдомодернизм... По утверждению литературоведа Татьяны Мегрелишвили, толчком для активации процесса послужила социальная травма, перенесённая страной в начале 90-х гг., что, на мой взгляд, спорно. То, что литературное общество «Арион» в советское время насчитывало пару десятков членов, а теперь — больше сотни, говорит скорее о его прежней закрытости и дифференциации по признакам: «филолог» — «не филолог» или «графоман — поэт»; несомненно, существенную роль сыграло и то, что нынешнее объединение имеет свой печатный орган — альманах «На холмах Грузии», где быть опубликованным может любой желающий при условии добрых отношений с главным редактором.

Несколько похож на вышеописанный и другой альманах — «Русское слово», выходящий нерегулярно и благодаря энтузиазму редактора; авторы в нем публикуются за свой счёт.

«Русский клуб» — финансируемый ежемесячный общественно-художественный глянцевый журнал, специализирующийся на освещении деятельности русской общины в Грузии, материалах, посвящённых русскому театру им. А.С.Грибоедова и очерках о медиумных личностях и заметных событиях.

В 2000-х гг. в русскую поэзию Грузии пришло новое поколение, объединившись вокруг журнала «АБГ», издаваемого тбилисским поэтом и литературоведом Михаилом Ляшенко.

Молодые выбрали для своего сообщества авангардное название — «МОЛОТ.ОК». Поначалу к ним отнеслись осторожно — из-за доминирования дилетантизма, тотального отказа от силлаботоники, преобладания рефлексивности текста над лиризмом, навязчивого экспрессионизма, отступления от традиции «поэзии мысли и образа». В основном практиковался интонационно-фразовый стих. Напомню, — модернизм был характерен для культуры Запада в начале XX в. и отвечал потребностям индустриального общества. Назвав себя авангардом, он охватил множество течений искусства: символизм, кубизм, конструктивизм, сюрреализм, экспрессионизм и др. Целью был выход за пределы традиции, поиск новых форм самовыражения. А постмодернизм проявился в 70-е годы XX столетия как адаптация к зрелой демократии, при которой власть призвана делиться между множеством групп и организаций, т.е. постмодернизм — ответ на плюрализм. Если авангард ставил себя выше культурного наследия, то постмодернизм хотел быть вне прошлого. У нынешних авторов наблюдается вторичность по отношению к предшествующей поэзии. И даже оригинальное подчас имеет хорошо скрытый источник. Спустя десять лет, с приобретением стихотворного опыта, благодаря организации регулярных лекций и чтений, а также налаженному изданию общих и авторских сборников, «МОЛОТ.ОК» стал заявлять о себе громче, привлекать в свои ряды новых авторов. Постмодернизм, через который прошли практически все члены литобъединения, наложил отпечаток на всё их дальнейшее творчество, ибо само течение всегда выступало как характеристика своеобразного менталитета, особого мировосприятия, иного самоощущения человека в обществе. **Дмитрий Лоскутов**, молодой энергичный физик-лирик остаётся неизменным «рулевым» лито на протяжении нескольких лет. Вот его стихи:

Пальцы прижаты шипами
«Шок и Трепет»

пальцы прижаты шипами
к ранам печальных роз
тенью за тенью саддама
к буре песчаной прирос
в щели саманного хлева
лезет усатый капрал
«трепет» —

и справа и слева

злой мусульманин бежал
ночью — форсажем к евфрату
утром — путёвка домой
шлёт из окопов багдада
«шок» тишины гробовой
вдовам ю.кей.энд кентукки
график войны привели
— нефть постиракского юга
— правопорядок
oil ли...

Приведу стихотворение ещё одного «старожила» молодёжного лито **Сусанны Армянян**.

* * *

лелея зеркальце-мечту
тоскую с чистого листа
стою как полночь на посту
жива беспечна и проста
что за окном — то за окном
далекий вой далекий гром

далекий стук далекий рёв
лишь череда ночных шумов
летит над ветром пешеход
такси неслышно тормозит
и в животе луна сквозит
и время как ботинок жмёт

А теперь мне хочется перейти к обзору творчества заметных поэтов Грузии, которым доступны как эквиритмичность классической строфики, так и свободное конструирование, как концептуальность подхода, так и проникновенное лирическое звучание; поэтов, которые демонстрируют широту тематического и жанрового диапазонов.

Владимир Саришвили — поэт-интеллектуал, в полной мере владеющий изысканным поэтическим слогом, стилем, яркой палитрой метафор. Стихи его всегда содержательны: любая зарисовка, будь то рассказ о тбилисской разноснице мороженого Като, дороге в старом городе, построенной солдатами древнеримского полководца Гнея Помпея или размышляющем лорде Мальборо — это рассказ поэта.

Лорд Мальборо на вилле пил вино,
Дворецкий в ванной тёр мозоли пемзой...
Сырой туман, склублившийся над Темзой,
Налип на треугольное окно.

Лорд Мальборо на вилле пил вино.
Гомер, меж ним и вечностью посредник,
Лил на душу бальзам, пока наследник
Ощипывал наследство в казино.

Лорд Мальборо на вилле пил вино.
В ногах собака верная заснула,
А лорд курил, почитывал Катулла,
Поскольку было так заведено.

Лорд Мальборо на вилле пил вино,
Как дед его и пращур — тоже лорды;
Лучи от свеч вытягивались в хорды...
Хоть в пирамиды — лорду все равно.

Лорд Мальборо на вилле пил вино.
Он заменил Герода «Мимиамбы»
На Байрона клокочущие ямбы
И хокку затененные панно.

Лорд Мальборо на вилле пил вино.
Похолодало. Он укрыл колени.
Сапфиры на обугленном полене
Рубинами сменялись, как в кино.

Лорд Мальборо на вилле пил вино.
По каплям жизнь отцеживалась в вечность.
Он знал — конец рождает бесконечность,
В чем убедиться людям суждено,
И снова пил червонное вино.

Тбилиси — удивительный город, он влюбляет в себя с первого взгляда, поэтому урбанистическая тема проходит через творчество многих поэтов. А у некоторых (Паола Урушадзе) является основной. Но были страшные девяностые — годы разрухи, унижения, всеобщего сумасшествия, развала привычного уклада, холода и... голода. Об этом следующее стихотворение Володи Саришвили.

Совы

Огромные совы летают над городом,
Тяжелые тучи нависли над совами,
Бреду, одурманенный жаждой и голодом,
Дома по дороге моргают засовами.
За каждым засовом творятся события,
Все люди давно по событиям рассованы,
Но я вне событий. Я сделал открытие —
Всё в мире начертано, всё нарисовано.
А совы летают, а совы невидимы,
А совы хохочут над миром недвижимым,
Уверены совы, что все мы не вытянем,
Уверены совы, что все мы не выживем.
Не знаю — спасемся ль от позднего холода,
Примчатся ли новые беды за совами,
Но хищные птицы летают над городом,
А город моргает тугими засовами.

О зловещих 90-х и строки молодого автора **Дмитрия Мониавы**.

Гравюра

Погасли свечи, окна и дома,	И рыцари толпой у кабака,
Умолкли скрип колес и кривотолки,	Глаза их налиты вином и кровью,
И только хлябь, и сторожа, и волки,	Немой тоскою по Средневековью,
И факелы, и оспа, и чума.	Которое не кончилось пока.

Картинка удалась... И всё-таки — стихотворение «делает» финал. Удивительно органична в своих миниатюрах поэт и переводчик **Мария Фарги**. Её стихи — это исполненные светом лирические зарисовки, либо воспоминания, завуалированные сонной дымкой.

Мягкие пастельные тона — палитра тонко чувствующего автора.

* * *

Мне тихий снег шептал о снах
Несбывшихся. Молчали ели
Печально. В алых парусах
Застыли серые метели.

И в тишине терялась нить
Дороги, пробежавшей мимо
Порога милого. Забыть
Усталую улыбку мима.

Забыть, как весело весной
Ломать сирень и падать млечно.
Там, за углом, как зверь лесной,
Уже нас поджидает вечность.

Забыть — как это далеко! —
Всё, чего не было, что было...
И только помнить, как легко,
Как нежно я тебя любила.

Несомненной творческой удачей Марии явилось стихотворение «Слово», которое, по утверждению поэтессы, задумывалось как шутка, а «получилось серьёзно».

Я Библию толкую вольно.
Я выбираю тмин из плова.
Должно быть, Богу стало больно,
И родилось из боли — Слово.
И стало Слово биться в Бога,
Как бабочка ночная в стёкла.

Гудело Слово: — Аз есмь Логос...
И надоело — чуть не проклял!
И, просто, чтобы отвязаться,
Из глины Бог слепил поэта,
И Слово вдул в пустые пальцы,
И приказал молчать об этом.

Не так давно лингвисты дали определение феномену двуязычия — билингва. Это люди, для которых родными языками являются два и более. Доказано, что носитель двух языков, двух культур не может быть националистом, что он более терпим к «странностям» чужих обычаев, шире смотрит на мир. Вторая культура, второй язык всегда обогащают.

Георгий Чкония — поэт-билингв, выросший на двух культурах и в совершенстве владеющий как русским, так и грузинским языками. Именно поэтому особый интерес вызывают его переводы грузинских поэтов XX века (Галактиона Табидзе, Анны Каландадзе, Отара Чиладзе, Михаила Квливидзе и др.). Но как поэт он не менее интересен — в сборниках стихов «Во весь голос» и «Пишу слова» он демонстрирует уверенное владение словом, рифмой и поэтическими приемами, делающими стихи одухотворенными и притягательными. Вот так услышал стихотворение Анны Каландадзе «Облака» переводчик Гога Чкония.

Вы прошли по небу, небу пирамиды,
Над страну хеттов, Мидией...
Сказочный Урарту и поля Колхиды
Видели...
Но куда теперь путь
держат пилигримы?
— Не отвечают...
Только в поднебесье —
Высоко и мимо
Шествуют...

А это — сам Георгий...

Пусть я резонёр и невежда —
Всё к лучшему скоро изменится,
Вернулась бы только надежда...
А, впрочем, куда она денется?
Всё будет приятней, чем прежде
И в этой заброшенной местности,

Когда мы вернёмся к надежде
От серой и злой неизвестности...
Пусть подлость меняет одежды
(Нет счёта одеждам у подлости).
Но мы ведь вернёмся к надежде
От этой глухой безысходности?..

Пожалуй, никто столько и так не писал о Тбилиси — восторженно, про-
никновенно, грустно, щемяще — как **Паола Урушадзе**. Потомственный ис-
кусствовед и театровед, — она своим призванием выбрала стихи. Названия
её книг говорят сами за себя — «Тбилиси — Тифлиς» (2002 г.), «Тбилис-
ский тайник» (2007 г.). Неповторимость интонации, завораживающий фи-
нал, тайна — что и составляет суть поэзии — отличают стихи этого автора.

Городу

Откуда гром? Откуда град?
Ты хочешь знать, кто виноват —
Дракон или Кощей?..
А мне важнее во сто крат:
Куда? В какую щель
Ушли — под адский треск —
Твой азиатский аромат?
Твой европейский блеск?
И почему он вдруг умолк —
Тот лёгкий уличный шумок?
И отчего, почти за час
По одному, сквозь тайный лаз
Ушли и люди —
Те, кто знал,

Какой была твоя весна.
И где она — твоя казна,
Твой золотой запас?..
Молчишь?.. Не знаешь.
Ну и пусть!
Да я и так — вслепую —
Тебе сыграю — наизусть —
Твою весну... любую!
Любой твой дом, любой твой сад,
Всего тебя — сто лет назад —
Могу прочесть, закрыв глаза...
Молчишь... Твой околоток пуст,
Дворы твои глухи...
И так светло под эту грусть
Идут, идут стихи...

Паола — мастер детали, наблюдения, неожиданных поворотов мыс-
ли, создатель парадоксов, которые иногда ошеломляют — большое сужа-
ют до малого и наоборот. Но ей не чужды ни тонкий лиризм, ни добрая
ирония (стихотворение «Паук»).

Ранним утром, на заре,
На невидимом шнуре,
На шнуре с большим запасом,
Надо мной паук завис
Ватерпасом...
С виду прост, на спинке крест.
Может, не из этих мест?
Может, послан кем-то свыше —
Кто-то хочет там услышать
Обо мне благую весть:
«Все в порядке, Ваша честь,

Ясно и без ставки очной —
Тот же сдвиг на датской почве,
Тот старый детский бред —
Связь времен на Верхней Вере, —
Перемен особых нет...
Крен все тот же —
Я проверил...
Отстучал свое и замер,
Лапки подобрал и млеет —
Исподлобья муху клеит
Подобревшими глазами...

Есть мнение (в том числе в Грузии), что современная поэзия находится в «рецессии», прозябает на задворках, что всё перепето и пересказано много раз, — позволю себе не согласиться; выхолощенное формоискательство, уход в иронию и неоправданное экспериментаторство — только часть процесса. Мне встречаются замечательные авторы и стихи; ведь можно написать о блюде с чашкой, а звучать стихотворение будет так, словно разговариваешь с Богом. Важно, что ты хочешь сказать и как ты об этом рассказал. Конечно, удачно найденная новая форма может помочь лучше выразить какую-то мысль. Но сначала должна быть эта мысль.

Несмотря на то, что после тотальной эмиграции русского населения из Грузии в начале 90-х, в литературной жизни столицы несколько лет наблюдалось затишье, сегодня налицо тенденция к сохранению и развитию русского языка, появлению новых авторов, поэтических групп и журналов.

И в заключение — опять о стихах:

Стихи — ворожба, как ни банально это звучит, погружение в особый мир. И если читаешь, не замечая неточной рифмы и смысловой ошибки, стихотворных приемов, не возвращаешься в начало, чтобы понять концовку, не видишь связок и швов — стихотворение удалось. Я доверяюсь автору, автор оправдывает доверие. Вот и весь секрет союза поэта и читателя.



© Фото Alice S.

Лия Аветисян
(Армения, Ереван)

Лия Артёмовна Аветисян — лингвист, писатель-публицист, автор ряда книг, и в том числе — российского бестселлера 2010-2011 гг. «Вкус армянского гостеприимства». Поэт-переводчик с армянского языка на русский армянской поэзии от раннего Средневековья до наших дней. Потомок уроженцев Западной Армении. Родилась, выросла и живёт в Ереване.

В Россию можно только верить (взгляд из Армении)

Если следовать теории эволюции, то можно утверждать, что электронные СМИ родились от смешения племён журналов и прайдов газет после массовой миграции в интернет-пространство. А русскоязычные газеты в Армении были зачаты Советской властью. Но нет, я верю в божественное происхождение человека и всего сущего — а потому и в духовное братство народов, не связанное с выгодой, диктатом или формой носителей текстов — от бересты до пергаментных и виртуальных.

На протяжении своей бесконечной истории Армения никогда не имела второго государственного языка, и в том числе при Советской власти. Тем не менее, даже если канул в прошлое тот период, когда половина общеобразовательных заведений являлась «русскими средними школами», теперь, когда образование собезьянено с 12-классной Западной системы, и на круг присутствует всего 60 русских классов в разных школах, русский язык в Армении любят, и по-русски читают с удовольствием. Если чтиво того стоит, конечно.

В армянском телеэфире иностранные фильмы — и даже американские с французскими — на большинстве каналов транслируются на русском языке, хотя Армения — родина переводческого дела и даже имеет День переводчика в списке государственных праздников. Здесь ОРТ, «Культура», РТР и «Мир» присутствуют на пультах телевизоров и без специальных подписок на каналы, а телекомпания «Еркир-медиа», принадлежащая партии Дашнакцутюн, некогда яростному противнику советской власти, сегодня имеет час русскоязычных новостей. В случаях телеинтервью с гостями из России, большинство каналов даже не дублирует их ответы на русском языке, несмотря на заданные по-армянски вопросы. То есть медиaprостранство рассматривается его организаторами как в некоторой степени параллельно русскоязычное.

Зато ужасен радиоэфир, где «Русское радио» представляет Россию как страну эзков и избежавших отсидки воров, беспрестанно транслируя блатную безвкусицу, хотя жанр прилично перепозиционирован в российском теле- и радиоэфире в «шансон». То есть в то, что пели великие Эдит

Пиаф, Жак Брель, Мирей Матье и Шарль Азнавур. Неужели и это вот, льющееся из русского радиоэфира, пошлое мелкотемье — шансон? А реклама — Боже, какие же у неё пошлые шуточки! Впрочем, не только у них. Бывшая радиостанция «Маяк» вещает в определённые дни и часы уже по-китайски, но никак не по-русски. Зато «Голос России» почти каждый день представлен журналисткой Элиной Казарян, которая хотя бы из Армении на Россию вещает грамотно, адекватно и талантливо.

Есть в Армении Российско-Армянский университет, где, как ни странно, основной доктриной образования являются либеральные западные концепции, большинство преподавателей имеет антирусскую направленность, а на выходе выпускников предполагает антирусскую политическую позицию. И это инициатива не армянской, а российской стороны. Между тем Американский, Французский и Европейский университеты являются мощными пропагандистскими машинами «западных ценностей», и ничем иным, кроме генетической памяти и здравого смысла армянской молодёжи, не объяснишь отсутствия у неё нетерпимости ко всему русскому.

Более того: симпатии к русским заметны невооруженным взглядом по малым архитектурным формам у ресторанчиков и кафе, где присутствуют и Шурик со своим осликом, и весёлая тройка Вицина, Моргунова и Никулина, и даже Сестрица Алёнушка. Спрашивающие на русском языке дорогу или делающие покупки в торговых моллах и ларьках туристы никогда не сталкиваются с округлившимися глазами, а встречают радужные ответы, — пусть и с отклонениями от правил спряжения глаголов и склонения имён существительных, которым так хорошо обучали советскую детвору учебники армянина Бархударова с русским Крючковым.

В Ереване, Гюмри и Ванадзоре имеются специализированные книжные магазины русской литературы, а вообще она присутствует на полках всех без исключения книжных магазинов, число которых вновь стало расти после периода глобальных закрытий. Да, кстати, Гюмри и Ванадзор — это бывшие Леникан и Кировакан, и попробуйте с одного раза угадать, в чью честь были некогда в очередной раз переименованы.

Русскоязычных армянских газет и в России великое множество: это и общероссийская армянская газета «Ноев Ковчег», и газета «Забайкальские армяне», и «Вестник Армян Петербурга», и «Лусаворич» Волгоградской области, и «Еркрамас» Краснодарского края, и «Наири в Калининграде», и «Арагац» в Рязани, и «Аздарар» в Твери (кстати, газета с тем же названием издавалась армянами Индии ещё с начала XIX века), и многие-многие другие. То есть вековая традиция армянской диаспоры «Церковь — Школа — Газета» продолжает сохраняться, как и прежде. Помимо этого, электронные публикации большинства газет самой Армении (а их около 100) имеют кнопочку версий как на английском, так и русском языках.

Сегодня в Армении выходят четыре русскоязычные газеты, и старейшая из них — «Голос Армении», преобразованная редакционным коллективом в 1991 году из органа ЦК Компартии Армении в общественно-политическую. Именно сила традиции старейшего и сильнейшего коллектива, где сегодня работает в основном молодёжь, сохраняет за этим изданием авторитет и лидирующее положение на русскоязычном газетном рынке. Это газета-патриот, газета-государственник, остающаяся приверженцем приоритета армяно-русских политических связей. И возглавляет её со дня основания героическая женщина Флора Нахшкярян, которую в начале 90-х пытались прибить прикладами вместе с компьютерами редакции «тонтон-макуты» первого президента независимой от себя самой Армении.

Газета «Новое время» — и явление нового времени, неоднократно менявшая свой политический азимут, однако обладающая творческим коллективом людей образованных и хорошо пишущих. Большая часть полос газеты — дайджест иностранной прессы, повествующей о событиях наших дней или древней истории, так или иначе связанных с армянами и армянством, что обеспечивает ей неизменный успех в среде русскоязычной патриотической части населения. Да-да, я не оговорила: русскоязычные и русскочитающие патриоты в Армении — отнюдь не диковинка, как ни странно это может показаться человеку, не знакомому с армянским культурным феноменом патриотизма и иноязычности в одной упаковке по всем странам. Армяне Франции — патриоты Франции и Армении одновременно, аргентинские армяне умевают в своих пылких сердцах обе любви на равных — и к Аргентине, и к Армении, то же — в Уругвае, Ливане, Сирии, США и в других странах. И конечно — в России. Армяне вообще — государственники, рассматривающие свои крепкие семьи как матрицу и полигон прочного и надёжного государственного устройства. Не случайно в Аргентине дольше всех, с 1989 по 1999 гг., президентом являлся армянин Карлос Менем, в Ливане — аж три армянина: Камиль Шамун (1952–1958), Элиас Саркис (1976–1982) и Эмиль Лахуд (1998–2007), а в Сирии — Ален Хафез (1963–1966). В Бирме это был первый президент Ба Мао (Элиас Карапетян).

А в России — «вечный нарком» Анастас Микоян, разрешивший Караибский кризис. В надёжном тандеме с президентом Путиным давно работает разрешающий все на свете кризисы харизматичный Сергей Лавров, с надписью в метрическом свидетельстве о рождении «Калантаров».

Но вернемся к прессе. Газета «Республика Армения» — орган Национального собрания Армении, газета непопулярная, но необходимая для людей, получающих возможность знакомиться с государственными актами и политическим дискурсом в Армении исключительно на русском языке.

Все три газеты выходят трижды в неделю, и заявленный тираж — от трёх с половиной тысяч до тысячи соответственно.

До недавнего времени в Армении издавалась и газета «Собеседник Армении» на русском и армянском языках, но с кончиной замечательного редактора Жени Мартиросян и опалой финансировавшего газету московского предпринимателя Левона Айрапетяна «Собеседник», к сожалению, закрылся.

Но не думайте, что число русскоязычных газет Армении в результате сократилось. Или что печатная периодика представлена в нашей стране исключительно женщинами. В мае месяце здесь родилась электронная газета «Пятница» (urbattert.am), которая с конца сентября выходит в бумажной и электронной версиях. Название газеты, скорее всего, является простым совпадением с российским тезкой издания. Главный редактор — известный журналист, но не страдающий деспотическими повадками руководитель Микаэл Барсегян, сумевший создать интересный творческий коллектив. Уже по факту прочтений газетных статей на уровне 300–3000 каждая и количеству перепостов в социальных сетях видно, что газета полюбилась русскоязычным читателям Армении и за её пределами.

А теперь о «мягкой силе» — о возможностях влиять на страны и народы посредством распространения культуры и языка, проявления максимального дружелюбия в целях создания или укрепления союзнических отношений. Ну нет её со стороны России! Неужели потому, что армяне — и так свои? Но ведь и братьев можно довести до ссоры, в чём мы убедились на протяжении последних лет на примере трагических событий на Украине. Или дело в медленных оборотах российской бюрократической машины, которая со времени Указа восьмилетней давности Президента России ничего ещё не сделала для распространения своего культурного влияния не только на США и Европу, но и на Армению? Или всё здорово расписано по статьям расходов и распилено в кабинетах, ответственных за «мягкую силу» в Армении? Возможно — и то, и другое. А может — и что похуже.

При этом антироссийских провокаций на территории Армении — пруд-пруди, и самая последняя и трагическая — убийство семьи в приграничном с Турцией городе Гюмри. Как же кособоко повели себя российские СМИ! И ещё более кособоко — когда вышедшая на ереванские улицы с протестом против повышения цен на электроэнергию молодёжь была мгновенно названа «армянским электромайданом». Конечно, оказались неправы. И добившиеся выполнения своих требований юноши и девушки, побренчав на гитарах, придумав кучу креативных лозунгов (поливальным машинам полиции: «Поливайте — мы только вырастем!», российским СМИ: «Это не майдан, это — „Маршал Баграмян!“» и др.) разошлась с проспекта Баграмяна по домам — самоутвердившимися и по-прежнему, дружелюбными и весёлыми. Но жаль, конечно, — ох, как жаль! — что не поспорили мы тогда с кликушествовавшими российски-

ми коллегами на большие тотализаторные деньги. Выиграли бы, и не только в ценах на электричество.

Так что, если не считать мнения некоторых настоящих мудрецов на Олимпе российской политической мысли, имеющих чёткое историческое представление о древности русско-армянских отношений, налицо — мягкая негативная сила. Сила, отталкивающая армян сообщениями в викивральи о том, что Русь крестила не сестра императоров-соправителей Армянской Македонской династии Византии Василия-Болгаробойцы и Константина VII — первая русская царица Анна, — а Ольга, и при этом Анна упоминается как «греческая» царица. Подобных абсолютно ложных байтов в российском информационном поле — множество. И разумеется, это следствие и деградирующего во всём мире образования. Но в первую очередь — это следствие негативной либеральной силы, взявшей в свои руки обучение будущих журналистов, и в том числе — в святая святых образования, в МГУ, где недавно произошёл скандал на факультете журналистики, руководимом Вартановой. Кто она? Армянка? Армянская сноха? Во всех случаях, заданность либерального уклона в вузе страны, исповедующей патриотические (а значит, и дружелюбные к патриотам всего мира) ценности, не приносит чести ни армянам, ни русским.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», — написал великий русский поэт, живший и в Москве, и в Петербурге в жилых домах Армянской Апостольской церкви, которые так и назывались: Армянский дом. Боюсь, что современные политехнологии владеют предварительной оценкой влияния слова на умы неизмеримо лучше, чем гениальный Лев Толстой, считавший Тютчева даже лучшим русским поэтом, чем Пушкина. Лев Толстой, отпетый в армянской церкви и похороненный двумя сотнями людей, и согласно докладу начальника Петербургского охранного отделения, полковника фон Коттена министру внутренних дел П.А. Столыпину от 9 ноября 1910 года, — преимущественно армянами.

Не думаю, что русским и армянам следует что-то доказывать друг другу и приводить факты из биографий обоих народов и их великих сыновей. Но факт есть факт: биографии наши столь тесно переплетены, что рассечение будет смерти подобно, и для обоих. А пока нам «умом Россию не понять», в неё возможно только верить.

БЕСЕДЫ



Наталья Черных
(Россия, Москва)

Родилась в Москве, имеет высшее музыкальное образование. Автор семи книг стихов и прозы. Продюсер больших международных музыкально-поэтических проектов. Поэт, певица, теле- радио ведущая. Лауреат и обладатель Гран-при международных фестивалей авторской песни. Генеральный продюсер российско-французского фестиваля «Звучащий глагол» (совместно с Ассоциацией в поддержку русской культуры во Франции «Глаголь»).

Член Союза писателей Москвы, член-корреспондент Европейской академии искусств и литературы.

История одной судьбы

Встреча в студии радиостанции «Русский мир» — к 80-летию поэта, прозаика, драматурга, общественного деятеля Ларисы Васильевой.

Лариса Николаевна Васильева — советская и российская поэтесса, прозаик и драматург. Родилась 23 ноября 1935 года в Харькове в семье инженера Николая Алексеевича Кучеренко, одного из создателей серии танков БТ и Т-34. В 1958 году окончила филологический факультет МГУ. Печатается с 1957 года. Автор более двадцати поэтических сборников, многих мемуарных, публицистических и литературно-критических работ; также занимается переводами с английского языка. Основательница музея «История танка Т-34».

Я главного слова еще не сказала,
Грядущего с прошлым узлом не связала,
А значит, меня не догнали года,
и я — молода...

Эти замечательные строчки, эти слова принадлежат человеку, которого я с особым трепетом и радостью приветствую сегодня в нашей студии.

Н. Черных: *Здравствуйте, Лариса Николаевна. Честно говоря, очень давно хотела вас позвать. Нежно и давно вас люблю. Но вот получилось так, как получилось.*

Л. Васильева: Спасибо! Успели. (Смеются.)

Н. Черных: *Страна отпраздновала 9 мая и будет продолжать, наверное, праздновать ещё долго. Как вы видите, люди, которые этот праздник встречали и праздновали тогда, в 1945-м, и их ровесники — сегодня они сильно отличаются, они иные?*

Л. Васильева: Очень отличаются. И совсем такие же. Вы понимаете, у этого праздника есть одна особенность — чем дальше идёт время, тем он всё больше обрастает невероятными особенностями. Вот вы знаете,

такой был великий философ — Николай Фёдоров, у которого в идеологии была программа, что в будущем веке люди будут возвращать ушедших (умерших). И над ним смеялись, его считали сумасшедшим, что совершенно было естественно в его время. Но он оказался совершенно прав в двух смыслах: во-первых, действительно сейчас можно физически — клонированием — возвращать людей. Ну и другое появилось клонирование — появилось духовное, душевное возрождение людей. Ведь того, что случилась у нас на 70-летие — вот этот вот «Бессмертный полк»...

Н. Черных: *Это совершенно потрясающая акция. Двенадцать миллионов.*

Л. Васильева: Это Божий послыл. Несите родных! Возрождайте их!

И вот эта идея, которая в идеологии Николая Фёдорова заложена. И она... она будет разрастаться. Я звоню своему сыну и говорю: «Слушай, у твоего отца отец сидел в окопах, он был связистом. Найдите фотографии, приклейте её и несите!» А он мне отвечает: «А что, разве я не имею права нести фотографию твоего отца, который создал танк Т-34?» И я думаю: «Да». И Морозова. Он тоже создал. А Кошкин вообще до войны не дожил, но он умер за этот танк.

Н. Черных: *Лариса Николаевна, тот вклад, который ваша семья внесла в эту победу, наверное, переоценить сложно. Расскажите, уж раз вы про танк...*

Л. Васильева: Можно недооценить только.

Н. Черных: *Что с музеем?*

Л. Васильева: Музей возник стихийно. Я написала книгу об отце, и напечатали её в «Огоньке». Тот «Огонёк» ещё был очень популярный, один-единственный такой для семейного чтения, с продолжениями. Потом вышла отдельно книжка — «Книга об отце». Причём я пообещала эту книгу отцу, когда он умирал. Он умер в День танкиста, что тоже знак. И я решила, что я пойду и буду опрашивать его соратников. Он мне сказал: «Ты знаешь, они тебе ничего не скажут, — он умирает, но в полном сознании, мы разговариваем, — они люди своего времени, засекреченные, они тебе ничего не расскажут».

Я пошла... Действительно, он прав оказался: общие слова говорят, из них ничего не выжмешь. А одно время Симонов хотел сделать книгу о тридцатьчетвёрке (Константин Михайлович), я ему кое-что подготовила. Он мне сказал: «Я передумал, напишите вы. Женщине можно больше, выболтайте что-то, напишите книгу-провокацию». Я говорю: «Ну, это как-то так странно звучит». А он говорит: «Ну почему странно? Вот „Война и мир“ — провокация. Есть двенадцатитомник «Война 1812 года и русское общество», никто не читает, а четыре тома Льва Толстого — провокацию эту, — читают».

И я написала книгу-провокацию. Я написала: «Пожалуйста, не сочтите, что это рассказ про историю создания танка Т-34, но и не забудьте, что это рассказ про историю танка Т-34». И меня засыпали письмами.

Н. Черных: *Сегодня я вижу вас как проводника, осуществляющего связь времён. Да, это было тогда, это сегодня, а завтра будет что-то, что нам неизвестно ...*

Л. Васильева: Музей вообще вначале был в доме, в частном доме на даче... за ворота дачи выходишь, и начинается угол, откуда пошли танки Т-34, то есть откуда началось контрнаступление наше. И это тоже совпадает. Каким-то образом мне сама судьба велит: ставь здесь. Приезжает ко мне Гейченко, великий музейщик, который поднял Михайловское из руин. Он говорит: «Строй тут, не обращай внимания ни на что, музей вылезет, он выплеснется».

Н. Черных: *Вы по знаку Зодиака — Стрелец?*

Л. Васильева: Я сложная девушка.

Н. Черных: *Говоря языком астрологов, вы — Змееносец.*

Л. Васильева: Правильно.

Н. Черных: *Я тоже Змееносец. И кое-что про это знаю. Это люди, которые пришли в мир выполнить, если не говорить «высоким штилем», особую задачу. Вы писать начали достаточно рано и стихи ваши, помоему, даже Ахматова редактировала?*

Л. Васильева: Нет, она не редактировала...

Н. Черных: *Читала?*

Л. Васильева: ...читала раньше, чем я прочитала её стихи. (Смеётся.) Это так получилось.

Н. Черных: *Вы всегда осознавали то, что должны сделать «это»? И «это» — в каждое время, наверное, было другим?*

Л. Васильева: Вы знаете, у меня это называется отвратительный общественный темперамент. Я могла в определённых ситуациях своей жизни просто сидеть и красить ногти.

Н. Черных: *Это прекрасно!*

Л. Васильева: И заниматься собой. Но недолго. Я должна была куда-то бежать, кому-то помогать почему-то. Вот не далее, как сейчас, яехала, мне позвонил дядька, которого сняли с работы, и мне надо помогать его устраивать.

Н. Черных: *Это нормально. Это абсолютно нормально.*

Л. Васильева: Он мне совсем не нужен. Но он мне нужен.

Н. Черных: *А все люди братья. Это внутренняя установка такая...*

Л. Васильева: Да. И я должна сказать вам как Змееносцу, что мы не только Стрельцы, на нас ещё косые лучи кидает Скорпион.

Н. Черных: *О, да!*

Л. Васильева: И Змееносец ещё замечателен тем, что он видит далеко, а под носом не видит. Я всю жизнь ношу очки, и это у меня единственная косметика. У меня несметное количество оправ каких-то невероятных, притемнённых ...всяких.

Н. Черных: *Выглядят классно. Потрясающе.*

Л. Васильева: Да ладно, это ещё самые скромные очки. Но это моя косметика единственная. И всё-таки... близко не вижу — Змееносец.

Н. Черных: *Я тоже учусь смотреть вдаль. Иногда получается.*

Л. Васильева: Нет, я вдаль-то вижу много чего. Я знаю, что будет.

Н. Черных: *Это уже — отдельная история, потому что если уж мы вспомнили Анну Андреевну Ахматову... насколько знаю я, она всегда подходила к телефону за 20-30 секунд до того, как он звонил.*

Л. Васильева: Да. Ой, у неё масса была всяких заморочек.

Н. Черных: *У Вас тоже эти небесные диктанты, конечно, присутствуют в разных формах. Вот расскажите...*

Л. Васильева: А как же, а писать? Это и есть диктант. Кто я такая вообще, чтобы ещё стихи писать? Больше того, я вам скажу, я не люблю чужих стихов. Правда, это ещё ничего не значит, и я полюбила, у меня... я 10 лет в Литературном институте неизвестно что делала, вроде как преподавала, хотя, на самом деле, у меня ученики были правильные, но очень одарённые. И я их выбирала по глазам.

Н. Черных: *Расскажите, пожалуйста, как вы не пошли в Литературный институт, а пошли на филфак всё-таки. Это же потрясающая история с Марецкой.*

Л. Васильева: Да, она потрясающая. Вообще в моей жизни эта женщина сыграла очень большую роль. Я собиралась 10-й класс заканчивать, поступать в ГИТИС. Вера Петровна в отъезде. Мама беспокоится. Плятт говорит: «Ну, мы всё сделаем, конечно, она будет прекрасная характерная актриса». Маме это не понравилось, но она смолчала. Завадский поморщился и сказал: «Фщ, толстуха, в очках, голос у неё, как труба. Ничего из неё не выйдет». И я его до сих пор не люблю, хотя он был совершенно прав. И приезжает Вера Петровна. Она говорит: «Что? Лобзик, Лорик наш пойдёт в Театральный институт? Немедленно её ко мне!» Мы с ней заперлись, и она мне безжалостно рассказала свою жизнь. И закончила тем: «Ты имеешь свои собственные слова, ты можешь писать. Что там, какие твои стихи — это время покажет, но ты можешь, знаешь, как говорить свои слова. А тут всю жизнь чужие слова говорить!» И вдруг у меня всё поперекрутилось в голове.

Н. Черных: *Это величайшая мудрость — то, что она сказала. Величайшая.*

Л. Васильева: А я спрашиваю: «А как же вы?» Она говорит: «А что ты думаешь, мне не хотелось переписать Гольдони, Чехова?» Я даже сейчас слышу эту интонацию: «Че-хо-ва». Я как-то от того, что наши семьи дружили, вот после того, как мы из эвакуации приехали в Москву, моя семья и Веры Петровны, мне ничего не было интересно за пределами дома, потому что в доме всё было необычайно.

Мне приходилось много видеть ситуаций Марецкая–Раневская. Мы однажды вместе поехали в дом творчества Сухановой в гости к писатель-

нице Татьяне Тэсс. Я совершенно не интересовалась никогда её произведениями. И я сидела впереди, должна была поехать Маша, дочка Марецкой, но она не захотела и срочно заболела, и мы оставили её у нас, а я села рядом с шофёром. Сзади сидели Марецкая и Раневская. Можете себе представить, как бы сейчас облизывались люди: что они говорили? о чём? Мне это было совершенно неинтересно. Я смотрела по сторонам и думала о чем-то своём.

И потом я помню отношения Орловой–Марецкой. И это тоже каким-то образом мне пришлось наблюдать, однажды чуть не полдня. Об этом не написала... Вернее, ещё не написала, у меня пишется что-то, я Карену Шахназарову подбросила эту мысль про Марецкую. Называется скромненько — «Вера». Такое «многозначечное» слово.

А я сценариев не писала. Карен мне перезвонил и сказал, что это очень интересно, но больше ничего не сказал. И пока это висит. Так как у меня есть сейчас дела текущие...

...то я и не трогаю эту тему, но чувствую, что она моя, и мой Змееносец должен мне помочь пожить и рассказать...

Н. Черных: *Обязательно.*

Л. Васильева: Потому что этого никто, — того, что я могу сказать, — никто не может.

Н. Черных: *А у Змееносцев есть потрясающее качество — они очень быстро учатся, они чуткие, они слышат.*

Л. Васильева: Главное, мы не стесняемся, и мы уже вместе, раз мы Змееносцы. *(Смеются).*

Л. Васильева: Главное, что мы без амбиций.

Н. Черных: *Воистину!*

Л. Васильева: Вот это мне очень в себе... мне в себе далеко не всё нравится, но то, что я о себе слишком сильно не понимаю, это мне нравится.

Н. Черных: *Не по каждому поводу надо иметь мнение?*

Л. Васильева: Да.

Н. Черных: *И это классный совершенно постулат. Чтобы озвучить своё мнение, надо чтобы тебя спросили, что ты думаешь. И чтобы у тебя были знания по этому поводу. Потому что любое мнение зиждется на знаниях.*

Л. Васильева: Вы очень правильно выразились: «Надо чтобы тебя спросили». Вот есть вопросы, на которые я знаю ответы, я вижу, что никто не знает, а я знаю... Но меня никто почему-то не спрашивает.

Н. Черных: *И учителя есть по жизни, ведь то, что вы рассказали только что про Веру Петровну, это же тоже с неба знак ...не надо тебе туда.*

Л. Васильева: Конечно! И я тут же подумала... Главное, все сразу успокоилось. И возникла мысль про Литературный институт. А у отца

был друг Иван Фёдорович Попов, писатель, который был секретарём Ленина по Второму Интернационалу. Он вышел из партии в 1914 году... Но потом уже, в советское время, у него такая была пьеса «Семья» — про Ленина. Очень человеческая по сути своей, где не было такого вот кондового Ильича. И он дружил с моим отцом, потому что писал во время войны очерк о нём (о танкостроителях). И Иван Фёдорович сказал: «Вместе с Литературным институтом она ещё окончит общежитие Литературного института». А тут вы девку потеряете. Пусть идёт на филфак.

Н. Черных: *Вы никогда об этом не пожалели?*

Л. Васильева: Ой, что вы! Я не могу сказать, что я там училась, но там был Николай Иванович Либан — потрясающий человек! Я видела в своей жизни двух гениев — его и Михаила Трофимовича Панченко. Причём я видела очень знаменитых людей, которые считались гениями. Но я их почему-то так не ощущала. А эти были просто старшие преподаватели, один на филфаке — Либан, а Панченко на журналистике. Но это мировые разумы были.

Н. Черных: *Богом поцелованные люди. Я сегодня собиралась сюда и читала ваши стихи, честно говоря, всё утро. И не только я читала, читала их вся моя семья. И поэтому, если можно, Лариса Николаевна, почитайте...*

Л. Васильева: Деточка, что же вам почитать?

Люблю!
И всё на свете смею.
Люблю!
И больше нет меня.
Ты есть!
Скажи, в огонь сумею,
Живая выйду из огня.
Мир отступает суетливо.
Под каблуком земля горит...
А мама смотрит сиротливо
И ничего не говорит.

Н. Черных: *Здорово...*

Л. Васильева:

Я с тобой говорила сквозь горы и годы,
Я всегда говорила с тобой издали,
Я тебе подарила ощущение свободы
Ото всех замечательных женщин земли.
Не страдал и не плакал, не томился тоскою,
Не искал на дорогах, не скорбел в темноте.
Разве ты тяготился судьбою такою,

Разве сердцем тянулся к повседневной беде?
Ты стоял на вершине ослепительно белой,
Где стоять подобает не поэту — царю.
И в улыбке твоей удивительно смелой
Был полет в неизвестную людям зарю.

Н. Черных: *Раз уж прозвучало слово «чудо», не могу не задать вопрос: без Бога возможно ли чудо? Вера в чудо?*

Л. Васильева: Да, конечно, нет! Что значит, без Бога? Ведь вот нас в семьдесят лет официального безбожия... приучили к тому, что нету Бога, потому что Бога нет. И, соответственно, чудес тоже не бывает на свете. Бывают какие-то совпадения...

Н. Черных: *А если что и происходит, то оно случайно.*

Л. Васильева: Да, случайность или какая-то закономерность и материализм. Это так проело сознание человеческое... да ещё люди, потерявшие Бога, как-то в психике Бога... Они его всё равно не потеряли, потому что как начинают болеть — или в церковь, или ещё куда-то идут и начинают просить за себя.

Н. Черных: *Просить, но не делать.*

Л. Васильева: Да. Для меня этого всегда не было. Я всегда знала, что как это без Бога? Теперь я знаю, где находится Бог — везде. Повсюду. Вот в этом атомизированном мире он находится в каждой клетке.

Н. Черных: *Не помню, кто автор этого образа, но он потрясающий. «Что такое гармония? Гармония — это крест. Вертикаль его — человек-Бог, а горизонталь — человек-социум». Мы же в миру живём, и должны здесь как-то существовать и реализовываться. И только когда этот крест находится под углом в девяносто градусов, бывает гармония. Потому что одно без другого...*

Л. Васильева: Детка, ещё есть понятие «гармония» в отношении двух полов, которые только и есть на земле. Потому что все вот эти вот скоропреходящие партии, конструкции государственные, всё это уходит в историю и становится ничем.

Н. Черных: *Остается пустота.*

Л. Васильева: Остается он, она и ребёнок — ради чего мы и живём.

Н. Черных: *У вас удивительное сочетание мужского и женского начала. Уж раз вот мы на эту тему заговорили, вот это, наверное, и есть у женщины, в хорошем смысле, самодостаточность? То есть это вот равновесие между логикой, умом и всё-таки чувствами и женским каким-то началом. Я знаю, что вы много на эту тему писали...*

Л. Васильева: Я писала и говорила. У меня есть даже такое понятие «комплекс полноценности».

Н. Черных: *Хорошее понятие.*

Л. Васильева: У меня никогда не бывает страданий, что я там что-то не хороша в графе «лучше всех». Но я об этом не думаю. Понимаете? Я просто действую, живу и все. И мне это совершенно не интересно, если я кому-то не... Я помню, когда стихи мне возвращали, потому что там не было Ленина, партии, нашего современника, а какая-то ля-ля любовь и философия. Я думала только одно: «Бедные ребята, они не берут эти стихи».

Н. Черных: *Недавно услышала чудесный романс на ваши стихи «Я думаю о вас ночами». Прекрасные стихи, но... умные! Они, может быть, простите, слишком умные для того, чтобы быть песенными, да?*

Л. Васильева: Вы знаете, вы сейчас говорите странные, но очень мне интересные вещи. Потому что у меня... были отношения с композиторами и много песен было, но они не стали шлягерами. Одно моё стихотворение — песня, специально задуманная — «Вологодские кружева», имела четырёх композиторов. И шлягером из эти четырёх не стала ни одна. Я однажды Бокову говорю: «Виктор Фёдорович, можешь ты мне объяснить, вот не пошли „Вологодские кружева“, а пришла какая-то... и сочинила ахинею „Вологда, Вологда, Вологда гда“ — и поют?» Он говорит: «Могу. У тебя в стихах мало пошлости». Я говорю: «Чего? А как же Вы? „Оренбургский пуховый платок“, „На побывку едет молодой моряк“, „Володенька, Володенька“, „Коля, Коля, Николаша“?» Он говорит: «Дорогая, ну я — знаменитый пошляк». Он был очаровательный человек редчайшего таланта.

Н. Черных: *Кого бы вы выделили из сегодня живущих или недавно ушедших людей, которые были в вашей жизни знаковыми, изменили мировоззрение, заставили на что-то обратить внимание?*

Л. Васильева: Вот я уже их назвала: Николай Иванович Либан — филологический факультет, старший преподаватель (они диссертаций не защищали, они считали, что это отнимает время); Михаил Трофимович Панченко — тоже старший преподаватель, но он на журналистике. Это были два гения. И я видела очень много знаменитых людей, и называли их гениальными и мудрыми, и они были мудрыми все, что угодно, но не отдам я ни одного из них ни за какого академика. Или Григорий Сковорода — величайший философ! Европа отдыхает.

Н. Черных: *Лариса Николаевна, что бы вы пожелали сегодня себе? Что вам сегодня могло бы доставить радость?*

Л. Васильева: *(Смеётся.)* Я вспомню «Мастера и Маргариту», когда Воланд спрашивает её: «Чего ты хочешь для себя?» — «Вот сейчас же, сию минуту дайте мне моего любимого Мастера». А я сейчас хочу одного — чтобы мне достроили музей. Единственный в мире музей истории танка Т-34. Танк эксплуатировался в прошлом, в настоящем, в будущем, как угодно, а музей никак не достроят. И это главное, что меня волнует.

Н. Черных: И, наверное, последний вопрос: что бы вы пожелали России сегодня? Москве, России, россиянам?

Л. Васильева: Я желаю России, вот как в начале века, когда царь от- казался от престола, в этот же день была приобретена икона «Держав- ная». И через некоторое время Россия стала по-другому называться, она стала лечить раны, в ней было много ужаса, как в России всегда было, и много света, как в ней тоже всегда было. И я хочу, чтобы прекратились эти уродства, которые сейчас существуют, чтобы это вот твоё, моё или независимость... Что такое независимость? Все люди в мире зависимы друг от друга.

Н. Черных: Благодарю вас и с надеждой говорю о том, что скоро мы встретимся в этой студии вновь. А сейчас – стихи...

Д. Васильева:

Не верьте, что поэт — звезда,
 летающая невеста куда,
Непредсказуемое чудо,
 летающее невеста откуда...
И всё-таки, поэт — звезда,
 летающая невеста откуда,
Летающая невеста куда,
 непредсказуемое чудо.

ПО СЛЕДАМ НЕМЕРКНУЩИХ СОБЫТИЙ



© Художник Елена Любович

Наталья Богдановская
(Франция)

Король Lire¹

Я могу исчезнуть, не оставив адреса, но при этом вы будете знать, что я всё ещё могу ходить среди вас на своём пути скитальца по миру.

Жорж Уитмен

Жорж Уитмен смотрит на привычную осадку туристами своего магазина англоязычной книги *Shakespeare and Company* теперь уже только с открыток — на стенде перед входом. Вот, на чёрно-белой, он стоит на пороге, высокий, худой, с нестриженной шевелюрой и спутанной бородкой «клиннышком»: снимок 50-х годов — когда магазин еще назывался «Мистраль». На открытке с цветной фотографии, полвека спустя, в сидящем на скамейке старце легко узнаётся всё тот же «книжный червь» Жорж — герой, а иногда и автор легенд о себе. Те из них, в которые особенно трудно поверить, оказывались правдой: да, он мог вышвырнуть из своего окна на третьем этаже скучную книгу, нимало не заботясь, упадёт ли она кому-нибудь на голову. Да, он рисковал и своей собственной головой, когда демонстрировал для любительской съёмки экономичный способ стрижки волос: пламенем свечи.

Он давал приют бездомным писателям в обмен на страницу их автобиографии, два часа помощи в магазине и плодотворную работу над их книгами в остальное время: за старой пишущей машинкой, которая хранит множество отпечатков пальцев теперь уже известных в литературе имён. Некоторые из этих имён вспоминают, что Жорж мог приютить и клошара, отдав ему подвернувшийся топчан ничего не подозревающего поэта. Даже Джони Депп был «спущен с лестницы» под влиянием настроения: может быть, Джони отказался пить вино, сервированное в старые консервные баночки из-под тунца?

Совершенно точно, старик Жорж не интересовался масс-культурой и не знал в лицо её ярких представителей: он сознательно не имел не только телевизора, но даже интернета. Уже в век Всемирной Паутины он продолжал заказывать книги по почте, а банковскую карту использовал только для того, чтобы открыть замок захлопнувшейся двери. Каждое утро он готовил постояльцам блины по своему фирменному рецепту, экономичность которого заключалась в клее из остатков теста для мелкого ежедневного ремонта.

Его гостеприимство конфликтовало с застенчивостью, и последнее нередко побеждало, как в случае, когда пригласив на ужин Сэмюэля Беккета, хозяин растворился в лабиринтах стеллажей с книжкой в руках.

¹ *lire* (франц.) — читать

История умалчивает, были ли это пьесы гостя-нобелевского лауреата, или иной, внезапно завладевший воображением Уитмена классик.

Кстати, исключительно плоду воображения приписывают родство Жоржа с американским поэтом и публицистом XIX века Уолтом Уитменом: источники пестрят вариациями от внучатого племянника до внука, но биографам здесь удалось сойтись в единодушии — никакие родственные узы этих двух Уитменов не связывают. Не стоит искать в его генеалогических корнях и родство с соотечественницей Сильвией Бич на почве преемственности Дела Жизни и собственно его названия *Shakespeare and Company*.

Вопреки таинственному шёпоту экскурсоводов-любителей, в этих средневековых подвалах не спрятан прах классика модернизма Джеймса Джойса, а если это и так, то только в виде изданий его «Улисса».

Джойс имел самое прямое отношение к лавке *Shakespeare and Company*. Он часто бывал там в те годы, когда Жорж Уитмен ещё ходил в колледж в Бостоне. 17 ноября 1919 года магазин-библиотеку с таким названием открыла в Париже американка Сильвия Бич (оно пришло ей во сне). Находился этот книжный Клондайк на улице Одеон. Это было второе место, после салона на улице Флёрюс, где встречались англоязычные писатели, объединённые определением Потерянное Поколение. Это меткое сочетание было подхвачено и удачно брошено в свет знаменитой Гертрудой Стайн.

Но те, кто читал «Праздник, который всегда с тобой» Хэмингуэя, знают, что авторство этого понятия принадлежит не ей, а неизвестному владельцу ремонтного авто-гаража: так он, извиняясь, в сердцах обозвал своего механика, только что вернувшегося с фронта и что-то напортачившего с «Фордом» мецената и безжалостного критика — мисс Стайн. Когда она вернулась на отремонтированном автомобиле к себе на улице Флёрюс, 27, авторство прославленного определения «*Une génération perdue*» логично перешло от неизвестного к известной...



© Фото Бориса Гесселя

« — Вы все — *une génération perdue!* Вот вы что такое. Вы все такие! — сказала мисс Стайн. — Вся молодёжь, побывавшая на войне. Вы — потерянное поколение.

— Вы так думаете? — спросил я.

— Да, да, — настаивала она. — У вас ни к чему нет уважения. Все вы сопьётесь...»

Эрнест Хэмингуэй, фаворит Гертруды Стайн, спасался в её литературном салоне с щедро накрытым столом от голода своих первых непростых писательских лет, а от голода литературного его спасала Сильвия Бич стопками редких книг в кредит, среди которых были и русские классики. «Никто не относился ко мне с такой теплотой, как Сильвия». Предприимчивой соотечественнице писатель посвятил несколько ярких строк в своих «парижских» мемуарах. В 1922 году именно Сильвия Бич первая опубликовала запрещённый в Америке роман Джеймса Джойса «Улисс». После этого, как говорится, Джойс «проснулся знаменитым».

«Шекспир и Ко» Сильвии Бич на улице Одеон, дом 12 закрылся в один день, во время оккупации Парижа. Говорят, что она отказала немецкому офицеру в продаже последнего экземпляра книги. Большинство источников находит след Сильвии в лагере.... Так или иначе, она выжила, но книжный магазин не восстановила.

В начале 50-х она познакомилась с сорокалетним американцем Жоржем Уитменом в его только что открытом магазине англоязычной литературы «Мистраль» на улице Бушри, что напротив южной стены Нотр-Дама. О себе этот высокий худощавый американец в кашемировом пиджаке был немногословен. В молодости он много путешествовал, неизбежно предпочитая всем достопримечательностям книжные лавки. Военная служба дала ему возможность продолжить по специальной международной программе обучение в Парижском университете. Он снял крошечную комнатку в мансарде (метраж которой нынче официально запрещён к сдаче в наём, но в обход закону продолжает радовать престижным парижским адресом студентов и эмигрантов). Эту комнатку он, по скошенным стенам, до самого, пышущего летним жаром и открытого зимней промозглости крыши-потолка, заполнил англоязычными книгами, купленными по бросовой цене или подобранными на руинах частной библиотеки, обессиленной хлопотами от упавшего наследства. Собранное предприимчивый Уитмен успешно продавал втридорога и, спустя некоторое время, скопил необходимую сумму для покупки одного этажа в средневековом здании, где когда-то был монастырь. Над входом немедленно появилась вывеска «Книжная лавка „Мистраль“». Это название просуществовало лишь 10 лет, после чего в 1962 году (400-летие Шекспира и год смерти Сильвии Бич) сменилась на «Шекспир и Ко». Было официально объявлено о «благословении Сильвии» и «продолжении традиций»... Неизвестно достоверно, дала ли Сильвия Бич своё

благословение и разрешение на использование её, как бы теперь сказали, «бренда». Традиции, ею основанные, продолжатель взялся блюсти на радость молодых американских писателей, и, как рассказал один очевидец, в те времена и на пользу (практические советы-адреса-явки) тем пацифистам (хотя на родине их официально называли иначе), кто хотел избежать участия войны во Вьетнаме....

Ну а что же, кроме книг, было в жизни Жоржа Уитмена? — спросит любознательный современный читатель. Неужели писатели-романтики ничего не разбудили в его сердце?... Да. Всё-таки это произошло. В 67 лет Жорж Уитмен встретил (и мы, конечно, догадываемся — где) читательницу — английскую художницу, с которой он, вопреки всем своим неприятиям административных нормативов, заключил законный брак. В начале 80-х в молодой семье родилась дочь, названная (в традициях?) Сильвией. Девочка росла в обстановке, приближенной к «хипповской»... Сохранились воспоминания двух молодых людей, случайно зашедших в лавку: «Было много народу, хозяин магазина безуспешно пытался успокоить пятилетнего ребёнка. Когда мы вошли, он вручил нам девочку с вопросом, не предполагающим отказа: „Вы можете с ней погулять пару часов? Я дам вам книги бесплатно“. Мы взяли девочку и ушли с ней в ближайший парк...»

В наши дни от этого рассказа у некоторых родителей пошёл бы мороз по коже. Но Жорж Уитмен жил по своим законам. Вскоре после этого случая мать Сильвии увезла дочь на родину Шекспира... Связь с «безумным отцом» была прервана на двадцать лет... Чувствовала ли Сильвия себя Корделией, читая в подлиннике Шекспира? Возможно. Ведь классики вечны своими темами... Так или иначе, но спустя годы Сильвия в свои университетские каникулы приехала к отцу. Приехала сюрпризом. Думала, будут объятия, слёзы, признания... Увы, Жорж Уитмен не славился открытостью чувств. Будь на месте Сильвии экзальтированная особа, встреча могла бы быть последней... В свои следующие каникулы она стала более осмотрительной: предупредила отца о своём визите и была вознаграждена отеческим вниманием: Жорж представил её завсегдатаям как... «Эмили, лондонская актриса». Сильвия приняла правила игры отца и попыталась понять и его правила жизни. Это оказалось непросто: Жорж никогда не говорил «по душам». Но... как там, в «Короле Лире»? «Совсем не знак бездушья — молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри».

Доказательство этому Сильвия случайно нашла в архиве отца: обувную коробку, полную нежнейших неотправленных писем к ней... Наверное, именно в этот момент она окончательно поняла, что Жорж нуждается в её поддержке и сдала обратный билет в Лондон. Тогда, двадцатилетняя, она не знала, сколько дней она останется в Париже, чтобы помочь 90-летнему отцу. Теперь она может сказать: это — навсегда. Однажды утром она увидела на аспидной доске цитат новую надпись, сделанную нетвердой рукой Жоржа: «...Раньше в этом средневековом здании был монастырь. И

каждый вечер монах зажигал фонарь. Я зажигаю фонарь любви к книгам уже более пятидесяти лет. Теперь я передаю этот факел моей дочери». Но, как и Король Лир, он не мог не усомниться в своей дочери. Сильвия вспоминает: «Я как-то, не спросясь, переместила стеллажи с русскими писателями. Отец возмутился: — Как ты могла! Это же романтическая литература! — Да, и что? — Книги стояли на стеллажах, где были проёмы, сквозь которые, читатели Достоевского могли видеть читательниц и, возможно, влюбляться в них!». Место каждой книжки имело здесь своё предназначение и свою, известную только Жоржу, тайную миссию.

«...Вместо того, чтобы быть добропорядочным торговцем книгами, я больше похож на лавку разочарованного писателя, в которой комнаты, как главы в романе. Дело в том, что Толстой и Достоевский для меня более реальны, чем соседи».

«Техническая революция», которой Сильвия пыталась ассимилировать книжный в XXI веке, встречала резкий отпор отца. На хрупкие плечи природной блондинки, на её серафический облик легло всё: от замены электрической системы времён, наверное, ещё Эдисона, до сортировки архива, в котором исторически ценная переписка порой оказывалась в старом пакете чипсов, а резюме желающего работать в книжном могло быть склеено с рекомендательным письмом останками таракана. Через борьбу, споры, обиды и примирения с отцом, Сильвии удалось вдохнуть струю нового времени: она создала литературный фестиваль и литературные чтения, известные теперь на весь мир. Жорж уже не спорил с ней, и Сильвия, достаточно изучив его характер, снова прочитала в этом молчании параллель из «Короля Лира»: «Не будь со мной строга./ Я стар и безрассуден»...

«Оглядываясь на полвека назад, я как парижский торговец книгами вижу эти годы, как никогда не кончающуюся пьесу Уильяма Шекспира, где все Ромео и Джульетты навсегда молоды, а я превратился в восьмидесятилетнего старика, который, как Король Лир, медленно теряет разум».

Когда Сильвия официально приняла права на книжный магазин «Шекспир и Ко», Жорж уединился в своей комнате на третьем этаже, где, кроме стеллажей, помещалась только кровать, на которой, среди книг, едва помещался Жорж... Он полностью отошёл от дел и окончательно ушёл в чтение книг. Когда-то Френк Синатра советовал одному своему другу: «В Париже обязательно зайти в магазин „Шекспир и Ко“. Ты встретишь там уди-



© Фото Бориса Гесселя

вительного типа — это Жорж. Он живёт среди книг, и живёт книгами...». Жорж Уитмен и умер за чтением, два дня спустя после своего 98-летия.

«Я могу исчезнуть, не оставив после себя никаких материальных богатств — только несколько старых носков и любовных писем и мои окна, выходящие к удовольствию всех вас на Нотр-Дам, а также мою маленькую лавку старьевщика, в сердце которого девиз „Не будь негостеприимным к незнакомцам — как бы они не оказались переодетыми ангелами“».

Законы книжного магазина «Шекспир и Ко» соблюдаются и по сей день: начинающие писатели имеют право бесплатно ночевать в книжном магазине, за это они обязуются два часа в день отдавать работе в лавке, а оставшееся время посвящать своим произведениям и, непременно, страницу своей биографии, которая остается в архиве «Шекспир и Ко». Благодаря последнему правилу мы можем визуально предположить количество писателей, прошедших через вдохновляющую творческую обстановку этого места: 30 тысяч за 65 лет...

Белокурый, с голубыми глазами и белесыми ресницами юноша, с резвостью своих двадцати с хвостиком лет, спускается по приставной лестнице с охапкой книг. «Джеймс. Как Бонд, — весело представляется он с заметным английским акцентом, — я здесь живу на время каникул. Работаю два часа в день, потом пишу эссе о связи музыки и литературы. Через две недели возвращаюсь в Оксфорд — ещё год остался учиться... Знал ли я Джона Уитмена? Нет. К сожалению, он умер в 2011...» С верхней полки падает книга Генри Миллера. Джеймс задумывается, подыскивая слова... «Это бывает время от времени. Говорят, что призрак Жоржа бросает книги!».

Конечно, это только легенда, но кто знает, может быть, он и теперь правит своей книжной лавкой, которую Генри Миллер назвал «страной чудес из книг»...



© Фото Бориса Гесселя

Серафима Позднякова
(Россия, Москва)

Учусь в художественном институте, занимаюсь эмалями, литьём из металла. С 2010 г. состою в Московском Объединении Художников и Международном Художественном Фонде (секция графики). Прежде не публиковалась.

Истории давние и недавние

Большое счастье, то, что мой род не восходит к столбовому дворянству, иначе бы голос дворянской крови говорил: пора, пора тебе, девушка, замуж.

Об одном из самых интересных предков я слышала от бабушки, это романтическая история о том, как явился некий писатель и поэт и склонил к супружеству дочь благочестивых купцов. Согласия на брак они не давали, и трудно пришлось бедной девице Шмыровой в замужестве за поэтом Логиновым-Тихоплёмцем. Тихоплёмс был дружен с Максимом Горьким, внешне они были похожи. Относился к крестьянским писателям, был вхож в литературные круги Москвы начала XX века, которые собирались в знаменитом доме Телешова, недалеко от Хитровки. Особого доверия к этим рассказам не было, пока папин двоюродный брат Михаил Лалашвили (о нём отдельная история) не поехал на Пасху на кладбище чинить памятник. Тогда он прислал снятый на телефон памятник с фотографией Михаила Логинова-Тихоплёмца, а похоронен он на Пятницком кладбище. Надпись такая: «Писатель Логинов-Тихоплёмс Михаил Николаевич 1871–1912 г. 6.10.», творческого вида, и внизу другая фотография и подпись: «Логинов Николай Михайлович 1906–1956 г. 25.9.», стогогий человек в пиджаке и при галстуке.

Про Тихоплёмца сохранились литературные воспоминания Льва Клейнборта.

«...Ещё зимой он держался на одном месте. Но только прилетали грачи и начинало греть солнце, Тихоплёмс не противился свету и теплу.

— Надо собираться на Волгу.

Начинал мечтать, становился беспокойнее. Семья полуголодала, ютятся где-то в подвале. Но он всё-таки уезжал. В молодости, когда судьба выкинула его из родной деревни, он босячил, мыл посуду в трактире, работал в аптеке и т.д. Позднее выдумал средство для склейки посуды, назвав его «фарфорином». Как только начиналась навигация, в душу Тихоплёмца закрадывались зовы, он занимал где-нибудь пять рублей и покупал на них фарфоровые соединения и билет до Рыбинска. Себе на жительство он оставлял гривенник.

В Рыбинске на берегу варил «фарфорин» и нёс торговцам. К вечеру у него были деньги, которые и отсылал жене. Шёл ночевать на пароходную

конторку и там, примостившись на краю стола, в холоде и дыму махорки писал рассказ. Волжские газеты его печатали, но платили копейку-две за строку, и он никогда не протестовал. Так плыл он по Волге, варил «фарфорин» и писал рассказы. Пробовали оставить его где-нибудь в Казани или Самаре, но Тихоплёсец отказывался:

— Не могу. Мне надо вниз.

Лишь раз изменил он Волге. Как-то от дяди достался ему мыловаренный завод. Продал он его за 400 рублей и оторопел, увидев в руках такую большую сумму денег. Решил уехать с ними в Париж с целью поступить там в дворники. Почему именно в дворники, он сам не знал. Приехал — ни ласки, ни привета в чужом городе. Никуда из номера не выходил. Играл всё время на гармонике, сидя на окне. Ведь он и языка не знал. Когда дошёл до нищенства, то был препровождён консулом в Россию»¹.

Тихоплёсец — это литературный псевдоним, сама семья Логиновых после него была очень большой.

Другая ключевая фигура преданий — это моя прапрабабка Женья, в детстве я с ней пересекалась, мирная и приятная старушка. Фамилия её — Мурашко, история её таинственная. Она и муж её работали в Кремле неизвестно кем, существует предание, что она один раз чуть не отравила Ленина угарным газом, подложив дрова в печку с закрытой заслонкой, чистая случайность. Покашлял и прошло. Адрес их квартиры был такой: Москва, Красная площадь, дом 2, он и сейчас стоит на том же месте, если пройти под арку дома напротив Исторического музея, только пройти не удастся, потому что несколько лет назад навесили железные ворота.

Потом история была ещё интересней. Все документы бабы Жени пропали в войну. Прошло время, и она слышит по радио, как одна женщина, увешанная званиями, рассказывает как она работала в Кремле, как жила на Красной площади дом 2, и... называется её именем.

Ну, время было такое, все молчали, и она молчала и спокойно жила долго и счастливо, у неё было четверо детей. С той квартиры сохранилось одно кресло, старая рухлядь уже, перетянутое раза три, это кресло сыграло шутку с детьми бабы Жени. А может, это проявился творческий характер Тихоплёсца? Одна из её дочерей, тётя Люда, всё детство простояла на голове на этом кресле, очень удобно держась за ручки. И стала... акробаткой и воздушной гимнасткой, заслуженной артисткой Аджарской АССР. Её муж был заслуженным артистом Грузинской ССР, сын их продолжил династию воздушных гимнастов и танцоров на проволоке, вот он и есть Михаил Лалашвили. Стоит ли говорить, что и его дочь выступает на цирковой арене в разных странах?

Это родственники с папиной стороны, теперь с маминой. Давным давно жил татарский, вроде князя, бэк. Поэтому маминого прадедушку

¹ Лев Наумович Клейнборт. Очерки народной литературы (1880-1923). Беллетристы. Факты. Наблюдения. Характеристики. — Л.: Сеятель, 1924.

так и звали: Бэк. Наверно, всё-таки, Мухаммед Бэк. Мамин дедушка был, соответственно, Шеукет Бэк Мухаммедов, чистый сирота, как ветер в поле. Потому что этот очень богатый Бэк бросил жену с тремя детьми и, по семейному преданию, исчез с новой женой, прежняя жена покончила с собой. Осталось три брата сиротами, и отправились они в детдом.

Мамина бабушка была яркой красавицей с чёрными глазами, а мамина прабабушка была ещё более красивой, с ещё более чёрными глазами, такими, что прадедушка не мог устоять перед тем, чтобы на ней не жениться. Прежде засылали сватов родители. Прадедушкины родители просватали ему очень богатую невесту, и вот едет свадебный поезд, прадедушка садится к кучеру и говорит: «Давай я буду править». — «Давай». Берёт поводья, едет вперёд, потом на скорости поворачивает коней, едет в противоположную сторону и... женится на этой Татьяне. У них родились три дочери, которые прожили долгие и странные судьбы, одна из них, моя прабабушка, оставила воспоминания, слишком семейные, слишком интимные, чтобы становиться достоянием других людей.

Быстрая решительность была дедушкиной чертой, одна из историй такая. Много лет назад в советское время в роддомах было вредительство: младенцам мужского пола вливали кровь с другим резусом, и они погибали, никто не знал почему, проболталась медсестра. Бабушка лежала на кровати, когда медсестра спросила — а от этого ли мужа ребёнок? Бабушка разогнула ногу, и медсестра больно ушиблась, обидевшись, сказала: «Если бы был от этого мужа, тогда бы ему вливали другую кровь, а эта несовместима, ещё немного, и он умрёт». Бабушка подумала немного, и вот дедушка, в военной форме, залез по водосточной трубе на третий этаж, прошел по карнизу, забрал, попросту выкрал сына, и тот остаётся жив. А другие дети умерли.

Сын для дедушки (не забывайте, дедушка был мусульманин) был очень важен для сохранения фамилии. Когда у него родилась первая дочь, он был рад, когда родилась вторая дочь — он повернулся и ушел. Тогда прабабушка ему черкнула и бросила записку: «Много девок не беда, много девок — ерунда». Он вернулся, а когда увидел дочь воскликнул: «Да какая же ты хорошенькая!» У неё были ярко-чёрные глаза, она окончила философский факультет МГУ, сын её стал дипломатом.

Очень интересны истории, как они все женились и выходили замуж. Моя бабушка Нина вышла замуж по вдохновению. В студенческие времена 70-х годов студенты брали лодки, палатки и отправлялись в каникулы, отпуска и праздники в походы. Вот такая картина: перрон, на один поезд садятся студенты одного института, а на другой поезд садятся студенты другого института. Тут моя юная тогда бабушка видит небесного красавца с голубыми глазами, но он же уедет... Юная бабушка говорит друзьям: «Пока, я с ними!», — переходит платформу, говорит тем, дру-

гим: «Привет, я с вами!». Роман закрутился странный и сногшибательный, это же решиться надо!

Дедушка страдал изобретательством, а бабушка разрисовала все двери и потолки, хотя художницей она не была. Художницей стала мама, и папа тоже стал художником, папа неизвестно почему, а мама в силу обстоятельств.

Так, про самого главного члена семьи я просто обязана рассказать, потому что он самый настоящий герой, а в родословных, по крайней мере, в портретных галереях, героям самое почётное место.

Папин дед Евгений Агафонов пришёл в Петроград из деревни, имея один серебряный рубль. Он поступил в инженерную академию и стал военным инженером. Он налаживал «Путь жизни» в блокадном Ленинграде. Участвовал в битве за Москву. В 1942 году Рокоссовский отдал распоряжение, кто из командного состава из участвующих в битве за Москву останется жив — им дать в этих местах по участку земли.

Прошло несколько лет, закончилась война, и появился возле станции Крюково посёлок «Красный Воин», в котором прошло и моё детство. Деда Евгения жена, баба Роза, в войну была медсестрой. Мы недавно нашли в чемодане автобиографию деда и узнали, что до войны у него была другая семья в Гатчине, жена была из фамилии Фельтен, дочь егеря — начальника Императорской охоты. Скорее всего, члены его предыдущей семьи погибли в блокаду, он про них никогда не рассказывал, и никто бы не узнал, если б не нашлась от руки написанная им самим биография...

Дина Тарди

(Россия, Москва)

Член Творческого Союза Художников России, журналист.

Праздность, ссылка и роман: Николай Солодовников

Книгу принесла Радомская. Стихи Александра Солодовникова уже проскакивали, как полевые цветы, то здесь, то там. Тихо и незаметно они находили маленькую трещинку и расщелинку — и появлялся нежный цветочек. Про его брата никто не знал, а был брат — Солодовников, который писал книгу. Конечно, в ссылке: 1935 год. «Он был туберкулёзный» — я вымыла руки — книга называлась «Побег». А как вы думаете, если бы вы сидели в ссылке в Тюмени и писали книгу, как бы вы её назвали? вот так бы и назвали, и никак иначе она бы не называлась.

Ты красotka пряха,
знай себе, пряди;
на мужчин лукавых
зорко не гляди.

Старинная русская песнь

Литератор вгрызается в текст, а художник? Смотрит картинки. Все главы начинаются с рисунков, фронтиспис украшен, но как? представьте: ссылка, полярная ночь, и ничего. И ничего нет горячее чая, и ничего нет более разноцветного, чем чайные бумажки, и не простой чай, а разных сортов: «Чай китайский Центросоюза. По особому заказу к-ры „Бакалея“ Наркомснаба СССР, Москва» — сине-зелёная бумажка; «Чай индийский первый сорт. № 105» — ничего себе, сто пять сортов; «Чёрный байховый. Второй сорт» — этот, наверно, не слишком вкусный, да и зачем ссыльным первый... Вот и первый: «Чай китайский. № 1. Москва. Чайное отделение Центросоюза. Чистый вес 50 гр. Подделка этикеток и продажа выше этикетной цены преследуется» — этикетки нельзя, а чай можно; «Чай явский. Второй сорт»... если все сидели, то кто же занимался чайной торговлей с



© Фото Дины Тарди

Явой и Китаем?.. Тот, кому положено в Центросоюзнаркомснабе, тот и занимался... «Чай чёрный байховый. Второй сорт. Чистый» — а те тогда что? те были не такие чистые... Тут картинка с рисунком гор, похожи на Казбек; «Чай кирпичный чёрный» — кирпичный — это не из толчёного кирпича, можно же и так подумать, а просто спрессованный чай, будто склеенный, кусок отковыриваешь ножиком, и в железную кружку, и кипятком. Обёртки наклеены, вот и готов фронтиспис.

Рукописные книги существуют в одном экземпляре, когда пишутся. И вот эта писалась так же, в одном-единственном экземпляре, одним-единственным человеком, и обложка её в цветочковый ситец, и золотой краской на ней вензель наложенных букв НС — Николай Солодовников. А в книге — другой вензель, карандашный, на вклеенном листочке — АС; это Александр, друг-брат-поэт, они переписывались.

Постный колокол
звонит. Пост.
От зари душа грустит
и до звёзд.

А. Солодовников

Большая, размером, как нотный альбом — кто-нибудь видел нотный альбом? — сшитая из надвое сложенных листов бумаги, размечена карандашом по линейке, писана фиолетовыми чернилами сразу набело с по-марками, если белым можно назвать сероватую бумагу (...второй сорт... а зачем ссыльным первый сорт...). Самая красивая иллюстрация... Если вас спросят: выберите самую красивую иллюстрацию — вы будете долго выбирать, а потом скажете: я не могу выбрать одну. Вам тогда скажут: выберите тогда две. Тогда уже несложно выбирать, ведь они могут не только не походить одна на другую, а быть противоположными по цвету и сюжету.



© Фото Дины Тарди

Я выбрала луну в венке из цветов и вид гостиниой, Марья Васильевна выбрала одну иллюстрацию с чёрным котом, а другую с сияющими, как солнце, пасхальными яйцами. Михаилу Сергеевичу понравился звонарь в золоте заката на колокольне, а Савве Евгеньевичу понравились четыре человека с руками, сжатыми в кулаки, причём каждый из них разного цвета и обведён красными чернилами.

«Глава 15-я. Страшные сны Григория. Утром молва сломя голову бежала по улицам. Она насккивала на прохожих, сшибала их с ног. Она вбегала в дома, заскакивала по дороге в лавки».

Побег куда?, да и куда убежишь? а от реальности да в другое время, в XIX век. Это рассказывала Радомская, и оставалось делать умозаключения о жизни ссыльных — озлоблены ли, сломлены ли? Не раздавлены, не сломлены, предаваясь праздности пишут романы и рисуют безмятежные картинки: окно, дымящаяся папироса, тропический цветок и церковь. Писателя хвалят:

«Отзыв литературоведа професс. Алексея Владимировича Чичерина Дорогой Александр Александрович. Присоединяюсь к генеральским поздравлениям. Сообщаю Вам, что «Побег» мы с увлечением прочитали вслух. Это — великолепно! Это — нынешний Гоголь! Гоголь, описывающий Тюмень, кулачные бои, глубины рынка, трагедии, таящиеся в глуши».

Художника распознают: рисунки похожи на стихи — всё в них схвачено, всё подмечено: время года и время суток, динамика и покой, ритм и стиль. Изобразительные средства — то, что было под рукой, красочки и карандаш.

Николай Солодовников недолго прожил после завершения романа, умерев в ссылке, разделяя судьбу многих и многих, брат его после ссылки прожил ещё 40 лет, сохраняя и, возможно, готовя к печати эту книгу, полную любви к жизни и присутствия духа.

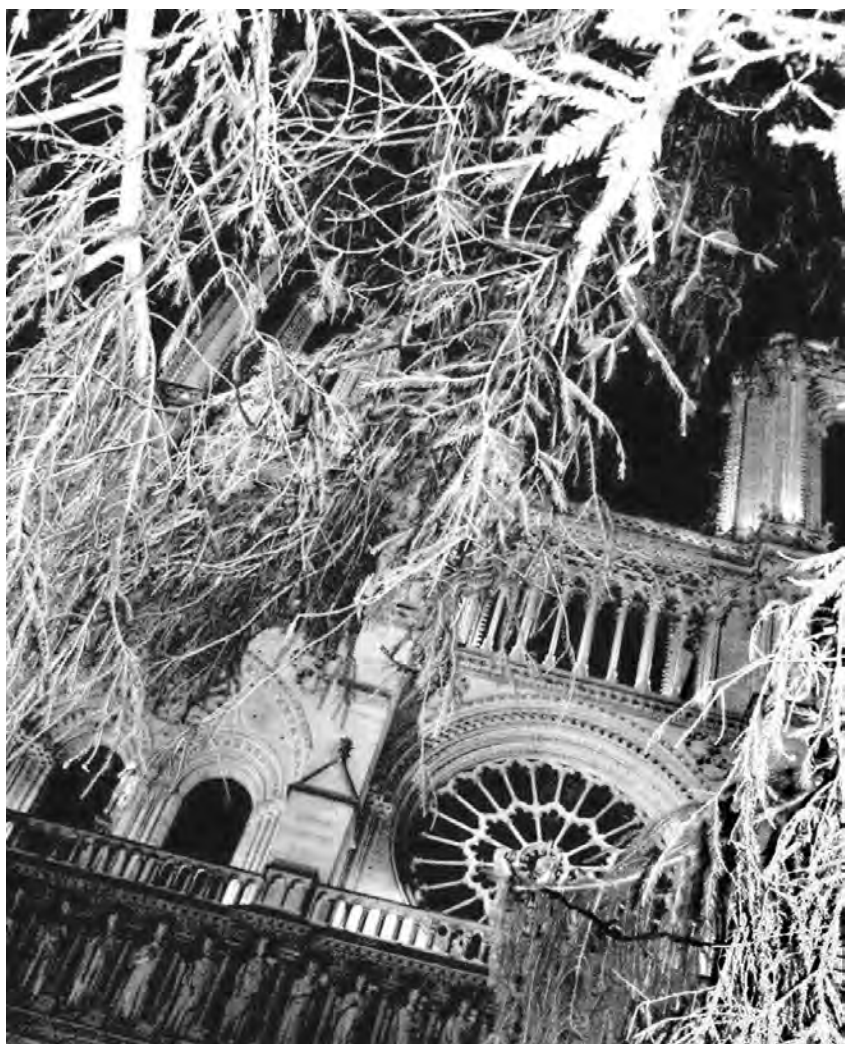
Темница, чем жестче,
Суровой и темней,
Тем солнечней рощи
Души моей.

Чем яростней крики
И толще прут в окне,
Тем льнут павилики
Нежней ко мне».



© Фото Дины Тарди

ПОЭТИЧЕСКИЙ НЕВОД «ГЛАГОЛА»



© Фото Александры Отважной

Светлана Дильдина
(Россия, Самара)

Родилась и живёт в Самаре, работает журналистом, по образованию зоолог. Любит путешествия, а также фото и музыку.

Метаморфозы

Петер и птицы

Глянь: в горах, лесистых и могучих, монастырь — крупницей возле склона. Он века стоит над самой кручей, прямо в небо смотрит неуклонно. Каждый день, хромая, на рассвете, свистом птах окрестных созывая, из ворот выходит старый Петер, — и заря от щебета живая.

Сколько лет он прожил — кто узнает? Тут, в горах, и время раскололось. Только птичья братия шальная любит старика, летит на голос.

«...Это было в дни военной службы: я служил за честь, не славы ради, и стрелком считался самым лучшим, муху на лету сбивал, не глядя...

Видел снег? Ну вот, представь, попробуй, — ты, внучок, пожалуй, не поверишь — не было травы, одни сугробы, люди мёрзли, голодали звери. Все бродили хилые, как тени, о весне лишь были пересуды: ведь она приносит душ смятенье, тает от неё любой рассудок.

Чтобы избежать невзгод несметных, от неё мы стерегли границы, и стрелкам, отобраным за меткость, капитан велел стрелять по птицам.

Так рубеж небесный мы закрыли, веря: страх безумия растает; ведь известно, что на птичьих крыльях над землёй весна перелетает.

Я не спал; одна была забота — не пустить. Мой карабин не дрогнул, я убил малиновок без счёта, лебедей, ворон... закрыл дорогу. С каждым днём я становился злее, дума всё измазала, как сажа: если сон проклятый одолеет, вдруг напарник сослепу промажет?

К нам тащить весну, скажи на милость! Славно мы на птиц нагнали страха!

Был рассвет. На ветку опустилась серая взъерошенная птаха, до того невзрачна и нелепа, что промедлил с выстрелом, растяпа... И запела птаха, словно флейта, и на землю тёплый дождь закапал.

Я стоял, как столб. Под песни звуки таял снег и оживали лозы. Дождь мне омывал лицо и руки, и казалось — это птичьи слёзы. Небо сплошь пестро от крыльев было; я смотрел безмолвно, ошалело — ведь у каждой птицы, что убил я, ярко на груди пятно алело.

Расцветало всё, что было голым, знал — от чар весенних не спастись нам...»

...Тут старик прервался: белый голубь на плечо, воркуя, опустился.

С той поры века прошли на свете, горы высотой до неба стали. Рассыпает зерна старый Петер, и смеется, видя птичьи стаи.

Лягушачий царь

Там, где в зиму
Теплеет вода,
И слетает со звёзд пыльца,
(а на вкус — гречишная, клеверная, точь-в-точь),
В тесном гроте живёт
лягушачий царь,
Тот, что солнце глотает
Каждую ночь.

В окружении
скользких и пёстрых жаб
Он сидит, захлопнув огромный рот,
И холодная кровь
гасит солнечный жар,
и спокойное солнце утром к людям идёт.

Утро, вечер, морганье век, —
Так по кругу, и без конца...
Ждёт, поводит лупоглазою головой —
Но за веком проходит век,
Но растёт лягушачий царь,
И однажды гранитный грот задушит его.

Станет солнце больше, ярче и горячей,
И никто его не остудит порой ночной —
И земля растает,
жертва его лучей,
Все мы станем плазменной желтизной.

...помнишь на столе разбросанные листы,
солнечные пятнышки по краям?
это, славное, будешь ты,
ну, а это — я...

Цикличное

На берегу Голубой реки сидит мудрец Ляо Ди,
и смотрит, как лист кружится, плывёт, а на нём цикада сидит.
И, взгляду цикады послушны, плывут, качаются берега —
и всё соразмерно: за листиком лодка, за лодкою — труп врага...
Все движутся в такт, подчиняясь времени, которому невдомёк,
что чей-то взгляд следит за рекой, и тает, словно дымок;
оно и само подобно воде и взглядам; оно течёт
у самых корней Древа Жизни, которое охраняет Извечный кот.
А кот бредёт по цепи кругом, и думает о стихах,
которые Ляо Ди сочинил, и свиток держит в руках,
следа за листиком и цикадой, качающей берега, —
для которой нет ни вчера, ни завтра, ни друга и ни врага...

Александр Ланин
(Германия, Франкфурт-на-Майне)

Родился в Ленинграде в 1976 году, пишет стихи с конца девяностых годов прошлого века. Неоднократный победитель Международного литературного конкурса «Кубок Мира по русской поэзии» и других литературных конкурсов.

Все ушли на Берлин

Все ушли на Берлин

Разливается свет по невымытым тарелкам долин,
Где на первое дым, и хватило б огня на второе.
Пересуды легенд, вековые обманы былин.
Все ушли на Берлин, кроме тех, кто остался под Троей.

Их могилы тихи, в голосах у них плещет зима,
И уже не поймёшь, кто картавил, кто шокал, кто окал.
А из пыли могил прорастают живые дома,
Под фундаментом — тьма, но пока без заклеенных окон.

Гильзы падали с плеч и дурманила пуль нагота,
Моросила шрапнель, у землянки поехала крыша,
Да зелёная смерть бередила сухую гортань.
Эй, горнист, перестань! Не дай бог, тебя кто-то услышит.

Кто-то ссадит с колен и посадит к себе на крыло,
Вырывая из рук почерневшие флейту и флягу.
Нужно только успеть написать для него некролог
На асфальтовый блог, там, где тени чернилами лягут.

Над Японией ночь. Или утро? Да кто разберёт.
Не заклинило б люк, а не то возвращаться с позором.
Неопознанный бог, непьянеющий старый пилот
До сих пор не поймёт ни претензии, ни приговора.

Это наш переплёт, это вечный таёжный удел —
Измерять беспредел единицами веса тротила.
Европейская ложь. Азиатское месиво тел.
Мама, я не хотел. Да и ты бы меня не пустила.

Мир в поту и в пыли. Короли облачаются в сплин,
Королевы молчат, а царицы рвутся в герои.
Все ушли на Берлин, непременно ушли на Берлин.

Все ушли на Берлин, кроме тех, кто вернулся из Трои.

Цепь

Неразумные птицы летят на юг, а разумные ищут тень,
Но когда все запреты летят на йух, погибают и те, и те.
Караваны сбиваются с горных троп, и обрыв их, как жребий, крут.
И последние люди бегут в метро и сбиваются в тесный круг.

Неразумные твари ползут в ковчег, а разумные ждут огня.
Попытайся понять их, простить, прочесть, и найди среди них — меня.
Дискотека открыта для всех гостей, у кого нет когтей и жал,
Но однажды туда проскользнёт метель на холодных кривых ножах.

И земля задымится, и встанет зверь, и асфальт обратится в лёд,
И у каждой из наших бумажных вер будет шанс завершить полёт.
И тогда наша жизнь — как игла в ларце, и на каждом её конце
Неразумные снайперы ищут цель, и разумные ищут цель.

* * *

Когда закончится вторая ядерная война,
Разделив остатки людей на живых и лишних,
На пепелищах не будут в камне выжжены имена,
Потому что не будет ни пепелищ, ни
Схронов. Точнее, схроны будут пусты,
И ногти асфальта под человеческим лаком.
Фейсбук останется. Боты будут строчить посты,
А мёртвые будут лайкать.
Мёртвые переругаются с ботами, чья вина,
На башорге вылезут в топ очередные перлы...
Когда закончится вторая ядерная война,
Никто не вспомнит о первой.

Тень

У тени моей, у подлинной, фигура и стать — не те,
Но все мои сны и подвиги — мазки на её холсте.
Она не плывёт по улице, цепляясь за фонари.
Она говорит без умолку (пожалуйста, говори!)
У тени моей, у истинной — ни трещинки на стене,
И нрав у неё неистовый. И много своих теней.
Она не меняет правила, не права и не вина.
Она веселей и праведней, она красивей меня.
Стою на траве под облаком, царапиной на ключе.
Похож на неё не обликом, а даже не знаю, чем.
Она мне верна? Ещё чего! Но я у неё один.
И след от её пощёчины невидим и несводим.

Елена Росовская
(Украина, Одесса)

Родилась на Украине и умру на Украине, потому что, что бы ни происходило, люблю свою страну. Так уж вышло, Родину не выбирают.

Однажды

Ёж, Туман и, может быть, ты...

На высокой горе, где растёт план,
Где в пещерах отшельники лён трут,
Как-то раз появился туман-пьян,
Повисел, протрезвел, заглянул внутрь.

Темнота, мерзлота, килограмм драм.
От окна до окна — суета, тля.
Не прижиться, не вжаться, куда там,
А назад — через ад, а вперёд — зря...

Ни к живым, ни к чужим, сам себе — бес.
Сам себе поводырь и псалтырь сам.
Он пополз через мост напрямик в лес,
Чтобы жить-поживать — выживать там.

А в лесу трын-трава, деревья, дождь,
И зверьё, и клыки, и грибов град.
А в лесу есть пенёк, за пенёком ёж,
Ёж лежит и поёт, сам себе бард.

Не приблуда, не лгун, не шакал, так,
Местный дурень лесной, на игле гриб.
И в глазах — паруса и в башке — флаг,
А поближе смотреть, так не флаг — нимб.

— Здравствуй, ёж, — говорят, — ты умом плох.
— И тебе не хворать, проходи, глюк,
Что там в мире? — Бастуют и бьют блох.
— Значит всё на местах, если блох бьют.

Говорили-рядили: чего ждать,
Что есть миф, что есть мир, что есть мы в нём.
А под утро лесная братва — хватъ,
Ни ежа, ни тумана, лишь пень пнём.

Вот сейчас ты один от тоски пьёшь,
И бежать — «не моги», и стоять — жуть.
Присмотрись, где-то рядом сидит ёж,
И туман говорит: нам пора, в путь!

Алисе напутствие в дальнюю дорогу

Береги себя, Алиса, прощай,
Будь сильна в борьбе с собой и со злом.
Принимай лекарство, не принимай
Близко к сердцу ни волков, ни ослов,
Ни угодников чеширских. Ни-ни!
От улыбок их пойдёшь по рукам,
Если сможешь, то сама улыбнись.
Береги себя, Алиса, пока...
Ты пока-пока-покатишься вниз,
Где количество бездомных Алис
На квадратный сантиметр потолка,
От небесного пупка до пупка
Чернозёма, так и тянется ввысь.
Береги себя, Алиса, беги,
Сохраняя имена и дома,
Где лежат твои родные враги,
Где друзья чужие сходят с ума,
Где количество крестов и могил
Заполняет чернозём, «черно ил»,
Плоть от плоти в закрома — в закрома...
Береги себя, Алиса, лети
Через север под «кусток», на восток,
Оставляя за собой серпантин
Из обстрелов и костлявых мостов.
Мимо армий и купцов-травести.
Береги себя, Алиса, лети...
Там сойдутся все земные пути,
Там Господь целует небо в висок.

Начинаю прощаться

Начинаю прощаться, сажусь за невидимый стол,
открываю блокнот и пишу аккуратно с абзаца:
новый год обещал, но потом ни к кому не пришёл,
а над старым уже надоело до колик смеяться.
Испекла пироги, нарядилась и на пол легла,
потолок надо мной улыбнулся и начал вращаться.
Если выживу, завтра надену домашний халат
и отправлюсь в кино, или даже с друзьями на танцы.
За окном шоколад, за окном разноцветный салют,
из ладоней моих прорастают зелёные пальцы.
Новый год ни к кому не пришёл, а лежащих не бьют,
я считаю до трёх, а затем начинаю прощаться...

Олег Сешко
(Беларусь, Витебск)

Родился в Ленинграде, жил и учился в Витебске. Капитан 2-го ранга запаса. Председатель Витебского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», руководитель литературного интернет-сообщества «Вдохновение».

Три проблемы

Озеро-болотина,	Счастья беспросветного
блюдечко-тарелочка,	хочется? Лови!
Яблочком по блюдечку —	Хлопнет счастье ставнями,
карбас-баламут.	ты — в трубу, растрой его,
Щёчки-помидорчики...	Затолкай в конверт его,
истеричка-стервочка	подпиши: «Любви».
Вновь послала с удочкой!	Слово любит гения.
В омут? Не поймут!	В слове души моются!
Жизнь-рябина, вредина	Рыба им не ловится, если рыбы нет.
горькая атласная,	Супротив движения
Что ни день — падение,	прилетела горлица,
что ни ночь — полёт.	Принесла мне горлица песню на обед.
Всё, что за день съедено,	На, подкормку-песенку!
прирастает ласкою...	Клюнула, поди-ка ты!
Тень в воде — видение?	Всё же слово в музыке
Щука? Не клюёт!	повкусней червя.
В новый год подснежники,	Губы поразвесила,
на Ивана — снега ей,	шепчет: «Что за дикости?»
Из далёких плаваний —	«Наколдуй для мусеньки
аленький цветок!	мужа короля».
Поцелуи-неженки	«Тьфу, — сказала рыбина, —
да любовь безбрегая	подала корону мне,
Заклинаний с травами	Вещь не больно нужная —
лучше на все сто!	для гордыни щит!
Почему не любитесь,	Кочки да колдыбины
да любовь не клеится?	скоро станут ровными,
Рыбу позолотную вынь да положи.	Если слово мужнее в доме зазвучит».
Кудкудахчет курица,	Отпустил ушистую, топаю полями я,
кудкуда мне девица?	Отделяю тщательно плевлa от зерна.
Эх, тоска болотная,	Ну, держись, ершистая,
разве в клёве жизнь?	исполняй желания.
В жизни всё расставлено,	Привечай хозяина, мужняя жена!
сбито, обустроено.	

* * *

— С печенюшкой чаю, папа... — Я души в тебе не чаю.

Рано, лапа, полвосьмого! Воскресенье, ты не спишь.

Вот и осень тихой сапой, прямо к чаю! — Привечаем?

— Расчудесно, честно слово, угощай её, малыш.

Ожидали на неделе, тили-тесто, замесили,

Не создали объеденья. Лапа, маму разбуди.

Пусть покажет из постели направление усилий,

Исцелит оцепененье, отцепляя бигуди.

— Бу-бу-бу, не будем булку, пирожки пожарим сами,

Осень, ты оголодала? К нам пожалуй до зимы.

К декабрю по переулкам, наиграешься с ветрами,

А пока тебя сначала пирогом накормим мы.

— Где же мама, в самом деле, осень слопала ириски,

Земляничное варенье со сгущённым молоком...

— Съела всё, что мы не съели, даже крошки и огрызки.

И печенье с Дня рождения зацепила языком.

— Развалилась на кровати, так наелась — еле дышит,

Что же делать будем, доча? Приютили — сам не рад!

— Мама, мама, как ты кстати... — Не кричите, что вы, тише!

Это, милый, между прочим, тётя Маня из Карпат.

* * *

Расстелю тебе постель я (пусть форматом «а четыре»),

Укачаю калыханкой, спи, родная, баю-бай.

Я не ящик для безделья и не в заднем месте штырь я,

Я не бледная поганка, не классический Бабай.

Это всё твои догадки, только нет у них основы,

Ни в другой, ни в этой жизни я в родстве не состоял

Ни с синдромом беспорядка (это вовсе кто-то новый),

Ни с одним из тысяч слизней, ни с бурчалом из бурчал.

Я с твоей хандрою свылся, но пишу стихотворенье,

В нём гуляют листопады, наша песенка живёт.

Завтра дашь мне в руки миксер, испечёшь (ням-ням) печенье,

Мы пойдём гулять по саду, по тропинкам взад-вперёд.

Прошепчу тебе на ушко, то, что ты — моя фиалка,

Не фиалка даже — роза, но уж точно — не герань,

Я — твой муж, не просто мушка, я — писатель, не писалка,

Ты — не средство для невроза, ты — не вобла, не тарань.

На песке раскину карты, приготовьтесь губы к бою.

Поцелуй нынче в моде, поцелуй — не рубли!

Может быть, в пылу азарта, вдруг увидят эти двое,

То, что солнышко восходит... и заходит для любви.

Александр Рашковский (Норвегия, Ставангер)

Родился в Харькове, живет в Норвегии. Математик.
Стихи и прозу пишет под именем Александр Ра.

Ближе к солнцу

Полулуние

Как неожиданно уныл
остывший вечер —
висит над домом пол-луны
в пятнадцать свечек —
в бумагу тычется перо
слепым котенком —
безумец бродит с топором
в чужих потемках —
стена бросается к стене
«сестрица, здравствуй!» —
сползает полночь по спине
томатной пастой —
дрожит замерзшая земля,
не чуя боли —
и напевает тру-ля-ля
беспечный голем.

Ближе к солнцу

Свет проливавший по капле дрожащими пальцами,
опохмеленный и неустойчиво благостный,
словно бездомный, застенчиво всем улыбается —
город, умытый слезами блаженного августа.

Стерлись значения слов из проспавшейся памяти,
чтобы по-новому можно их было использовать
или сплетаться цветами в безбожном орнаменте,
белое с красным мешая в погоне за розовым.

Благословленные радостью чревоугодия
и сумасбродством снимать августейшую пошлину,
несогрешившие и неразменно свободные
люди — живут. А возможно, хотели бы большего.

Изобретение велосипеда

А я сегодня изобрел велосипед.
Там две педали и фигня посередине.
На левой ручке, для солидности — будильник
(но не прикручен, только временно надет).

Таким изделием гордилась бы страна.
В нём много разных шестерёнок-семерёнок,
других штуковин — и попроще, и мудрёных
(уже не помню, если правда, нахрена).

Его колёса, как цепные вертела,
вращают Землю равномерно и упрямо,
и освещает он своими фонарями
весь белый свет. Точнее, тёмный — добела.

Такой красавец, хоть не ездит никуда
и для надежности к стене прибит-привинчен —
как вертолёт у гениального Да Винчи:
чертёжик есть, а остальное — ерунда.

Настанет день, когда во мне добро и зло
займут места согласно купленным билетам,
труба вструбит, душа ответит флажолетом —
и сяду я в его бездонное седло,

и унесусь в седую даль, куда глаза
глядят безвылазно (уж лучше б не глядели)...
И как прекрасно, что к придуманной модели
я поленился присобачить тормоза.

Светлана Менделева
(Израиль, Петах-Тиква)

Москвичка, по образованию математик. С 1991 живёт в Израиле. Лауреат национальной премии «Олива Иерусалима». Автор книги стихов и нескольких дисков песен. Постоянный автор «Иерусалимского Журнала». Публиковалась в интернет-журналах «45-я параллель», «Кругозор», «Текстура», «Артикль» и других изданиях. Член жюри и лауреат различных поэтических и песенных фестивалей.

Пасторали давно постарели

Натюрморт

Утро щурит глаза,
Вылезая из мятой постели.
Тело тянет назад,
И смеётся в подушку душа.
Всё, что злило вчера,
Побледнело за дымкой постели.
И натура с утра
Чуть растрёпана, но хороша.

На глазури стола
Только яблоко летнего цвета.
Подгоняя дела,
Маршируют часы на стене.
Отыграли давно
Воробьи на параде рассвета.
И залит тишиной
Натюрморт на моём полотне.

Время ловит кураж,
Режиссёрские пробуя трюки.
И январь, как мираж,
Искривляется на вираже.
Но, качаясь в метро
Под мотив неизбежной разлуки,
Я с улыбкой Пьеро
Новый март предвкушаю уже.

Воздух пахнет войной.
Пасторали давно постарели.
Мы не спорим с волной,
Удержаться пытаюсь на ней.

За холодным окном
Снегопад в голубой акварели.
Мягкость полутонов
Нашу жизнь отражает верней.

Шварцвальд

Колюч и грузен чужой язык,
и крепок чудесный грог...
Приветлив к путникам разных лиг
гостиничный погребок.
Копчёный окорок, острый сыр,
вина золотого блик!..
Очаг на время, простой трактир —
к усталым ногам привык.

Здесь розов башенных стен кирпич,
и густ колоколен звон.
Лубок раскрашенный. Но не китч, —
гравюра других времён.
А семь пробьёт на больших часах,
и ставни прикроет бар.
Всем на прощание: «Гуте нахт»,
а, может быть, «Бон суар».

Давай же выпьем за то, чтоб так
и плыть нам, покинув док,
Пока хранит нас во всех портах
нестрогий дороги Бог.
Гулять по миру, что вечно нов
и нас никогда не ждёт.
Всем на прощанье: «Хороших снов»,
а, может, «Лехитраот».

* * *

Мы снова одни на осенней планете.
Друг к другу легко вспоминаем дорогу.
Всё дальше орбиты, где кружатся дети.
Всё ближе сюжеты, где тень и тревога.
В гостинице пусто. В глуши деревенской
за ужином к месту вино и усталость.
И шницель, как вальсы, и легкий, и венский.
И жизни — ещё половина осталась.

Хозяйские дети, два русских мальчишки,
внизу собирают бумажного змея.
И воздух прозрачен и звонок. И слышно,
как падают листья, и яблоки зреют.
Хозяйская старая сторожевая
зевает у входа на серой подушке.
Я ёжусь невольно, очки надевая,
и пальцами грею холодные дужки.

Мы ходим на берег гулять вечерами.
Селенье, как пледом, укрыто туманом.
И в маленьком озере между горами
душа отражается в ракурсе странном.
Холодное утро. Так тихо на свете.
В альпийской деревне — воскресная месса.
Как было бы славно найти после смерти
для следующей жизни
такое же место.

**Виктор Владимиров
(Россия, Долгопрудный)**

Родился в Черновцах, окончил физфак МГУ. Учился в аспирантуре МГУ. Однако не был замечен Нобелевским комитетом. В настоящее время создаю математические модели промышленных агрегатов и технологий. Жалоб от них не поступало. Для этого пишу компьютерные программы. Параллельно и перпендикулярно им пишу стихи. И просто пишу: например, этот текст.

1+1+1

Элегия медвежьего угла

В краю голодном вологодском
мои тянулись долго дни,
здесь даже наслажденьям плотским
предаться не с кем. Где они:
русалки, нимфы, феи, ведьмы?
В лесах то волки, то медведи.
Плодятся символы «Плейбоя»,
два вечных зэка без конвоя,
пяток старух до нашей эры
и ни одной тебе гетеры
вокруг, во всём жилищном фонде.
Вот и пиши из Пиндемонти!
Ни божества, ни вдохновенья,
бессильны умопостроения
извлечь наяду из пейзажа,
черна действительность, как сажа,
раз гений чистой красоты
не мнёт со мной в лугах цветы.
Любовный жар, любовный хмель —
всё там — за тридевять земель.
На тройке пламенных коней

не мчится Анна. Дед Корней
с утра уже не вяжет лыка,
собаки хмуры, солнце дико,
коров нестройные ряды
влачат тянь-шанями хребты,
гниют венцы в моём чертоге,
туземцы пьют, поля убоги,
анаплевать возшло как плевел,
слепни, морошка, русский север,
деревня Вороново, лето,
медвежий угол края света.
Постится плоть, кустится терн.
Ни Пушина, ни Анны Керн.

* * *

Ну как там сказано? — Постой...
«Ты с книгою, я с вышиваньем...»
И мне не нужен голос твой:
я говорю с твоим молчаньем.

То скрипнет ветер низовой,
то шорох звёздного сиянья.
И слух мой, точно часовой,
на страже твоего дыхания.

Вариация на тему романтизма

Вновь у соседей наверху возня.
Стучат часы, как времени копыта.
И, окружая, стерегут меня
предметы бытия, приметы быта.¹

Назойливо эмаль язвит вода,
над мойкою висит колчан тарелок,
открой и убедишься — в никуда
ведёт любая из доступных дверок.

А в вентиляционном рукаве,
в лохмотьях пыли вязнет, неразборчив,
то ли о новых случаях в Москве,
то ли о старых поздний разговорчик.

Цветы на шторах, на вещах покой,
Шлепки шагов и кашля отголоски.
И то, что именуется луной,
пока здесь в виде тоненькой полоски.

Но с каждым вдохом в комнате ясней.
Сегодня полнолуние ночь венчает
и на стене посадит сад теней,
и ветер там, в саду, тот сад качает.

То шелестит затвержено листва,
то моего с тобою разговора
из глубины доносятся слова
и жаркое дыхание, которым

в полночной страсти стрелки сведены.
Но не смутить покоя сна земного.
И канет страсть в колодец тишины,
где утоляют жажду ночь и слово.

И снова врозь. И время не ценя,
часы стучат, как времени копыта.
А всаднику — ему не до меня,
его лицо навек от глаз сокрыто.

¹ Часы достались от бабушки с дедушкой.

Анна Маркина
(Россия, Климовск)

Родилась в 1989 г., живёт в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького, семинар детской литературы А.П. Торопцева. Публикации стихов — в «Зинзивере», «Новой Юности», «Авро-ре», «Российском писателе», «Слове/Word», разных альманахах, газетах и сборниках. Финалист Илья-премии (2008 г), лауреат премии «Серебряный стрелец» (2011 г), призёр Чемпионата Балтии по русской поэзии (2014 г).

Три стихотворения

Радиолог. Бойся данайцев, дары приносящих

У меня теперь не кожа — помелова кожа.
За чужие грехи, говоришь? Терплю, ты знаешь.
Медсестра:
— Михаил Викторович, очередной данаец.
Галкин, бледный, уставший, трёт пальцами у виска:
— Запускай.
Коренастый, растерявшийся мужичок
в кабинет, где проход и так-то довольно узок,
по полу с усердием волочёт
полиэтиленовую медузу.
— Вам привет от дочки, доктор. Обеспечиваем покой.
Организмик у неё не для опухолей, хлипкий.
Ну да что там. Вам за всё спасибо, это вот молоко.
Тридцать литров.
У доктора на окне — конфеты, угорь копчёный,
коньяка — шкафы, фабрика позавидует.
Галкин посматривает удручённо
на молочную пирамиду.
Доктор, доктор, миленький подсажи:
— отрастут ли волосы к сентябрю?
— неужели всё, неужели так мало жить?
— сделайте, сделайте что-нибудь, говорю!
— это вам конверт, последнее, рубль к рублю.
— от глутокси́ма кружится голова.
— рука немеет, что у него с рукой?
— я не грешил, доктор, я просто ее люблю.
Галкин третью неделю давится молоком
и для всех где-то выкапывает слова.

* * *

Поезда, мой свет, перестали ходить на юг.
Самолёты сложили крылья — тебе сдались.
Жар и тяжесть, будто по коже ходил утюг,
превращавший меня в замолкающий белый лист.

Волны ждали, что их прокатят внутри кают,
темнота сидела в тёплых и злых углах,
я ждала на террасе, где мидии подают,
словно двадцать пропаренных солнц в чехлах.

Начинали стрекозы к вечеру соловеть,
постаревший художник бился о камень лбом,
потому что молодость и любовь, мой свет,
он не мог вписать уже ни в один альбом.

Лунный грош вдоль берега следовал за тобой,
и никто не знал: надо мной поменялась власть.
Только в море пенном вздрагивал китобой,
до которого эта новость с чайками донеслась.

* * *

Он уже не тот и уже не юн,
и белье, поройся, сплошная грязь.
Он скрипит и тащит свою семью,
иногда выпивая и матерясь.
Он хотел помочь,
что-нибудь суметь,
что-то ради вечности и добра,
а теперь он муж, и отец, и мент,
у которого дома прогнивший кран,
у которого дома больная мать,
и жена, тяжелая, что цемент, —
хоть стреляй — такая стоит тюрьма
в этом доме, который построил мент.
Он когда-то не был ни вор, ни Брут,
знал, что можно делать, а что нельзя.
А потом увидел, как все берут

и, подрыгавшись годик,
не снёс и взял.
Вот собачья доля — крутись и трать:
надо было сунуть сынишку в сад...
это все так ясно, —
кромешный мрак,
о котором даже смешно писать.
И сидит, захлопнутый на засов:
— Кем там, мама, я собирался стать?
Всё бежал со сворою Гончих Псов,
не догнавших собственного хвоста.
Он играет в шашки, немного пьёт,
смотрит, как антенны уходят в синь,
как жена стирает ему бельё,
как удит плотву
повзрослевший сын.

Сергей Пивовар (Беларусь, Минск)

Родился, учился и женился в Беларуси. Живу в Минске, женат, двое детей. Работал электромехаником, товароведом, начальником бюро, зам. директора, занимался бизнесом. Пишу потому, что есть такая потребность. А получается или нет, пусть судят читатели.

Будни

Цыть

утопила баба поутру ведро
а самой-то не достать без мужика
летось помер этим часом на руках
лишь успел сказать сигарочку не тронь
уж она его просила милый брось
чай осколок ну куда тебе дымить
да напрасно так бывало гаркнет цыть
что неделями чаёвничали врозь
а в ту ночь ему не кашлялось совсем
и она-то в кои веки проспала
знать бы раньше что болезный умирал
не пилила б мужа давеча во сне
не видать ни зги в колодезной воде
только сруба край и дымом облака
без хозяина не сладится никак
вот и мается хозяйка овдовев

Дай вам

размалёванная жизнью
на весь холст во всю палитру
в переходе ну и запах
собирает на пол-литра
и подходят и бросают
лучше дать и быть прощённым
взгляды в сторону нос набок
на бегу как прокажённой
дай вам
кланяясь бормочет
в исчезающие спины
под тряпье рубли пихает
в складки нищенской рванины
сколько ей
так и не скажешь
вся укрыта словно Веста
эта женщина у пола
что за каждый рубль крестит

Не сбрехал

мастерство как говорят не пропёшь
эту дуру он опять охмурил
погляди ты прям зашла от любви
мужичок видать и вправду хорош
так шептались у неё за спиной
а она с усмешкой им — наплевать.
вы хлебните с моё горя сперва
приведёте хоть кого на постой
а простила... ну а кто без греха
вон и в баньку хоть воды натаскал
с паром выйдет моя бабья тоска
ведь вернулся кобель не сбрехал

Сергей Ширчков
(Россия, Нижний Новгород)

Родился в 1974 году в городе Дзержинск Горьковской области. Образование — Нижегородский государственный лингвистический университет; по специальности никогда не работал. Много лет — в структуре ГЖД (Горьковская железная дорога), в настоящее время — в сфере бизнеса.

Магазин игрушек

Замки

Он отравлен бензолом, он ночью блюёт в Оку
и красуется швами в грязи и монтажной пене.
Этот город не слышит, как я прихожу к замку
и зачем-то считаю сосчитанные ступени.
А замок с перепуга почти матерится: «щёлк!»
(надо новый поставить, да мешкаю вот лет сто уж),
в этом долбаном мире теней и небритых щёк
можно жить, если только дежурит знакомый сторож.
В южной комнате полночь, и люстра висит, как мышь;
из игрушечной кухни навстречу идёт стряпуха,
в недобитом кувшине томится рогоз-камыш,
начинённый стихами, стихами белее пуха.
Здесь не то чтобы сказка, но воздух не ядовит,
и не то чтобы воля, но выбор не так уж важен,
оклемавшийся город за шторами рот кривит,
насосавшись лекарства из тёплых замочных скважин.

Кот

Он видит намного дальше, вот этот противный кот,
но якобы наблюдает за глупыми воробьями,
он слышит электросчётчик и знает про дымоход,
и помнит, как чудом выжил однажды в помойной яме.

Он любит порядок в доме, и миска его — чиста,
его раздражают тапки и шнур от настольной лампы,
а время опять ворует полоски с его хвоста,
и только, пожалуй, время к нему не попало в лапы.

Он терпит мои привычки, поскольку со мной знаком,
подходит, когда я занят, и может облокотиться,
а утром шуршит вдогонку малиновым языком:
какая большая птица, какая большая птица!..

Магазин игрушек

В магазине игрушек привыкли к слезам,
только плюшевый пёс их узнал и слизал,
у него очень хитрая морда,
но его не купили, сказали — потом,
продавщица зевает резиновым ртом
и теряется в сетке кроссворда.

В это время назавтра она чуть жива:
две руки на витрине, в руках голова,
в голове надоевший мотивчик,
посетителей мало, и ей бы самой
после смены дежурно сорваться домой,
чтобы скинуть усталость и лифчик.

Позади магазин, в магазине темно,
в чёрных лужах реклама, бензин и вино,
а мотивчик всё глуше и глуше,
кто-то рядом шуршит вечера напролёт,
это осень намокшими иглами шьёт,
шьёт каких-то людей для игрушек.

Дворничиха

Смешной был март,
он сам сорил и мёл
(по чётным, по нечётным, ежедневно),
у дворничихи было сто имён:
грязнуля, колываниха, андревна,
деревня, матерщинница, вдова,
кошатница, левша и даже дура...
а с неба так и падали слова,
шуршали от бордюра до бордюра,
ползли по черенкам её лопат
и лезли под перчатки из капрона,
но даже в самый чёрный снегопад
она случалась белой.
Как ворона.

Вадим Смоляк
(Россия, Санкт-Петербург)

Родился в Ленинграде в 1965 году. Была холодная выюжная зима и дети рождались хилыми, но умными. В 1985 году окончил Ленинградский Государственный институт культуры им. Н.К. Крупской, но ни культуре, ни Надежде Константиновне это счастья не принесло. При выборе рода деятельности руководствовался методом «от противного». Когда все опротивело, осталась литература.

Пишу стихи для детей и взрослых, рассказы и сценарии для анимационных фильмов. Не согласен с тем, что «для детей надо писать, как для взрослых, только лучше». Для всех надо писать одинаково хорошо.

Публикации в петербургских журналах «Вокзал» и «Царско-сельская Лира».

Снилось мне

Снилось мне

Падало солнце в пену еловых лап,
Тени тянулись и доедали день.
Снилось мне, будто я становлюсь крылат
И улетаю в сторону от людей.

Серой совой во сне я спую в лесу
В шелесте листьев вместо шуршанья шин.
Поиски истин счастья не принесут,
Поиски счастья — дело не для мужчин.

Снился под утро вереска резкий треск,
Стрекот цикад свинцовых и свист силков.
Стоном наполнен сонный пугливый лес,
Кровью окрашен сладостный мой альков.

Алчные люди не выпускают птиц,
Вьют добычу тучную по бокам.
Крыльев не в силах птицам они простить
И безобразной близости к облакам.

Солнце восстало снова в раю лесном,
Не согревая неба стальную синь.
Снилось мне, будто жизнь оказалась сном,
Но просыпаться не оставалось сил.

Как поссорился рассольник с колбасой

Раз поссорился рассольник с колбасой
Да ушёл из дому пьяный и босой,
От несправедливой пощёчины пунцов
И расстроен вплоть до самых огурцов.

Поначалу он влюбился в колбасу,
Пел частушки, лихо тренькал на басу,
Но со временем рассольник поостыл,
И к колбаске стал наведываться сыр.

Говорил рассольник строго колбасе:
«Я-то думал, не такая ты, как все!
Новый хахаль твой из импортных, небось,
А присмотришься — дырявый он насквозь!»

Как насупилась от супа колбаса,
Как глазёнки закатила в небеса,
Отвечает с оттопыренной губой:
«Мой сырок-то не простой, а голубой!

Тонко чувствует желания колбас
И тем самым отличается от вас.
Сыр — художник, литератор и артист,
Ну, а ты к поллитре начатой катись!»

И ушёл рассольник прочь от колбасы
Через поле и до лесополосы.
Ни половника не взял он, ни кастрюлю,
Ни журналов кулинарных за июль...

Шрамы

Саднят и ноют ночами шрамы,
Сдирают кожу с меня живого.
Два застарелых от детской травмы,
А третий, новый — от ножевого.

Веревкой алой стянулись ткани,
И мне казалось, их вид уродлив,
Но шрамы вдруг приглянулись Тане,
Нашедшей в линиях иероглиф.

Кому набила судьба наколки,
До смерти их никуда не денет.
Два от падения с верхней полки,
А третий, свежий — от жажды денег.

Она их гладит и дуёт нежно,
Как будто тушит под утро свечи.
Я засыпаю небитым, прежним
И забываю свои увечья.

Елена Ширимова
(Россия, Одинцово)

Родилась и выросла на Дону - в городе Серафимовиче Волгоградской области. Окончила Саратовскую государственную академию права. В 2002 году переехала в Москву, сейчас живёт в Одинцово. Юрист, эксперт по трудовому праву. Работает в специализированных СМИ для кадровиков и бухгалтеров. Стихи пишет с юности. Первая книжка была издана в 2001 году на средства автора. Вторая — в 2013 году в качестве награды за победу на конкурсе имени Ольги Бешенковской, организованном Международной гильдией писателей.

Сухарики

Сухарь

Вдоль берега — пляж, парасоли,
В песке отпечатанный след.
Бульончик морской пересолён,
И мутен, и плохо согрет.

Почти неизменный веками,
Весь охра-лазурь-киноварь,
В нём плавает твердый, как камень,
Внушительный Критский сухарь.

Родное забыв бездорожье,
Дела отложив на потом,
В огромное варево Божье
Ныряешь лавровым листом.

Заботы покажутся мелки,
Придёт откровенье извне:
Что не попадёшься в тарелке
Ни Господу, ни сатане.

Самолёт

Как холодно! Не выйти из жилья!
Вчера мне лето волосы трепало,
Глядишь — октябрь носатый, длиннопалый
Вцепился в плечи, голову клюя.

Погода шепчет, в рюмки льёт и льёт.
Кленовый лист пристал ко дну бутылки,
Покуда в небе пробует закрылки
Беременный тобою самолёт.

Аэропорт посадки не даёт,
Полны экраны синего пунктира,
Звучит метеосводка для эфира:
В прогнозе шквальный ветер, гололёд.

И я рыдаю меж добром и злом
Под небеса, поющие бравурно,
Как мокрый зонтик, выброшенный в урну
С диагнозом «открытый перелом».

В супермаркете

В супермаркете корзинку
Продвигая впереди,
Парень крошечную псинку
Греет в куртке на груди.

Для чего ему такая?
Для заботы, для игры?
Он на кассе покупает
Сигареты, «педигри».

Корм товарищу на сутки —
Превосходный аппетит.
Щерит бисерные зубки.
Защитит? Не защитит.

И уйдут: большой, неспешный,
А в кольце хозяйских рук —
Друг трясущийся потешный,
Сувенирный верный друг.

ОТРАЖЕНИЯ



© Художник Андрей Карапетян

Нина Игнатенко
(Россия, Санкт-Петербург)

Журналист. Возглавляла редакцию одного из районных радиовещаний Санкт-Петербурга, работала редактором новостного обозрения Петербургского радио (ныне почившая в бозе компания ТРК-5 канал). Издавала христианскую газету «Неемия». Печаталась в центральных питерских газетах. Несколько лет была помощником-референтом депутата Законодательного Собрания СПб. Печатила стихи в альманахах «Колпица», журнале «Острова». Автор единственного детективного романа (издательство «Эксмо»).

Текст без дураков (иллюстратор Андрей Карапетян)

Петербургский художник-самоучка сделал гениальные иллюстрации к Данте — так был озаглавлен новостной сюжет, вышедший на одном из питерских телеканалов, после появления на полках книжных магазинов нового альбомного издания «Божественной комедии».

Андрей Карапетян — петербургский художник-график, иллюстратор — действительно не получил специального художественного образования. Он работает главным инженером проектов в старейшем российском проектно-конструкторском институте страны. Эта реальность не помешала ему стать одним из самых интересных и своеобразных художников-иллюстраторов.

Рисовал Андрей всегда, сколько себя помнит, но всерьёз осознанное творчество началось в армии. И началось оно с иллюстраций к «Божественной комедии» Данте.

Как рассказывает художник: «Я был поражён этим великим текстом ещё в школе, Дантовские строки в великолепном переводе Лозинского застряли с тех пор в моей памяти и не отпускали. Рисование заставляет читать текст „без дураков“, заставляет вглядываться уже не в знаковые символы и фантасмагорические



Инферно, песнь V
© Художник Андрей Карапетян

образы, а в людей, в души людские, в собственную душу. И создание иллюстраций к страшным видениям поэта привело к тому, что я не только „пропускал“ через себя этот его мир, но и по-новому, ретроспективно осмыслил собственную историю. Когда я пошёл по этому пути, у меня начали выходить ещё и комментарии к „Аду“. То, как я пытался графически выразить свое видение происходящего, например, в России, ассоциативно — и органично для меня — связывалось с сюжетами „Божественной комедии“. Вот тогда вся работа обрела смысл».

Графические комментарии к сюжетам «Божественной комедии» — как бы перекинутый мост из мрачного зазеркалья в наши дни, где человек, отринувший Бога, живет в ветшающем, распадающемся мире. Живые люди здесь — словно недоовоплотившиеся призраки из Дантова ада, их плоть, словно высыхающая изнутри, теряет своё содержание. То, что остаётся от неё — это хрупкая и ломкая поверхность, под которой нет ничего, кроме пугающей пустоты.

В петербургских и московских издательствах, начиная с 1989 г., выходят книги с иллюстрациями А. Карапетяна. К этому времени его графический стиль уже можно считать сформировавшимся. Манера его индивидуальна и легко узнаваема. Для нее характерны мастерски виртуозная линия, играющая с чёрными и белыми пятнами силуэтов, присущая художнику способность патетического искажения жеста, костюма и ландшафта; полутона и фактура предметов передаются с помощью перекрёстной штриховки и гравировки пунктиром. В утончённых, причудливых рисунках А.К. с виртуозной игрой силуэтов и контурных линий определяются характерные черты графики стиля модерн.

Его мир — словно палимпсест: сквозь вполне реалистичные детали и образы узнаваемых персонажей проступает вселенная, населённая призраками, взвалившими на себя бремя одиночества и непокая тех, кто согрешил разумом.

Значительное место в творчестве А.К. отводится иллюстрациям к романам А. и Б. Стругацких. Влюблённый в фантастику и, в частности, в произведения знаменитых братьев, А.К. проиллюстрировал почти всё ими соз-



Шинель

© Художник Андрей Карапетян

данное. Книги неоднократно переиздавались, и иллюстрации считаются классическими. Б. Стругацкий в одном из своих интервью однажды сказал о рисунках А.К.: «Это не иллюстрации, а скорее сотворчество».

Несомненной удачей А.К. становятся иллюстрации к книге Карен Бликсен «Семь фантастических историй». С помощью весьма ограниченного набора средств: легкой асимметричности композиции, изломанных линий создаются мёртвенно-ирреальные пейзажи, напоминающие сны, и образы на их фоне, взятые словно бы из реальной жизни, предстают не как зеркально точные отражения, но, пройдя через сознание художника, через его собственный романтический мир, превращаются в нечто «знакомо-незнакомое», «реально-сказочное».

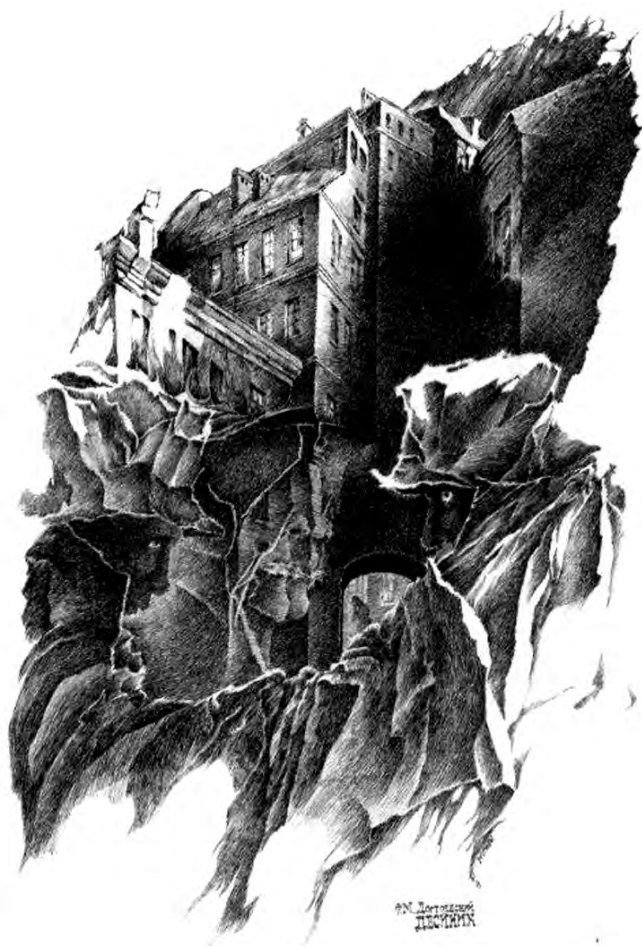
Символическая, поэтическая действительность художника возникает из живописного хаоса, вписанного, однако, в безупречно точное композиционное решение, в котором все фигуры завихрены трагическим маскарадом; лица с улыбками, похожими на гримасы, отмечены печатью гибели. В этой действительности далёкое и близкое, большое и малое не определяются с математической скрупулёзностью, но могут произвольно меняться местами — в зависимости от эмоционального настроя того, кто смотрит на рисунок.

В качестве иллюстратора-оформителя А.К. принимал участие в выпуске шеститомного издания литературно-философского альманаха «Канун» под общей редакцией академика Д.С. Лихачёва. Здесь использованы работы из



Преступление и наказание. Раскольников, Мармеладов и Раскольников

© Художник Андрей Карапетян



Достоевский. Двойник

© Художник Андрей Карапетян

цикла «Буквицы». В этих рисунках «обыгрывается» тайнопись древнеславянской азбуки, которая имела глубокий религиозный и философский смысл и представляла собой поначалу граффити, начертанные на стенах соборов.

Андрей Карапетян работал также над произведениями Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, М. А. Булгакова, Р.Р. Толкиена, Г.Г. Маркеса, Филиппа Дика, М.Г. Успенского, А.М. Столярова, В.М. Рыбакова, А.Г. Лазарчука, Е.Ю. Лукина и др.

Лауреат премии всероссийского форума фантастов «Странник».

В разные годы его работы выставлялись в музеях «Современная литература — XX век», Ф.М. Достоевского, музея Истории религии (Санкт-Петербург); доме-музее М.А. Булгакова (Москва), на всероссийских форумах фантастов «Самые фантастические художники мира».

Книги с иллюстрациями выходили в издательствах «Северо-Запад», «Terra fantastika», «Corvus», «AST», «ЭКМО», «Азбука», «Амфора».

**Ирина Эстеб
(Франция)**

Родилась в Москве. Профессиональный переводчик русской классической поэзии на французский язык. Особенно увлекается творчеством А.С. Пушкина. Автор уникального издания «Сказки о рыбаке и рыбке» на французском и русском языках.

Звёздный час переводчика, или Проделки Сергеева

В одном из своих интервью очень известный во Франции переводчик с русского заявил: «Все переводы — это „приблизительность” (дословно с французского), добавив при этом, что чем „текст красивее — тем приблизительней будет перевод“... С его точки зрения, «перевод — интерпретация», где переводчик выступает в роли исполнителя сонаты Бетховена (пример его же).

Заявление более чем абсурдное, читателю, полностью игнорирующему оригинальный текст, начхать на близость или отдаленность, его интересует красота, изящность... то есть просто удовольствие от читаемого. И действительно, перевод — это музыкальное и художественное исполнение существующего текста, которое исключает какую-либо приблизительность (и партитура — ритм, тональность, и палитра, образы, размеры должны оставаться неизменными, что не означает в первом случае (музыка) механического воспроизводства музыкального текста, а во втором — банального копирования картины.

Перевод — тяжкий труд. Не случайно А. Пушкин назвал переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения» — в коем случае лошади вполне могут быть игривыми скакунами, а извозчик — творцом, льющим свет...

И вот с этой точки зрения мольеровские «Плутни Скапена» в «исполнении» Владимира Сергеева — изумительный пример, заслуживающий овации не только читателей, но и братьев ремесленников (то есть коллег).

Это тот самый звёздный час, когда не самый «прекрасный» текст оригинала каким-то чудом превращается в феерический спектакль (вместе с роялем звучит оркестр, в котором каждый музыкант — всемирно известный солист).

История самого перевода, можно сказать, забавна. К чему переводить Мольера, драматурга, не обделённого вниманием переводчиков, пьесам которого более трёхсот пятидесяти лет? И почему именно «Плутни Скапена», пьеса, не только малоизвестная в театральных кругах, но и к тому же написанная, можно сказать, скучноватой прозой.

Сам Владимир, блестящий переводчик современной французской драматургии, классикой никогда не увлекался и даже в мыслях не держал заняться переводом всемирно известного драматурга... пока известный театральный режиссёр, народный артист России профессор Вячеслав Спесивцев, руководитель Московского молодёжного театра не поинтересовался, не переводил ли он Мольера?

Удивлённый вопросом, Володя возразил, что тот уже давно весь переведён... Действительно, — ответил Спесивцев, — переведен, но как! За исключением самых известных произведений, существующие переводы тяжелы и для зрителя, и для актёров, ну а про молодёжь и говорить нечего — она просто не воспринимает мольеровский текст. Вот, мол, хорошо бы перевести того же Мольера более легким и динамичным языком.

Почему Володя подумал именно о «Плутнях Скапена», с его слов — он и сам не знает.

Но начал вдохновенно искать существующие переводы именно этой, в общем-то малоизвестной, пьесы.

Последний — известной переводчицы (в основном, с английского) Нины Леонидовны Дарузес (1899–1982), опубликованный в 1953 году, его, честно говоря, просто разочаровал. Несмотря на хвалебную оценку известной переводчицы Норы Галь её переводов с английского, французские произведения, в частности, «Плутни», оказались далеки от требований театрального искусства и походили больше на тщательный даже не подстрочник, а «пофразник» (В.Сергеев): сколько фраз по-французски — столько же по-русски. Учитывая же оригинальный текст Мольера в этой пьесе, написанный прозаическим языком, в которой реплики персонажей состоят зачастую из пяти-шести, а то и десяти предложений, её исполнение исключают какую-либо лёгкость для восприятия, убивая саму идею комедии.

Володя начал свой перевод с уборки. Все повторы, кальки и мало-значительные детали — как говорится, «в корзину», с целью сделать реплики короче, содержание более выразительным и... обнаружил, что в тексте русского перевода появился некий ритм, плавно перешедший в стихотворную форму. Рифмы возникали сами, превращая работу в забавную игру. В результате? Заказчик, будучи не только режиссёром, но и музыкантом и поэтом, заявил, что переводимая пьеса просто напрашивается на музыку, и в русском фонде переводов появился уникальный Мольер в стихах.

Владимир Сергеев
(Франция)

Один из основателей и президент ассоциации «Глаголь». По образованию филолог (МГУ), по профессии журналист. Многие годы работал региональным пресс-атташе ЮНЕСКО в Париже. Последние годы занимается переводами на русский язык современных французских авторов и классики, а также переводит на французский русскую современную и классическую поэзию.

Проделки Скапена (перевод)

Сцена 2 Скапен, Октав, Сильвестр

СКАПЕН: Месье Октав, что с вами? Вы бледны?..

Случилось что? Иль страстью вы утомлены?

ОКТАВ: Скапен, дружище, я пропал!

Из рая прямо в ад попал!..

Куда идти, куда бежать,

Кого на помощь мне позвать!?

СКАПЕН: Да в чём же дело, в чём беда?

ОКТАВ: А ты — не в курсе новостей?

СКАПЕН: Да нет, скажите поскорей.

ОКТАВ: В Неаполь едут мой отец и мсье Жеронт.

Они хотят женить меня.

СКАПЕН: Прекрасно! Новая семья!?

ОКТАВ: Увы, всё далеко не так. Всего не знаешь ты.

Любви моей грозит разлад, конец моей мечты!

СКАПЕН: Так расскажите поскорей про ваше таинство страстей.

Возможно, я и помогу, доверьтесь без затей.

Без ложной скромности скажу, что я имею дар

Интриг распутывать узлы, чтоб отвести удар.

ОКТАВ: Не верю я, что выход есть, чтобы любовь спасти!

Неужто можешь, ты, Скапен, угрозу отвести?

СКАПЕН: Поверьте, милый господин, мне в этом равных нет,

Других переинтриговать — первейший мой завет!

И пусть плутом зовёт меня, кто недалёк умом,

Да только мне почёт от тех, кто был спасён плутом...

ОКТАВ: Коль так ты ловок, друг Скапен, молю я — помоги!

Тебе обязан буду я до гробовой доски.

СКАПЕН: Увы, теперь я не у дел, мой дар здесь не в цене.

И даже, говорят, тюрьма уж плачет обо мне...

Я тоже на неё сердит и встречи с ней не жду.

А проще говоря, боюсь быть преданным суду...

Но всё же любопытен я, меня легко увлечь.

Скажите мне, в чём тут беда, о чём ведёте речь?

ОКТАВ: Ну, ты ведь знаешь — мой отец и с ним месье Жеронт

Из-за каких-то важных дел уехали в Пьемонт...

Мы ждали их назад домой два месяца спустя...

СКАПЕН: Ну, да об этом знают все, конечно, в курсе я.

ОКТАВ: Меня отец оставил на Сильвестра,

Леандр поручен был тебе.

СКАПЕН: Ну, да и со своей задачей,

Считаю, справился вполне.

ОКТАВ: А в это время друг Леандр

Свихнулся от любви.

Нашёл любовь он у цыган

И просит — помоги!

СКАПЕН: Так-так... немного в курсе я, но жажду знать ещё...

ОКТАВ: Леандр представил мне её — привёл и показал.

И ждал, наверно, что скажу, мол, лучше не видал...

По мне ж... ну да, она красива,

Но вот и всё... Отнюдь не диво!..

А он её боготворил!

Чего уж мне ни говорил:

И что уж так она красива,

И что умна и прозорлива.

И элегантна и хрупка — влюблённый лепет голубка!..

А раз не пал пред ней я ниц, то я — последний из тупиц!..

СКАПЕН: А суть-то в чём? Что было дальше?

Рассказ ваш мало что даёт...

ОКТАВ: Прости, Скапен, я впрямь — тупица...

Вот, слушай новый поворот...

Леандр повел меня однажды на встречу с пассивей своей,

И вот я по дороге слышу, как кто-то плачет у дверей.

Домишко был тот неказистый, из любопытства мы зашли,

И сценой, что предстала взору, мы были ошеломлены:

На смертном одре видим даму, что догорала, как свеча,

С ней рядом плакали служанка и девушка... Как хороша!

Прекрасней ничего не видел! Её огромные глаза

Полны печали и страданья! И был её наряд убог!

Но красота — помилуй, Бог!.. То ангел был, небес создание!

СКАПЕН: Да ну!

ОКТАВ: Поверь, я был сражён...

СКАПЕН: Ах, вона что...

ОКТАВ: И даже слёзы ничуть не портили её...

СКАПЕН: Ого! Я вижу столько страсти!

ОКТАВ: То умирала её мать...

И всю дочернюю любовь

Она, страдая, изливала...

О, Боже, как она рыдала!..

Я сам готов был жизнь отдать,

Чтоб эти слёзы не видеть!..

СКАПЕН: Вас я, конечно, понимаю... А дальше было что, потом?

ОКТАВ: Сказал слова я утешенья,

Потом с Леандром поделился,

Что сей красою был сражён.

В ответ же было безразличье!

Леандр сказал, что я смешон:

Конечно, девушка красива,

Но... чуда в ней не видит он.

СКАПЕН: Забавно... Где я это слышал?...

СИЛЬВЕСТР: Давайте лучше покороче

Я всё в два слова уложу.

О том, что было с мсье Октавом,

Как на духу, вам расскажу.

Влюблён он так, что спать не может,

Его одна идея гложет —

Лишь быть с любимой своей...

Клянётся — до исхода дней!..

А бедная её мамаша

Увы, ушла уж в мир иной...

Служанка стала домом править,

А также сироты судьбой.

Она Октаву заявила,

Что хоть богатства нет у ней,

Но девушка — из благородных

И даже голубых кровей.

Её тот будет молодец,

Кто будет предлагать венец!

Тогда уже, объятый страстью,

Октав удила закусил

И, позабыв про все напасти,

Ей руку с сердцем предложил.

Красавица дала согласие,

И вот уж третий день она —

Его законная жена!

СКАПЕН: Ого! Любовь, конечно, пытка,

Но... так вот сразу? Это притко!

СИЛЬВЕСТР: Кто остановит молодца?

Вот и женились без отца —

Два месяца не стали ждать...
Куда там, раз такая страсть!
И вдруг неожиданное известье,
Что возвращается отец,
А ведь он прочил в жёны сыну
Дочь мсье Жеронта — Гиацинту!..

ОКТАВ: Увы, бедна моя бедняжка, и я не в силах ей помочь...

СКАПЕН: Я так скажу — все страхи прочь!..

Не стыдно вам, что пустяки
Вгоняют вас в такие страхи!..
Порвали с горя все рубахи,
А тут делов-то — на пятак!
Да с ними справится простак!
Не то, что ты, Сильвестр!..
Не стыдно такие нюни разводить?..
Уж я б давно придумал штуку,
Чтоб стариков перехитрить!

СИЛЬВЕСТР: Увы! Таких талантов Бог не дал —

Законов я не преступал...

ОКТАВ; А вот и наша Гиацинта...

Сцена 13 *Скапен, Карл, Жеронт, Аргант и др..*

СКАПЕН; О, Боже, как страдаю я!

Пришли скорее избавленье!..
Коль наказал ты так меня,
Хоть в смерти дай мне искупленье!..
Ах, как мне плохо, господа!..
Прошу вас подойти сюда!..
Увы! Я покидаю этот свет,
И вот последний мой завет:
Кого обидел, тех прошу
Простить меня в сей смертный час!
Месье Аргант, мсье Жеронт,
Особенно молю я вас! (громко стонет)

АРГАНТ: Ну... что касается меня,

Почти что труп прощаю я...

СКАПЕН (*Жеронту*): И вас я сильно оскорбил,

Ведь палками нещадно бил...

ЖЕРОНТ: Молчи-молчи! Тебя прощаю!

Покойся с миром, умоляю!..

СКАПЕН: Сейчас, конечно, сожалею...

Уж больше палкой не огрею...

ЖЕРОНТ: Ну, хватит уж — простил же вас!

СКАПЕН: Но не про палки мой рассказ!

ЖЕРОНТ: Заткнись же ты!
(В сторону) Прости мне, Боже!
 Он издевается, похоже...

СКАПЕН: Все говорят, что вы суровы!
 Но палки вы простить готовы...

ЖЕРОНТ: Да замолчишь ты, наконец?!
 Хоть бы пришел тебе конец!..

СКАПЕН: Неужто вы и в самом деле
 Простить мне палки захотели?

ЖЕРОНТ: Сказал уже — прощаю я!
(В сторону) Скорей бы черт забрал тебя!

СКАПЕН: От ваших слов мне полегчало!

ЖЕРОНТ: Давай, не начинай сначала.
 Сказал же, что тебя прощаю,
 Но при условии одном —
 Что умереть ты обещаешь!

СКАПЕН: Как так? Не понял вас, месье!

ЖЕРОНТ: Даю я слово, что прощаю,
 Коли умрешь. А если нет,
 Назад прощение забираю!

СКАПЕН: За что такие муки! Ох!
 Я снова чувствую, как плох!

АРГАНТ: Ах, дорогой месье Жеронт,
 Вы видите, как счастлив я,
 Вновь свою дочку обретя!
 И в свете добрых новостей,
 Хоть человек вы, верно, строгий,
 Прошу — простите вы его,
 Не ставя никаких условий.

ЖЕРОНТ: Что ж, вам не в силах отказать!

АРГАНТ: А чтоб добром все завершилось,
 Не грех нам ужин заказать!

СКАПЕН: И с вами я за стол присяду —
 Не натошак же умирать!

И КОНЕЧНО —
ФАНТАСТИКА!



© Художник Елена Любович

Андрей Балабуха (Россия, Санкт-Петербург)

Родился 10 апреля 1947 года в Ленинграде. Прозаик, эссеист, поэт, критик, переводчик, составитель отдельных сборников и книжных серий, литературный и научный редактор. Автор двадцати четырёх книг — семи сборников стихов, а в прозе относящихся к жанрам фантастики, научно-художественной литературы и литературной критики. Много занимался переводом фантастики и фантастической литературы (преимущественно с английского). 33 года ведёт свою литературную студию и свыше 10 лет — творческую мастерскую на курсах «Литератор».

Летучий француз

(Из цикла «Правдивые истории о великих и знаменитых»)

*Mors magis amicioꝛ quam inimicioꝛ*¹.

Латинская пословица

Обычно финальная фраза романа давалась ему ценой некоторого усилия. И не в подборе слов дело — они-то сами собой стекали с пера, как уходит через шпигаты залившая палубу случайная волна. Наверное, так ощущал себя Сизиф за миг до мгновенного триумфа, когда до вершины горы оставался крохотный последний шаг. И Жюль всякий раз знал, что ещё минута — и камень сорвётся, рукопись унесётся вдаль, спеша рухнуть в алчущие жерла Этцелевых (не важно, отца ли, сына ли) печатных станков, а ему придётся вновь начать восхождение от первой фразы к последней, но уже следующей книги... Однако сегодня было не так, всё давалось на диво легко. И на бумагу словно само собой ложилось: «теперь ваш покорный слуга может начертать своё имя... — тут Жюль улыбнулся, чуть придержал перо и после почти неощутимой паузы продолжил: — Амедей Флоранс, репортёр „Экспансьон Франсез“, — прежде чем написать большое, высокое, царственное слово „конец“».

Он отодвинул лист, давая время чернилам просохнуть, а себе осознать, что конец действительно царственен. Исполнен труд, завещанный от Бога. Слова были не его — кого-то другого, прекрасного, судя по всему, писателя, чьё имя почему-то не спешило всплыть в памяти... Только — от Бога ли? Скорее, от собственной совести, от неизбывного чувства долга. Или всё-таки именно Творец дал ему странное нынешнее существование, позволившее этот долг исполнить? Ладно, поразмыслить на сей счёт ещё успеется.

¹ *Mors magis amicioꝛ quam inimicioꝛ* (лат.) — Смерть больше друг, чем враг (Прим. ред.)

* * *

Смерти бояться далеко не все — в конце концов, она лишь естественное завершение жизни. Но едва ли не каждый страшится умирания — перехода то ли в жизнь вечную, то ли в очередную земную реинкарнацию, то ли в ничто, это уж кто как себе представляет. Перехода чаще всего длительного, болезненного и мучительного.

Жюль умирания не боялся — оно и так тянулось слишком долго, с памятного девятого марта далёкого восемьдесят шестого... Время шло к пяти, и уже начинали сгущаться вечерние сумерки. Он возвращался из читальни Промышленного общества, до дому оставалось буквально два шага, когда из-за дерева выступила неясная тень и прогремели два выстрела. Именно прогремели — не литературщина тут, но факт: револьвер и вообще-то стреляет оглушительно, а уж если расстояние чуть больше метра — и подавно. За этим грохотом он в первые мгновения даже не почувствовал боли и каким-то чудом умудрился, метнувшись вперёд и вбок, обезоружить нападавшего. И лишь тогда упал — сперва на землю, а потом во тьму. Эх, Гастон, Гастон, племянничек чёртов! Так ведь с чокнутого много ли возьмёшь? Не то прославить хотел дядюшку убийством, которое на весь мир прогремит, не то покарать за отказ баллотироваться во Французскую академию... Бред, словом. Вконец свихнулся парень. В наказание за какие же грехи даются нам дети? Что Гастон у брата Поля, что собственный Мишель...

Первую пулю, из плеча, извлечь удалось, но вот вторая застряла в берцовой кости, обрекая Жюля на пожизненную хромоту и боль при каждом шаге. И всё равно это были цветочки. Про ягодки же лучше не вспоминать. Они сыпались из году в год, пока ноша не стала непосильной. Головокружения — от них стены даже узкого коридора начинают вести себя странно, то вдруг отъезжая в сторону, то неожиданно преграждая путь. Подагра, превращающая все суставы в узловатое дерево, внутри которого вместо соков течёт боль. Пальцы правой руки скрючило артрозом так, что ручку с пером приходилось прибинтовывать. Хронический бронхит, дающий по нескольку вспышек в год — горячка первых двух дней и всё время кашель, кашель, кашель, не дающий ни есть, ни говорить, ни дышать, его не унять ничем, кроме игольчатых кристалликов кодеина, растворённых в воде, или лауданума, но и то, и другое туманит мозг, а ему с каждым годом и так всё труднее работать. Нарастала глухота — но отчасти она являлась даже благом: можно не слышать (или делать вид, будто не слышишь) речей дражайшей Онорины. А ещё — постоянные судороги. И всё падающее зрение — катаракта, из-за которой писать и читать приходилось уже не в очках, но с мощной лупой. Да что там читать — даже при свете дня окружающий

мир обратился в нечёткие контуры, наподобие тени Гастона тем весенним вечером. И диабет — уж это всякий знает, не сахар...

Без малого два десятка лет медленного, неуклонного умирания. Зачем же бояться быстрого?

Тем не менее, Жюль всеми тающими силами оттягивал уход до последнего. Не из любви к жизни — что уж тут любить? и кого? те, кого он действительно любил, давно ждали его там, за гранью. Но оставался долг. Мишель, сын — кровь, наследник, продолжение рода, пусть и кривое колено. Мишель — и его долги.

Однако силы были заведомо неравными, и последнее всё-таки пришло. Снова в марте — проклятый весенний месяц! Двадцать четвёртого, когда массивные напольные часы едва успели пробить восемь утра и сумерки ещё только-только начинали рассеиваться — так же, как сгушались они в тот мартовский день.

* * *

А потом всё встало на свои места.

Вернее, на своём месте очутился он — в собственном кабинете в башне, один на один с неведомо откуда взявшимся чётким осознанием произошедшего, хотя всё оказалось совершенно иным, нежели описывают разнообразные спириты с медиумами. Он никогда не верил в проповедуемую этими шарлатанами чушь, и потому ничуть не удивился. «Выход из тела», ведущий в неведомое туннель со светом в конце... Да ничего подобного! Никуда он не улетал, а просто вернулся к себе и к своему делу. И ещё — исчезла всякая боль. Недаром говорят: если ты проснулся и ничего не болит — значит, уже умер. Подобно тому, как справедливой оказалась эта старинная поговорка, правда обнаружилась не во псевдонаучных оккультных измышлениях, а в доброй старой традиционной вере: призраками становятся те, у кого на земле остались незавершёнными слишком важные дела.

И Жюль со спокойной душой занялся делами.

Ситуация была, прямо скажем невесёлой. Если не катастрофической. Всё, что он сумел заработать за долгую жизнь, за без малого сотню выпущенных в свет томов, ушло на погашение Мишелевых долгов, а потом и на воспитание троих внуков, также лёгшее на его плечи. За что бы Мишель ни брался, всё оборачивалось крахом. Его финансовая афёра 1885 года стоила Жюлю продажи яхты. Да, конечно, в последние полтора десятка лет ему, больному старику, всё равно нечего было и мечтать о выходе в море. Однако... Он в очередной раз поднял глаза к висящей на стене фотографии изящной чернобортой гафельной шхуны, которой клиперский нос с длинным бушпритом, две наклонённые на-

зад мачты и высокая белая труба, почти невидимая на фоне парусов, придавали стремительный вид — его прекрасный «Сен-Мишель III»... Потом лопнуло учреждённое сыном акционерное общество по производству калориферов. Та же судьба постигла и велосипедную фабрику, и горнорудное предприятие... И так без конца.

И всё-таки Жюль завещал сыну всё, что мог: свои рукописи. Увы, неизданного осталось слишком мало — полтора десятка давным-давно сочинённых пьес (лучшей из них, пожалуй, была комедия в стихах «Леонардо да Винчи»), сохранившихся ещё с той поры, когда он, молодой драматург, неистово пробивался в театр, да два незаконченных романа — в том числе самый первый, «Париж в XX веке», по прочтении начальных глав отвергнутый Этцелем. Ещё — наброски (даже не наброски, а так, заметки к...) последнего, под рабочим названием «Научная экспедиция», который они долго обсуждали с Мишелем — ничего удивительного, во-первых, сын всё-таки мало-помалу остепенился, хотя у Жюля и оставалось неизменное ощущение жизни на вулкане, а во-вторых, больше и не с кем было поговорить о литературе: Эстель, брат Поль, Этцель — всех уже давно нет. Ну и, наконец, перечень заглавий и сюжетов ещё десятка книг, приступить к работе над которыми Жюль в той жизни так и не успел.

Да, не густо...

Но ничего, теперь времени хватит.

* * *

Как и предполагал Жюль, сын поторопился предать гласности весь список названий, заявив притом, будто в руках у него лишь немного незаконченные или всего лишь не отредактированные рукописи. Интересно, как он намеревался выйти из скользкого положения? Неужели надумал самолично писать за отца? С него станется — амбициями-то Бог не обидел. Но уж этому не бывать! Книги Жюля Верна может писать только Жюль Верн.

И обычным порядком пошла работа. Поначалу пришлось привычно торопиться. Это было что-то вроде соревнования с Мишелем — рукопись следовало завершить раньше, чем тот успеет состряпать собственную. И он выиграл гонку — не имея, правда, ни малейшего понятия, насколько сынок отстал и ввязался ли в эту авантюру вообще. Результат того стоил. Когда Мишель в очередной раз наведился поздно вечером в отцовский кабинет, чтобы порыться в картотеке и на всякий случай проверить, не сыщутся ли какие-нибудь незамеченные прежде записи в бюро, он, выдвинув ящик, обнаружил аккуратную стопку исписанных листов. Правда, испещрённых не теми каракулями, что стекали с

Жюлева пера в последние годы, а давешним, чётким, размеренным почерком, каким выводил он, переписывая в 1863 году для сдачи Этцелю, «Пять недель на воздушном шаре». Но не узнать этого почерка Мишель не мог. На это стоило посмотреть! Несколько минут сын стоял, вознамерившись, вероятно, превзойти в неподвижности жену Лота, потом, как изголодавшийся на бифштекс, накинулся на рукопись, озаглавленную «Вторжение моря», жадно перелистывая страницы — Жюлю даже послышалось некое беззвучное чавканье. Затем Мишель подхватил бумаги, прижал к груди, словно боясь, что они растают в воздухе столь же невчувственно, как возникли в ящике трижды обысканного бюро, и ринулся по лестнице вниз. Интересно, как он объяснит себе, жене, Онорине, внукам — кто там ещё в курсе истинного положения дел? — появление романа? Своей невнимательностью, небрежностью? Чудом? Или, спасовав перед фактом, просто примет как данность?

Жюль наблюдал эту сцену, лёжа на своей узкой железной кровати — хотя новое тело и не требовало отдыха, он старался не изменять былым привычкам, тем паче, что лёжа всегда думалось лучше. Точно так же, ничуть не нуждаясь в пище, он временами заказывал себе из закрывшегося лет двадцать назад ближнего ресторанчика обед, который приносил ничуть не изменившийся за четверть века пожилой рассыльный. А порою он даже позволял себе, оторвавшись от работы, выйти на прогулку. Незримый и неосязаемый, он видел, слышал и вдыхал запахи живого города, по которому мог теперь бродить сколько угодно, не ощущая усталости. Как-то — позже, в году то ли девятьсот восьмом, то ли девятьсот девятом — ноги даже занесли его на кладбище, и Жюль постоял у собственной могилы и полюбовался памятником, которым почтил его добрый приятель, скульптор Альбер Роз. Не слишком похожий на себя (что же, художник имеет право на своё видение), Жюль Верн выкарабкивается из-под мраморной плиты, простирая руку к небесам. Тут Роз прав — больше, чем думал; только не из могилы выбирался Жюль, а из фамильной долговой ямы. Зато эпитафия угодила в точку: «К бессмертию и вечной юности». С бессмертием, похоже, пока всё в порядке. А вот юности он всё-таки предпочитал зрелость...

«Вторжение моря» вышло в свет точно в срок — как бы подтверждая тем самым, что и будучи покойным, Амьенский затворник всё равно жив.

А Жюль понял, что кроме работы у него теперь есть и развлечение.

Понемногу он осваивался с новым положением. Его тело не отражалось в зеркалах и не отбрасывало тени, однако он точно знал, что выглядывает сейчас, как в пору расцвета — где-то между сорока и пятьюдесятью. Опытным путём он выяснил, что, будучи сам нематериальным, может держать в руках некоторые материальные предметы: достаточно

бесплотный, чтобы проходить сквозь стены, он тем не менее был в состоянии листать книги, раскладывать бумаги, держать ручку с пером и макать её в чернильницу. А ещё у него появился незримый опекун: стоило подумать, что заканчивается бумага, как на столе появлялась новая стопа, точно так же сама собой наполнялась опустевшая чернильница. А вот карандаши почему-то он должен был точить сам, причём только собственным старым перочинным ножом...

Когда без малого год спустя был закончен «Золотой вулкан», Жюль долго размышлял, куда подложить рукопись, и в конце концов не придумал ничего лучшего, как водрузить её в центр только-только сервированного к обеду стола — он слышал, что Мишель в этот день собирался навестить мать. А потом не без некоторого ехидного злорадства наблюдал за потрясённым семейством.

На следующий год он усложнил задачу. Теперь они уже точно знали, что первая находка не была случайностью, и периодически со всем возможным тщанием обыскивали дом — повторяясь, чудо перестаёт быть чудом, становясь некоей необъяснимой, таинственной, загадочной, слегка пугающей, но благодатной закономерностью. Наверное, так народ Израилев воспринимал манну небесную. На этот раз манна — рукопись «Агентства Томпсон и Ко» — была с ликованием обнаружена в сундуке среди сложенных на лето и пересыпанных нафталином зимних одежд. Ничего, ненавязчивый аромат лишь придаст ей дополнительной достоверности — как следствие аккуратного длительного хранения...

В девятьсот восьмом развлечься таким образом удалось даже дважды — были закончены однотомные романы «В погоне за метеором» и «Дунайский лоцман». Правда, игра уже несколько приелась, но других развлечений всё равно не было.

Впрочем, он не только писал. Поскольку все корректуры теперь держал Мишель, Жюль внимательно прочитывал уже вышедшие из печати тома. Пришлось признать, что сын работал в поте лица, не только переворачивая вверх дном весь дом. Он истово предавался и литературному труду — по счастью, в масштабах всё-таки меньших, нежели поначалу опасался отец, по крайней мере на соавторство уж никак не тянул. Зато редактором оказался не самым скверным — во всяком случае, не хуже Этцеля-младшего (до старшего-то никому из них не дорасти!).

В девятьсот девятом пришёл черёд «Потерпевших крушение на „Джонатане,“» — Жюль и помыслить не мог, что роман сочтут чуть ли не его политическим завещанием. А он-то полагал, будто просто сочинил отходную наивному кропоткинскому анархизму... Ладно, им, живым, виднее.

Год спустя была завершена «Невидимая невеста», и на этот раз он огорчился всерьёз — литературные амбиции сына в последнее время

заметно возросли. Тот зачем-то перенес действие из конца девятнадцатого века в середину восемнадцатого, отчего не могли не измениться как психологические мотивировки, так фон — и социальный, и бытовой. Заодно Мишель переименовал роман в «Тайну Вильгельма Шторрица». Похоже, с посмертными изданиями приходит пора кончать. Да и долги всё-таки мало-помалу таяли, поскольку Мишель, увлечшись высоким творчеством, перестал кидаться во всяческие эскапады. Впрочем, тут и Жанне надо сказать спасибо — вторая жена сумела-таки его приручить, насколько возможно образумить и превратить беспутного шалопая в более или менее образцового семьянина. Кстати, со сборником повестей и рассказов «Вчера и завтра», составившим второй ежегодный том, новоявленный соавтор обошёлся милостивее.

За следующие двенадцать месяцев Жюль между делом напрочь переписал начало и довёл до конца неудавшийся когда-то (прав, прав был Этцель!) «Париж в XX веке», а тоненькая тетрабочка с заметками к «Научной экспедиции» превратилась в полновесный роман, озаглавленный «Необыкновенные приключения экспедиции Барсака». Фантастам иногда бывает дано заглядывать в будущее, призраки же провидческим даром не наделены — он не мог предугадать, что второй будет опубликован только в 1914 году, а первый увидит свет ещё через семьдесят лет. Но последняя фраза «Барсака...» означала и конец всей эпопеи голоса с того света.

Былые замыслы воплощены. Долги выплачены. А с этим, наверное, пришёл и конец призрачному существованию писателя Жюля Верна. Больше его здесь ничто не держит.

* * *

И тут он понял, что все эти годы ошибался: держит. И крепче прежнего.

Ибо кроме долга перед семьёй, сыном, родом, есть и другой, не менее важный — перед самим собой.

Всю жизнь (ну, почти всю) в нём жили три любви — к литературе, к морю и к Эстель.

Литература может теперь подождать — он уже отдал ей все силы. А то и вообще обойдётся впредь без него.

Зато море... Оно, наоборот, ждало слишком долго. Да, он описал чуть ли не весь обозримый мир. Его герои не по разу пересекли все континенты — за исключением разве что Антарктиды («Ледяной сфинкс» тут, пожалуй, не в счёт). Их качали волны всех морей. Они поднимались в выси и опускались в бездны. А он сам? Единственный полёт на воздушном шаре — двадцать четыре минуты в обществе многоопытного, смелого и умелого аэронавта Эжена Годара, запомнившиеся на всю

жизнь. Единственный рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк на невероятном детище великого инженера Изамбарда Кингдома Брюнеля — гигантском пароходе «Грейт-Истерн». В молодые годы — короткая поездка в Шотландию, устроенная добрым другом ещё с лицейских лет, композитором Аристидом Иньяром. Потом — чуть более долгая — в Скандинавию: Дания, Швеция, Норвегия. Ещё одно, увы, незадавшееся плавание на угольщике в ту же Скандинавию — из-за рождения Мишеля тогда пришлось спешно вернуться уже из Копенгагена. А много ли времени провёл он на палубах всех трёх своих «Сен-Мишелей»? Несколько месяцев, если сложить все вместе. Короткие каботажные плавания из Ле-Кротуа на первом — запалубленном старом рыбацком шлюпе с крохотной каюткой. Практически ничего — на втором. В 1878 году, выйдя на третьем, самом любимом, из Нанта, он совершил первое большое плавание — испанский Виго, португальский Лиссабон, Кадис, Танжер, Гибралтар, Малага, Тетуан, Оран, Алжир... Потом — недолгий поход к берегам Шотландии. Но уже два года спустя задуманное путешествие на Балтику и до Санкт-Петербурга пришлось прервать из-за непогоды. А ещё через два года второе великолепное плавание по Средиземному морю — из-за каприза Онорины...

Если есть в мире справедливость, он просто обязан последовать за своими героями, собственными, а не чужими глазами увидеть столь полно описанный им самим Земной шар. Это в не меньшей мере его предназначение, чем литература. «Я умру, если не увижу Каспийского моря», — давным-давно сказал ещё живой тогда Гумбольдт. «Я буду жить, пока не увижу весь мир», — решил теперь уже мёртвый Жюль Верн. А поскольку мир постоянно и стремительно меняется, занятие это может оказаться нескончаемым и не приестся никогда.

И, наконец, Эстель... До неё с женщинами ему не везло. Подростковое увлечение кузиной, Каролиной Тронсон, было высмеяно. И отболело только лет десять спустя. В студенческие годы было ещё одно, тоже краткое и неудачное, причём виной всему — его собственное остроумие. Услышав на балу, как его избранница, Лоренс Жанмар, шёпотом пожаловалась подруге на впивающийся в бок китовый ус слишком туго затянутого корсета, он довольно громко заметил, что не прочь бы «поохотиться на китов в тех широтах». Невинная шутка, однако в результате Жюль был сочтён слишком фривольным и вообще неподходящей партией. А потом появилась Онорина — двадцатилетняя вдова с двумя дочерьми. К женитьбе на ней привели не пылкие чувства, но надежда на тихие семейные радости. Только радостей оказалось мало. Он грезил литературой и путешествиями, она — туалетами и драгоценностями, из-за чего в конце концов и пришлось перебраться в Амьен — подальше от разорительных парижских магазинов с их неиссякаемыми соблазнами...

Но утешение было-таки даровано — достопамятным летом пятьдесят девятого. Этель Энн, в замужестве мадам Дюшен. Правда, утешение горькое: Жюль — уже женат, она — выходит замуж. И ничего не изменишь. Впрочем, важно ли это? Главное, что оба они говорят на одном языке, что сплетаются не только руки или даже чувства, но и мысли, что в её доме в старинном городке Аньере муж появляется только по выходным. И можно прогуляться по зелёному берегу Сены, покататься на лодке, благо Жюль всегда был отменным гребцом, посидеть на верхней террасе уютного ресторанчика «Сирена» или отправиться — рукой ведь подать — в Париж, заглянуть в ателье Надара, этого великолепно-го фотографа, великого воздухоплователя и доброго друга, и там — это уж как повезёт — то поспорить с этим сумасшедшим русским революционером Бакуниным, то порассуждать о грядущих великих стройках с Фердинандом Лессепсом, то послушать Бодлера, то... И всё время чувствовать: мы двое — плоть едина и дух един. Увы, это единство распалось почти четверть века назад, когда Этель умерла.

Все годы после Превращения — Жюль избегал слова «смерть» не из суеверия, но потому что и сейчас ведь был жив — он запрещал себе вспоминать об Этель, хотя получалось это с трудом и не всегда. Но теперь — теперь пришла пора.

* * *

В один из летних вечеров 1910 года Жюль вышел из своего кабинета на третьем этаже башни, прикоснувшись на прощанье к бюстам Мольера и Шекспира, спустился по лестнице и шагнул за двери дома — но не на амьенскую улицу, а на набережную Луары в родном Нанте. Детство, остров Фейдо... Однако направился он не к отчому дому, а туда, где у небольшого деревянного причала стояла под парами яхта — стотонная двухмачтовая шхуна, 28 метров по палубе, триста квадратных метров парусов, компаунд-машина, позволяющая развивать ход до десяти узлов. Его «Сен-Мишель III», спешно проданный некогда за полцены и девять лет спустя погибший на рифах близ острова Бишоп-Рок в архипелаге Силли. На причал были перекинuty сходни, однако Жюль не торопился взойти на борт.

Он ждал.

И Этель пришла — выступила из сгустившихся сумерек, такая же прекрасная, как в далёком пятьдесят девятом, такая же любимая, желанная и необходимая. Облитые шелком пальцы легли на его руку, и вдвоём они без единого слова — да и какие тут могут быть слова? — поднялись на палубу, где их встречали капитан Матюрен Оллив и штурман Поль Верн, а весь остальной экипаж — десяток испытанных

моряков, как один, brave бретонцы, и среди них, конечно, Александр Дюлонг и Альфред Берло, оба ещё с первого «Сен-Мишеля» — выстроился вдоль борта, приветствуя возвращение владельца.

Уже через пять минут швартовы были отданы и яхта плавно заскользила вниз по течению, к океану.

* * *

Иногда — по собственной воле или случайно — призраки могут показываться людям. Редко, но такое всё-таки случается. И если когда-нибудь в открытом море ваш курс пересечёт изящная парусно-паровая яхта, даже в полный штиль идущая на всех парусах, не пугайтесь и не готовьтесь к худшему. Это не зловещий Летучий Голландец. Это — Летучий Француз. Встреча с ним приносит счастье.

Литературно-художественное издание
ГЛАГОЛЬ
литературный альманах
№7

Издано при поддержке группы компаний
«ГСП-Трейд» (Москва)
2016

ISBN 978-5-98673-069-1
Издательство "ООО Андрей Буровский"

Подписано в печать 12.01.2016 г.
Формат 70х100/16. Печ. л. 21, 75
Печать офсетная. Тираж 500 экз.